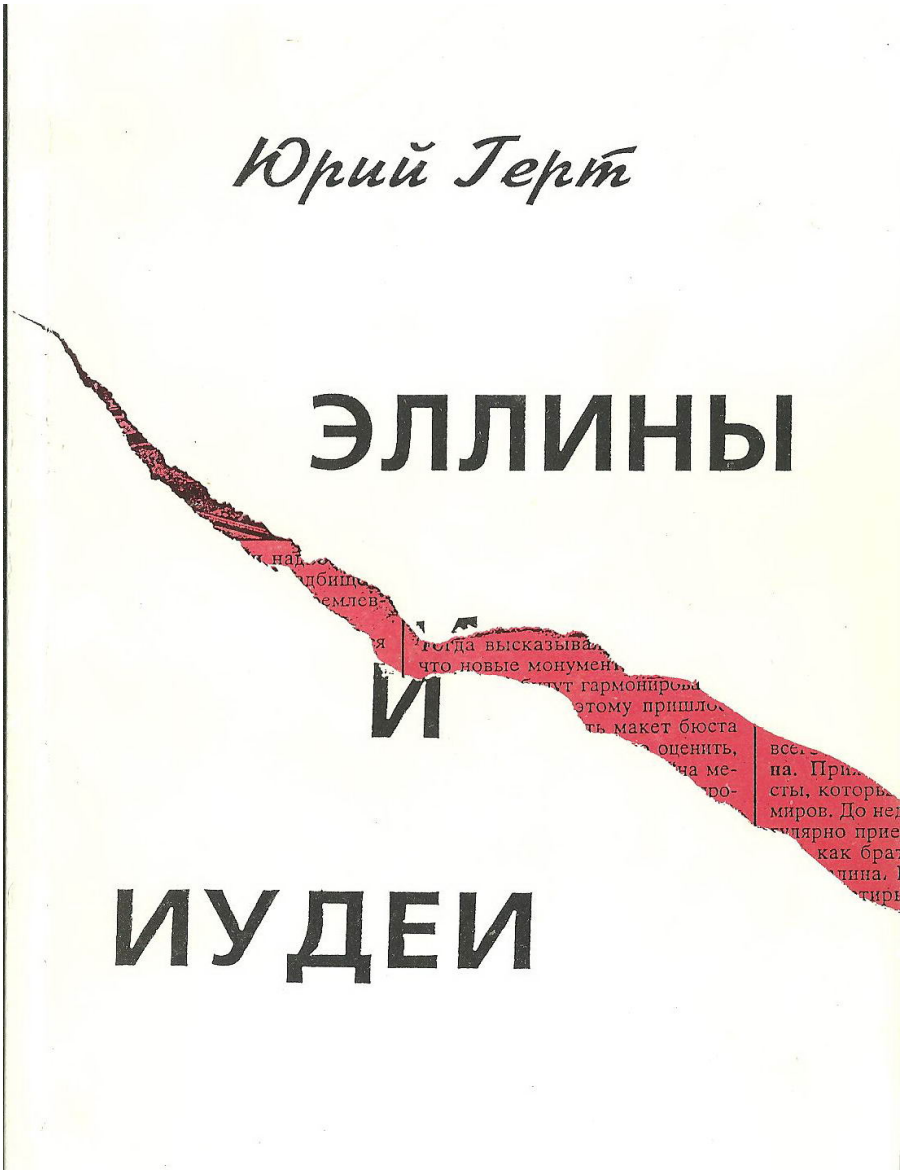
Эллины и иудеи

Юрий Михайлович Герт

SHOUT
SHARE
IT

-
- Предисловие
  -
  - От автора
- ШЕРЕМЕТЬЕВО-2
- КТО МЫ? ОТКУДА? КУДА ИДЕМ?..
  - КРОНА И КОРНИ
-
- "ПОКА ДЫШУ — НАДЕЮСЬ!..”
- ПРИМЕЧАНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- Анна Герт
- БЕЗДОРОЖЬЕ
- СКАЗКИ О ЖИДО-МАСОНАХ И ПРАВДА О "ЧЕРНОЙ СОТНЕ”
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  -



Современные вариации на библейскую тему

Один язычник пришел к рабби Гиллелю и сказал:«Научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге, и я приму иудаизм». Рабби Гиллель ответил:«Не делай другому того, чего не хочешь себе. Все остальное — комментарий к этому».

Сидур, «Поучения отцов»

СОДЕРЖАНИЕ:

ЭЛЛИНЫ И ИУДЕИ

Шереметьево-2

Кто мы? Откуда? Куда идем?

Крона и корни

"Пока дышу - надеюсь"

Примечания

ПРИЛОЖЕНИЕ

Анна Герт.

Бездорожье

Сказки о жидо-масонах и правда о "черной сотне"

Предисловие

"Эллины и иудеи" — это книга о том, как человек познает самого себя...

Это не роман, не плод авторского воображения. Это книга-документ, книга-репортаж, где все достоверно — от первой до последней строки. В ней нет сочиненных ситуаций и лиц, — все пережито автором, происходило на его глазах.

...В провинциальный литературный журнал прислан сенсационный материал, принадлежащий перу известной поэтессы, трагически погибшей в начале сороковых годов. Готовится публикация, которая преследует отнюдь не литературную цель, а должна сделать журнал участником разнузданной антисемитской кампании, развязанной в годы перестройки "Памятью", "Нашим современником", десятками черносотенных газетенок.

В редакции происходит раскол. Вчерашние товарищи становятся противниками, друзья — врагами. Конфликт перерастает редакционные рамки, захватывает литераторов, журналистов, читателей, в него включаются различные инстанции, представители властей... Рассказ о немногих людях, решившихся на протест против антисемитской акции, превращается в широкую панораму жизни взбудораженной небывалыми переменами страны, когда утративший прежние позиции истеблишмент рвется к реваншу, стравливая нации, апеллируя к "голосу крови", обвиняя во всех бедах инородцев, спасти от которых страну может лишь новый фюрер...

"Эллины и иудеи" — своего рода лирико-философское эссе с контрастными экскурсами в прошлое, в историю России, в круговорот идей, бурлящих в ней уже два века — от Чаадаева до Солженицына и Сахарова, от классиков-славянофилов до "Протоколов сионских мудрецов". В авторские размышления вплетаются тексты из Талмуда и параграфы Нюрнбергских законов, отрывки из статей Владимира Соловьева и цитаты из писаний нынешних юдофобов.

И тем не менее, "Эллины и иудеи" не сконцентрированы на судьбе одного еврейства. Национальные страсти захлестывают мир, колеблют землю — будь то Америка или Европа, Ближний Восток или Кавказ. Можно с известной уверенностью полагать, что мир не погибнет от ядерной катастрофы, поскольку человечество в этой области выработало некоторые паллиативы, но пока оно не придумало средств спасения от ксенофобии,

взаимного ожесточения, дымной, заволакивающей разум ненависти. Всем этим пользуются те, кто жаждет разделять, чтобы властвовать. Однако люди видят друг в друге злобного, коварного врага только до тех пор, пока они ничего или очень мало знают друг о друге, пока сознание их сковано кандалами стереотипов. "Не делай другому того, чего не хочешь себе", — говорили еврейские мудрецы. Об этом — "Эллины и иудеи": о том, чтобы увидеть в "другом" прежде всего подобного себе человека...

"Эллины и иудеи" — это глубоко личная книга, книга-исповедь. В ней писатель рассказывает о себе, о своей семье, о людях, которые ему близки, и о тех, чьи убеждения ему враждебны. А главное — о том, что вопреки всему мир един и не делится на эллинов и иудеев... Быть может, последняя мысль и явилась причиной того, почему эта книга до сих пор не была издана в России. Хотя в куда более трудные для свободного слова времена ее автором были опубликованы — правда, в изувеченном цензурой виде — десять книг, среди них романы "Кто, если не ты?..", "Лабиринт", "Ночь предопределений", "Приговор".

От автора

Известно, что книги, как люди, имеют свою судьбу.

Эта книга — тоже.

Я закончил ее в 1990 году. О том, чтобы обратиться с нею в государственное издательство, не могли быть и речи. В Алма-Ате, где я жил тогда, в то время начинали создаваться частные издательства, и я отнес рукопись — еще тепленькую — в одно из них.

Издатель взялся ее напечатать, присовокупив при этом, что ему все равно, какого рода впускать литературу — антисемитскую или наоборот... Была бы прибыль, прочее его не интересует.

У меня имелись другие — возможно, несвоевременные — представления о порядочности, о бизнесе, я не хотел, чтобы эта книга попала в грязные руки.

В Москве, в самом тогда демократическом издательстве рукопись приняли с радостью, включили в план, но... напечатать не рискнули: набиравшая силу "Память" и ее бравые сподвижники распространяли списки тех, с кем они вскоре намерены рассчитаться. Мне показали список, в котором значилась фамилия моего предполагаемого редактора.

Находясь в эмиграции, я попытался связаться с издателями в Нью-Йорке, уж там-то, в демократическом государстве, страшиться некого... Мне сказали: — о'кей, книгу Вашу мы издадим, но Вы должны за это заплатить...

Платить мне было нечем.

Рукопись пролежала без движения шесть лет.

И вдруг, когда я уже не чаял увидеть ее напечатанной, появилась надежда... Надежда ее издать, не меняя ни строчки. И где же?.. В России. То есть там, где сумеют ее прочесть — русские, евреи, казахи, все, для кого она предназначалась...

Надо ли говорить, как я был рад?..

Но радость моя вскоре сменилась сомнениями. За эти годы в России, в Казахстане, во всем мире многое успело перемениться. Переменился и читатель, которого я видел перед собой, когда писал. Не устарели ли моя книга, не умерла ли, так и не родившись?..

Но изменился не только мир, кое-что изменилось и во мне самом. Переместившись из одного полушария в другое, я физически ощутил, какая она маленькая — наша Земля. И понял, что повсюду на ней — если вникнуть — происходят одни и те же

процессы: человеческое общение все больше вытесняется компьютерами, любовь — сексом, высокие, выверенные веками духовные ценности подменяются эрзацами, дешевкой, тем, что запросто можно сработать, купить, продать. Но главная, самая главная опасность — не в этом. Главная угроза миру — тупой, примитивный, агрессивный национализм.

Он существует везде. Раньше я полагал, что "Память" и прочая нечисть — признак болезни, гниения государственного организма, своеобразный трупный яд... Но что же в процветающих, цивилизованных странах?.. В соответствии с признанными нормами общественной морали, в Америке *стыдно, неприлично* быть антисемитом. Однако здесь, в стране Лютера Кинга, вместе с которым, плечом к плечу, американские евреи отстаивали гражданские права негров, спустя какие-то тридцать лет, один из черных лидеров, Фаррахан, выступая перед широкой аудиторией, постоянно твердит, что никто иной, как евреи — самые злобные враги негров, это они были причиной рабства в Соединенных Штатах. В благословенной Канаде высокоученые интеллектуалы усердно пересчитывают еврейские могилы, чтобы доказать, что в Холокост погибло не шесть, а всего лишь какие-нибудь пять миллионов, а то и меньше. Во Франции и Германии на еврейских памятниках малюют свастики. Многократно признанные фальшивкой "Протоколы сионских мудрецов" продолжают издаваться на разных языках, в разных странах, наряду с "Майн кампф"..

В Иерусалиме, на центральной улице, я видел окна без стекол, черные подпалины на стенах, развороченный балкон... Я ежедневно садился в автобус по маршруту 18 — тому самому, на котором незадолго до того прогремели взрывы, фонтаны крови выплеснулись наружу, окропили прохожих, залили асфальт... Честно признаться, за две недели пребывания в Израиле не меньшее впечатление, чем дорогие каждому еврейскому сердцу святыни, произвели на меня ребята и девушки в военной форме, с автоматами и вещмешками... Студенческого возраста, сочетавшие в своем облике свойственные юности силу и хрупкость... Их можно встретить в любом городе и городке, в любом месте — на улице, в кино, в музее, в кафе, готовых в любую минуту вернуться к себе в часть, на боевые позиции. Чего они хотят?.. — думалось мне, глядя на них. — Кто им угрожает?.. Они хотят одного: чтобы их судьба и судьба их будущих детей не повторила судьбы их дедов и бабок, чтобы их не швыряли в Бабий Яр, на травили "Циклоном-20", чтобы, умоляя о пристанище, не плыли они на судах, встречая холодный отказ во всех странах. Малый лоскуток земли хотят иметь они, чтобы на нем жить, растить детей, и

чтобы никто не плевал им в лицо словом "жид", не грозил геноцидом. После двух тысяч лет изгнания — не так-то уж и много, не правда ли?..

Но разве дело только в антисемитизме?.. А Казахстан, с которым связано 35 лет моей жизни?.. Там родилась моя дочь, мой внук, там вышла моя первая книга... На разве русские ("имперская нация"!), которые и раньше в этой республике считались людьми второго сорта (третьим были евреи), не дискриминируются там теперь еще откровенней, чем прежде? А Эстония, а Латвия, кичащиеся своей культурой, причастностью к западному миру?.. А Таджикистан, горы трупов, гражданская война, идущая там уже не один год?.. А Чечня, кровавая рана, боль и позор России?.. Любая ксенофобия жестоко мстит за себя. Вчерашние гонители сегодня становятся гонимыми. Камень, брошенный в другого, вернется и рикошетом ударит тебя. Таков закон — нравственный закон, столь же реальный и всеобщий, как закон всемирного тяготения.

А Босния? Афганистан? Заир? А иракские курды?.. А расовая проблема, которую всеми силами стараются разрешить в Америке?..

Национализм.. Как понять, когда естественные для каждого из нас уважение к предкам, любовь к истории своего народа, бережное отношение к его традициям переходят в пренебрежение, враждебность, ожесточенность, вплоть до смертельной ненависти — к тем, у кого иная кожа, иной язык, иная, зачастую столь же нелегкая, жизнь позади?..

Фашизм — крайняя форма национализма, расизма.

Казалось бы, просто, как дважды два... Но если отбросить банальное представление о фашизме как о патологии, ненормальности в области человеческой психики, то — когда, как, в каких обстоятельствах человек становится фашистом?..

Мужчины мучили детей, — писал Наум Коржавин в стихотворении "Дети в Освенциме". Можно уточнить: мужчины мучили детей другой расы, крови... Недавние обстоятельные исследования американских ученых показали, что в войсках СС, как правило, служили физически и психически вполне здоровые люди, выходцы из благополучный семей, не травмированные в детстве никакими уродующими нервную систему переживаниями. У них было хорошее — в основном среднее — образование, налаженный семейный быт, полноценное потомство. И, однако, эти, именно эти мужчины "мучили детей", пытали, насиловали, убивали — с наслаждением, фиксируя фотоаппаратом страдания своих жертв.

Как он рождается, "обыкновенный фашизм"?.. Чем он кончает

— с этим все ясно. С чего начинается он — вот в чем вопрос...

Но не об этом ли — "Эллины и иудеи"?..

Не на этот ли вопрос пытаюсь я ответить, точнее — не ответить, а попросту изложить факты, ничего не утаивая, не приукрашивая, не додумывая?..

Если бы, если бы моя книга и вправду устарела!..

Но я оглядываюсь вокруг и убеждаюсь, что — нет...

Юрий Герт
Кливленд, Огайо, США, октябрь 1996 года

ШЕРЕМЕТЬЕВО-2

...и вот мы с женой прилетели в Москву и приехали в Шереметьево, чтобы проститься.

Был август, раннее утро, небо сияло свежей, прохладной лазурью, полуденный зной еще не успел ее замутить. Стекло аэропорта блестело, било в глаза отраженным солнцем, огнистые зайчики скакали по лакированным крыльям, по дверцам то и дело подкатывающих автомашин. Стоя поблизости от входа, мы вглядывались в каждую. В одной из них должна приехать наша дочь. Щелкнет замочек, распахнется разрисованная шашечками дверца — и мы увидим, как они выходят — дочка с мужем и маленьким нашим внучком Сашенькой. Они уезжают... Они уезжают в Штаты, по вызову, присланному из Израиля. Мы увидим всех троих в последний раз и простимся с ними навсегда.

Такси... И еще такси... И еще... Мы молчим, и ждем, и не смотрим друг на друга. И каждая новая машина, выходящие из нее люди вызывают короткий вздох облегчения: не они... Еще не они... Я боюсь поднять глаза на жену, встретиться с ней взглядом. Тридцать лет, даже больше прожили мы с нею бок о бок, и, как у всех, случалось нам пережить и горькое, и тяжкое, и страшное, но у меня всегда находилось, что ей сказать. Чем облегчить, ободрить, утешить ее — друга, жену, мать, бабушку... Впервые нет у меня слов. Они вымерзли в моей душе. Засохли. Сгорели, превратились в пепел, сладострастно растертый, втоптанный в землю чьим-то каблуком...

У меня нет слов. И глядя на светлое, сияющее небо, на тормозящие у входа в аэропорт машины, на пестро, по-дорожному одетых людей, я ловлю себя на чувстве, что вот-вот сон оборвется, я проснусь — и спустя несколько минут клочья ночного кошмара подхватит и унесет, развеет упругий ветер живой, привычной жизни. Все вернется на прежние, устойчивые места...

Ну да, а как же иначе?.. Ведь это в прошлые, теперь уже — такие далекие годы, отравленные углекислотой застоя, отсюда, из этого аэропорта, уезжали, улетали, уходили — казалось, в пустоту, в небытие — Александр Галич, Наум Коржавин, Марк Поповский. В той или иной мере я знаком был с каждым из них, встречался с ними — в Караганде, Алма-Ате или Москве, у меня и сейчас хранятся их письма. И хотя, пребывая в своем прекрасном, хорошо закупоренном алма-атинском далеке, я не участвовал в их проводах, каждое известие об этих проводах, шепотом и с оглядкой достигая наших краев, кинжальным ударом вонзалось в

сердце. Отсюда уезжал Виктор Некрасов, который для меня в те годы был — и остался навсегда — эталоном мужества и чести. Где-то здесь, на летном поле, тайком, под охраной, привезли и затолкали в самолет великого, величайшего из всех зэков — Александра Исаевича Солженицына... Да ведь когда это было!..

И с тех пор немало — ах, немало! — моих братьев и сестер, единокровных моих родственничков, которых я и в глаза не видывал и к которым ни малейшей симпатии не испытывал, проходили здесь, уволакивая через эти Врата Свободы свои набитые барахлом тюки и тючочки, жалкое, нищее свое шматье, поскольку — думал я — всякое шматье покажется жалким и нищим в сравнении с Родиной, которой, как известно, не унести на подошвах башмаков... Дезертирами они были для меня, оставляющими всех нас в окопной тоске и грязи, бегущими с наших кровавых полей, где по-прежнему летят и жалят смертельные пули, выпущенные из стволов с глушителями новейших образцов, и гниют, разлагаются заживо души, и рыдают, бьются в истерике психушки, в изощренную эру НТР заменившие примитивные, обнесенные колючей проволокой лагеря...

Или это — возмездие за мое недавнее высокомерие?.. То, что теперь мы с женой провожаем нашу единственную дочь, нашего малыша, единственного нашего внука? И остаемся — со всеми, но — одни, одни?.. Но как же так, люди добрые, как же так?.. — хочется сказать мне. — Ведь у нас уже четыре года как перестройка?.. И "Покаяние" Абуладзе — разве не прошел этот фильм по всем экранам, разве не увидели его миллионы людей?.. И не прокатилась, не продолжает катиться волна реабилитаций, вынося на изломанный берег нашей истории такие имена, которые прокляты были во веки веков, перечеркнуты, признаны как бы никогда не существовавшими? Разве не объявлено перед всем миром, что величайшим злодейством было — выносить приговор целым народам, то есть подвергать репрессиям, наряду с мужчинами, сосущих соску младенцев, беременных женщин, беспомощных стариков?.. Или то, что коснулось немцев и крымских татар, калмыков и корейцев, никак не относится к нам, евреям?..

Так ведь нет же, — говорю я себе, а сам смотрю, смотрю туда, куда смотрит моя жена: вот подруливает еще одна машина, и меня одновременно — я не думал, что так бывает, — прохватывает ледяным сквозняком и обжигает каленым железом... Но слава богу — нет, не они... Еще не они... — Так о чем я?.. Да, — говорю я себе, — о "деле врачей" тоже немало написано... И о Еврейском антифашистском комитете, о

расстрелянных Переце Маркише, Фефере, Квитко... О Михоэлсе... И не далее, чем год назад, в Москве, не на дальних выселках, не в Малаховке где-то, а в самом центре столицы слышалось многократное, многоголосое "Лехаим!" и люди в долгополых черных лапсердаках и с пейсами, веселясь, отплясывали "Фрейлэхс"... Мы с женой сами это видели, слышали, сидя в партере театра оперетты, на премьере спектакля "Скрипач на крыше" по "Тевье-молочнику"... Да, всего лишь — оперетта, но все же, все же... И разве еще не так давно можно было представить, что ЦТ покажет "Тевье-молочника" с Михаилом Ульяновым в главной роли?.. А недавно созданный Еврейский культурный центр — в Москве?.. И в нашей Алма-Ате?..

Так отчего же?..

Какое синее, праздничное небо — чистое, без единой тучки... Курчавые белозубые негры с негритянками и негритятами, выйдя из длинной, распластанной над землей автомашины неизвестной мне марки, движутся по тротуару, издали похожие на черную виноградную гроздь...

Радио с небольшими промежутками объявляет о начале или продолжении регистрации билетов... Рейсы на Прагу... Париж... Вену...

На Вену... Я замечаю, как это слово сразу насторожило несколько человек — из тех, что стояли поблизости или шли по площади... Словно кто-то дернул за узелок, в котором сходились разбегающиеся во все стороны нити: кто-то вздрогнул, оборвав разговор, кто-то беспокойным взглядом потянулся к часам, у кого-то вдруг деревянным, безжизненным сделалось лицо, иные, стоявшие кучкой, как бы сдвинулись, приникли друг к другу...

Вена... Венский вальс... Венская — довоенная — сдоба... Шницель по-венски... Что еще?.. Моцарт. Бетховен... Нет, не то...

Наши ребята летят в Вену. Москва-Вена — первый отрезок, начало пути.

Вена.

Vien...

Пропади она пропадом, провались она в тартарары — эта Вена, с ее вальсами, шницелем и сдобой! С ее Моцартом и Бетховеном!..

Кто бы мог подумать!..

Но — сам-то я что думаю, что говорю?..

— Почему они не едут?.. — не выдерживает жена. У нее белые губы, белое лицо. У нее одрябшие за ночь, исполосованные морщинами щеки.

Откуда мне знать, почему они не едут?

А почему они *должны* ехать?

Почему?..

Разве это не их земля, не их Родина?..

Разве дед нашей Мариши, мой отец, не погиб в 1941-м, защищая эту землю? Разве ее прадеды не были николаевскими солдатами, защищавшими Севастополь — в ту, предварившую отмену крепостного права, войну? Разве мало в нашей семье было расстрелянных или отсидевших в наших родных ЛАГАХ — и вернувшихся, и похороненных без погребенья неизвестно где?.. Это о "корнях". А о нынешнем?.. Кто ждет их — "там"?.. Не то что дядюшка-миллионер или хотя бы тетушка — владелица кафе или табачной лавки: нет у них там ни единой родной души. И все их имущество, все богатство, с которым направляются они за океан, уместилось в четыре чемодана. Четыре — на троих... Здесь остаются их друзья, книги, привычки, какой-никакой уют — *и* тридцать лет прожитой жизни. Почему они *должны* ехать?..

И ехать — *сейчас!*..

Что за чушь? Что за бред?..

У меня развинченное воображение. Развинченное, развращенное сочинением сюжетов, сцен, пейзажей, необходимых для писания романов и рассказов. Оно, мое нещадно эксплуатируемое воображение, как хорошо смазанный, сильной рукой запущенный маховик, работает и в то время, когда это никому не нужно. Работает вхолостую. И вместо аэропорта, сверкающего стеклом, вместо летящих по асфальту вереницей машин, таксомоторов и частников, вместо баулов и сумок с надписью "АДИДАС", вместо спортивных девушек в кроссовках и джинсах, вместо прущих напролом туристов, вместо затихших на материнской груди детей, вместо хамоватых деляг, вращающих вокруг пальца на блестящем брелочке ключ от зажигания поджидающей клиентов машины, вместо всего этого я вижу серый, мягкий, рассыпающийся под ногой песок, вижу ободранных, словно изъеденных молью верблюдов, и понурых, покорно ступающих осликов, детей и жен, белобородых старцев, сухие тела, обтянутые коричневой от египетского солнца кожей — и желтее барханы впереди — горькую, бесконечную дорогу в пустыне Исхода... Сколько — три или четыре тысячи лет этой дороге, этой тропе?.. Величайшая из легенд, сложенных людьми, легенда об избавлении от рабства... Легенда или реальность, длящаяся столько веков?..

Не верю.

Не хочу.

Не могу поверить...

...между тем в нескольких шагах от нас останавливается "москвич". Глаза устали вглядываться. Я не сразу сознаю, что на

сей раз это они — наши непослушные, наши своевольные, наши жестокие, наши единственные, наши любимые, покидающие нас дети... Наши дети. Вот они выходят из машины. Миша, которого мы знаем с двенадцати лет, с нечаянной встречи во время прогулки на Медео. Было золотое алма-атинское бабье лето, темная зелень гор, горячий, зыбящийся воздух над лентой сверкающего под ярким солнцем шоссе... Они шли рядом, неловко, церемонно беседуя, Миша и Мариша, как это водится при первом знакомстве в двенадцать лет. Шли по каменистой, заросшей кустарником обочине, вдоль дороги, а мы с женой и родители Миши, посмеиваясь, шли и наблюдали за ними сзади. Если бы знать, куда приведет та дорога...

Он невысок ростом, но хорошо сложен, плечист, с черной вальяжной бородкой на красивом точеном лице, карие глаза покраснели после бессонной ночи, проведенной в таможне, на сдаче багажа. На нем расписанная латинскими буквами майка, привезенная как-то нами с курорта, сумка, болтающаяся на боку, дипломат в руке... Рядом — наша Мариша - миниатюрная, с гривой черных, захлестнувших плечи волос, по-детски широким овалом лица, серыми, с голубинкой, глазами — такие были у моей матери, у моего деда... Она тоненькая, как говорится — "и в чем душа держится", на ней желтая, как яичный желток, кофточка, над вырезом проступают косточки-ключицы... Она ведет за руку Сашеньку, нашего внука. На нем смешной, сшитый в дорогу костюмчик, слишком просторный для малыша: курточка с широченными плечами, брючки со штанинами до земли... Он солидно, размашисто шагает, у него серьезная, ответственная мордочка — светлая шелковистая челочка на выпуклом лобике, светлые, как у матери, глазки, курносо вздернутый носик... Все как у всех. Он не бежит, не бросается нам навстречу. Со стороны это кажется "взрослостью", продиктованной новым — "взрослым" — костюмчиком и смутно ощущаемой важностью момента. Если бы так... Бледное личико, синеватая тень под глазами, сиреневый оттенок ногтей... Он не бегает, как положено детям. У него врожденный порок сердца — "Тетрада фалло". Сложный, да еще и атипичный порок, который у нас в Москве, в институте Бакулева не берутся оперировать. Говорят, такие операции делают "там"... И это — причина, по которой я молчал, когда Миша и Мариша сказали, что намерены ехать. Другое дело, что на их решение мало повлияли бы любые мои слова... Однако я их не произнес...

Все так не просто...

И теперь они уезжают...

Сотни, тысячи людей уезжают, и у каждого — свои причины, своя судьба, тут нельзя ни одобрять, ни осуждать огулом.

Алма-Ата — Vien. Тирасполь — Массачусетс. Одесса — Лос-Анжелес...

Мишины родители — с нами рядом. Они растеряны не меньше нашего, но стараются держаться. Все мы стараемся держаться...

Мы идем с Сашенькой, я сжимаю — осторожно и крепко — его кулачок. Я хочу, чтобы моя ладонь запомнила — его форму, его упругую хрупкость, его тепло. За плечами у Сашеньки — маленький, специально сшитый рюкзачок. С ним было немало хлопот, но теперь он очень гордится своим рюкзачком. Будь мне столько же, сколько ему — четыре года — я испытывал бы то же самое. Но сейчас я смотрю на этот рюкзачок, на пристегнутый к слабой детской спинке горбик — и пламя стыда охватывает мое сердце. Стыда и отчаяния... Это не рюкзачок для игры или воскресных прогулок — это Сума Изгнания, вот что это такое...

Меня пронизывает, простреливает эта мысль — и горячая горечь обжигает мои глаза, а вторая — свободная — рука сжимается в кулак...

КТО МЫ? ОТКУДА? КУДА ИДЕМ?..

Брось свои иносказанья
И гипотезы святые,
На проклятые вопросы
Дай ответы мне прямые...
Генрих Гейне

1

Когда и как началась наша Вселенная, когда и как?..

Этого мы не знаем: среди множества гипотез — ни одной достоверной.

А когда и как возникла Жизнь на Земле?..

И это нам неизвестно.

Каждому из нас известно только одно: число, месяц и год, когда сам он родился. Известно в точности.

О себе я могу сказать, что я родился седьмого февраля 1931 года...

Когда и что было началом Холокоста — Катастрофы европейского еврейства?..

Первое Вавилонское пленение — акция, проведенная Навуходоносором почти три тысячи лет назад? Крестовые походы, обагрившие земли Европы еврейской кровью в XI веке? Кишиневский погром? "Хрустальная ночь", учиненная Адольфом Гитлером в 1938-м? Что было началом, за которым следовали - Бабий Яр, Освенцим, "дело врачей"?..

Разве горный обвал, — камнепад, грохот, содроганье земли, удары глыбы о глыбу, скалы о скалу, завалы, перегораживающие горные долины, погребающие ревущим, неудержимым, всесокрушающим потоком и крохотные селенья, и многолюдные, многотысячные города, — разве они начинаются не с тихого, едва слышного шороха? Не с короткого щелчка — кремень о кремень — где-то там, на вершине горы? Не с легкой, шелестящей осыпи?..

Граница... Рожденье... Начало...

Не знаю —
как,
для кого,
когда...

Для меня это был один из дней в середине декабря 1987 года.

С него-то и начался новый отсчет в моей жизни.

Здесь, в этой точке, она переломилась, распалась — на "до" и "после".

Произошло это так.

2

После планерки я задержался в кабинете главного редактора. Была обычная планерка, с обычными разговорами — что и почему выпало из прошлого номера, что должно войти в следующий. Завы сдали заявки отделов, ответственный секретарь попрекнул кое-кого за нарушение сроков, кто-то кого-то слегка подколол, пожурил — скорее всего так, для общего оживляжа... Дела в журнале шли неплохо. Несмотря на шквал публикаций в центре, нам удавалось держаться на поверхности, даже увеличивать и без того немалый для провинции тираж. Так что редакция, хоть за последнее время она и сменила отчасти свой состав, продолжала по старой традиции ощущать себя единой семьей, в которой если и случаются ссоры, то недолгие, а в общем-то все привыкли друг к другу, притерлись, у каждого свое место, на которое никто не покушается, и все полны взаимопонимания и готовности в любую минуту помочь и поддержать друг друга. По крайней мере, так мне казалось.

И когда несколько человек, в том числе и я, после планерки задержались на пару минут в кабинете у Толмачева, и он сказал мне:

— А ты не читал?.. — и обратился к кому-то: — Дайте и Герту прочесть, как члену редколлегии, пусть скажет свое мнение... — в этом не было ничего особенного. На планерке я уже слышал, что получен какой-то материал, связанный с Мариной Цветаевой, и что надо бы скорее поставить его в номер. Шел он, естественно, по отделу поэзии, я заведовал прозой, но если надо — почему не прочесть, да еще и Марину Цветаеву?..

— Тем более, — усмехнулся ответсекретарь редакции Петров, — что это кое в чем и по еврейской части... — Усмешка у него была дружелюбная, он всегда улыбался мне дружелюбно, мы работали вместе более двадцати лет, если точно — то двадцать три года — и, вместе со всей редакцией, хлебнули за это время всякого... А если порой подшучивали друг над другом, то всегда дружелюбно, не зло.

— Ну, если так, конечно, — сказал я, не подавая вида, что меня слегка корябнула его шутка, сам не знаю отчего. — Без такого эксперта по еврейским проблемам, как я, никому не обойтись...

Мое "еврейство" всегда было для меня понятием условным. Хорош еврей, не знающий ни языка, ни обычаев, из еврейской литературы читавший только Шолом-Алейхема, да и не очень представляющий — существует ли она, еврейская литература... В самом деле — эксперт!

Петров протянул мне рукопись — и довольно объемистую, тридцать две страницы на машинке, как заметил я, заглянув в конец.

— Ого! — сказал я без всякого пафоса, представив себе комнатушку, где помещался наш отдел прозы: четыре стола, стоящих впритык, груды громоздящихся всюду рукописей, непрерывный ручеек авторов, посетителей, втекающий из коридора а нашу дверь и — бочком, бочком, между столами — журчащий по направлению к моему столу...

— Не знаю, смогу ли прочесть в редакции, — обратился я к Толмачеву. — Если это не сверхсрочно, возьму домой, завтра принесу.

Толмачев согласится.

— Планируем Цветаеву на третий номер, — сказал он. — Все ребята уже прочитали.

Редкий день я уходил из редакции, не набив рукописями свой дипломат. В тот вечер изрядная их порция ожидала меня дома.

— Что ж, прочитали так прочитали, — сказал я. — К чему мне читать — для проформы? Или ты думаешь, я возражать буду?..

— Ну, все-таки, — сказал Толмачев. — Ты же член редколлегии... Прочти. Тут надо подумать: сокращать — не сокращать...

— Цветаеву — сокращать?..

— Ну, — сказал Толмачев, — я тебя прошу. Прочти, После поговорим.

Вокруг в нетерпении толпились, тянулись к нему с вопросами — каждый о своем...

Я вздохнул и вышел, на ходу просматривая первую страницу. В заголовке стояло: "Вольный проезд".

Марина Цветаева. Марина, Марина, Марина... Так зовут мою дочь. Я шел по нашему длинному полутемному коридору, чувствуя себя полнейшим подонком. После всего, что мне известно о Цветаевой, с кислой рожей принять в руки эти страницы, вместо того, чтобы возблагодарить всех богов на свете за то, что сподобился их читать?..

3

Помню начало "оттепели", самое-самое начало — и опять-таки не "вообще", а — для меня: как, с чего для меня качалась та самая "оттепель"... Отслужив армию, я приехал на родину, в Астрахань, и как-то раз однажды, проходя по центру города, увидел в киоске странного вида издание: огромного размера — книгу не книгу, тетрадь не тетрадь, в синей бумажной обложке с множеством росписей-автографов и крупно начертанным названием "День поэзии"...

То был первый выпуск, появившийся в 1956 году и в январе пятьдесят седьмого добравшийся до Астрахани... Мороз без особого труда прогрыз мое легкое пальтецо, наброшенное поверх гимнастерки, впился клешнями в уши и кончик носа, а я все стоял посреди тротуара, с раскрытым "Днем поэзии" в руках. Ледяной ветер свирепо рвал, раздувал, как паруса, просторные страницы, а я листал их, дивясь незнакомым именам. В армии было не до стихов, не до бурных перемен в литературе — и многое меня ошеломляло теперь...

Одним из таких ошеломлений была Цветаева. Что я слышал о ней раньше? Существовала когда-то в Россим такая поэтесса, да сбежала в эмиграцию от революции... Вот, пожалуй, и все. И вдруг в том самом "Дне", в сопровождении коротенького предисловия Ан.Тарасенкова, — ее стихи, ничуть не похожие на привычные, словно в расчете на неполную среднюю школу, чистописания Суркова или Щипачева:

О, слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О, Чехия в слезах!
Испания в крови!..
О, черная гора.
Затмившая весь свет!
Пора — пора — пора —
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей
Отказываюсь выть...

Внизу стояла дата: 1939 год, май... Фашизм уже подмял Австрию, Испанию, когтил Чехословакию, считанные, недели оставались до начала второй мировой войны...

Вскоре мне попался тогда же, в 1956 году изданный альманах "Литературная Москва" — второй том, с романом Каверина "Поиски и надежды", с "Рычагами" Яшина, статьями Марка Щеглова, Александра Крона... Здесь же была опубликована

подборка стихов Марины Цветаевой с большой статьей Ильи Эренбурга: для меня Марину Цветаеву открыл именно он. И о ее самоубийстве написал впервые он — в "Дне поэзии" глухо, невнятно говорилось, что она умерла в Елабуге...

"Все меньше становится людей моего поколения, которые знали Марину Ивановну Цветаеву в зените ее поэтического сияния, — рассказывал Эренбург. — Сейчас еще не время рассказывать об ее трудной жизни: она слишком близка к нам. Но мне хочется сказать, что Цветаева была человеком большой совести, жила честно и благородно, почти всегда в нужде, пренебрегая внешними благами существования.,."

"Театр на Таганке", без которого невозможно представить шестидесятые годы, начинался спектаклем "Добрый человек из Сезуана", в нем звучали песни на стихи Марины Цветаевой...

Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной лежит — разумеется, порядком потрепанный — "День поэзии", тот самый, и слегка пожелтелая (тридцать лет минуло!..) "Литературная Москва". Если порыться в боковом ящике письменного стола, отыщется и программка "Доброго человека из Сезуана": "Таганка" привозила спектакль в Алма-Ату. "Оттепель", Эренбург, "День поэзии", Марина Цветаева — все соединилось, связалось между собой, вросло в жизнь — моего поколения, мою... Вросло в жизнь. Перестало быть поэзией, историей, болью или радостью — стало и тем, и другим, и третьим: жизнью...

И вот...

4

И вот — как ни стараюсь я оттянуть этот момент... Он наступил.

Теперь, думая о нем, я вспоминаю, что уже в кабинете главного редактора что-то задело, царапнуло меня... Но, как зачастую в *подобных* случаях, я сказал себе: ну да стоит ли обращать внимание?.. Глупости. Марина Цветаева — и что-то там "по еврейской части"?.. Какая связь?.. Шутка. Не слишком удачная, но всего-навсего шутка...

И вот я принес домой рукопись и начал читать. И чем больше читал, тем больше терялся. Временами казалось, что ни Марина Цветаева, ни отпечатанные на машинке листочки с карандашными, острым грифельком сделанными пометками тут ни при чем, это у меня в голове что-то перепуталось и скособочилось...

— Послушай, — сказал я своей жене и стал читать вслух. Так

часто бывает, четкий, вымуштрованный точными науками ум жены служит мне для самопроверки, обуздания излишних эмоций. Хотя, говоря правду, мы чаще спорим, расходимся друг с другом, чем соглашаемся. Но на этот раз, едва я прочел две-три страницы, она взмолилась:

- Не надо, не читай больше... Меня тошнит.

— Но мы еще не добрались до главного...

— Нет, прошу тебя...

Капризы, истерики, равно как и разного рода телячьи нежности — не в ее характере. Как и притворство. Лицо ее побледнело, рука сжала горло, предупреждая спазм.

— Хорошо, — сказал я, — не буду.

Мы оба в тот вечер были обескуражены, угнетены. В какой-то мере - тем, что прочли. Марина Цветаева была нашим кумиром. Ее честность, ее безоглядная прямота, ее страстность, трагический финал ее горемычной жизни, страдальческое начало в ее поэзии — все делало ее *своей, нашей.* И вдруг... Но мало ли какие обстоятельства, какие блуждания и срывы бывают пережиты даже гением... В конце концов, одинокая, маленькая, почти девочка, даром что при этом мать двоих детей, из рафинированного, романтического мира поэзии щепкой упавшая в бешеный водоворот революции. В то время, помимо всего, еще не было ни Майданека, ни Освенцима... Но *сейчас*... Кому и зачем нужно, чтобы это было напечатано *сейчас!*..

Этот вопрос обжигал куда сильнее.

Собственно, не "напечатано", а перепечатано. Мемуарный очерк Марины Цветаевой "Вольный проезд", по сути — отрывок из дневника, впервые напечатан был в Париже, в русском эмигрантском журнале "Современные записки" в 1924 году, как об этом говорилось в предварении к очерку. Под очерком дата: 1918-й год. Марина Цветаева рассказывала в нем о том, как в сентябре голодного восемнадцатого года отправилась в Тульскую губернию выменивать муку, пшено и сало на мыло и ситец.

Она остановилась в доме, где жили красноармейцы-продотрядовцы, приехавшие из Петрограда, в частности — командир продотряда Иосиф Каплан ("еврей со слитком золота на шее") и его жена ("наичернющая евреечка, "обожающая" золотые вещи и шелковые материи"). Идут реквизиции. Народ стонет, продотрядовцы разбойничают, выжимают из него последние соки. Реквизиторы — Каплан, Левит, Рузман, какой-то "грузин в красной черкеске" и др. Каплан ("хам, коммунист с золотым слитком на шее") и его сотоварищи (в очерке — "опричники") хапают, грабят, гребут все подряд: "У того столько-то холста... У того кадушка топленого... У того царскими тысячами... А иной раз

— просто петуха..." И еще: "Сало, золото, сукно, сукно, сало, золото". Куда же, кому же все это?.. Вот кому: "Хозяйка над чем-то наклоняется. Из-за пазухи выпадает стопка золота, золотые со звоном раскатываются по комнате. Присутствующие, было — опустив, быстро отводят глаза". При этом двоедушный Каплан требует, чтобы жена вместо романов читала "Капитал" Маркса. Она вспоминает: "Ах, у нас была квартирка! Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чуланчик для прислуги. Я никогда не позволяла служанке спать в кухне, — это нечистоплотно, могут волосы упасть в кастрюлю... У меня были очень важные заказчицы, я ведь лучший Петроград своими жакетками одевала... О, мы очень хорошо зарабатывали, каждое воскресенье принимали гостей: и вино, и лучшие продукты, и цветы... У Иоси был целый курительный прибор: такой столик филигранной работы, кавказский, со всякими трубками, и штучками, и пепельницами, и спичечницами... По случаю у одного фабриканта купили... И в карты у нас играли, уверяю вас, на совсем нешуточные суммы... И все это пришлось оставить: обстановку мы распродали, кое-что припрятали..."

Далее сообщается, что "Иося прав, народ не может больше томиться в оковах буржуазии" (слова жены) и мечтает сорвать колокола со всех сорока сороков московских церквей, чтобы перелить их в памятник Карлу Марксу.

У жены Каплана главная страсть — золото: "А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами? Может быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, я Иосе не передам, это будет маленькое женское дело между нами! Наш маленький секрет! (Блудливо хихикает)... У меня хорошенькие запасы... Я Иосе тоже не всегда говорю... Если вам нужно свиное сало, например, - можно свиное сало, если совсем белую муку — можно' совсем белую муку..."

Узнав, что Марина Цветаева оставила дома голодающих детей: "Она рассмешенная: - Ах! Ах! Ах! Какая вы забавная! Да разве дети это такой товар? Все теперь своих детей оставляют, пристраивают. Какие же дети, когда кушать нечего? (Сентенциозно): — Для детей есть приюты. Дети это собственность нашей социалистической Коммуны..."

Затем следует: "Мытье пола у хамки[1]. - Еще лужу подотрите! Повесьте шляпку! Да вы не так! По половицам надо. Разве у вас в Москве другая манера? А я, знаете, совсем не могу мыть полы, поясница болит. Вы, наверное, с детства привыкли? — молча глотаю слезы". Далее: "Сколько перемытой посуды и уже дважды вымытый пол! Чувство, что я определенно обращена в рабство".

[1] *Т. е. у "наичернющей евреечки", жены Каплана.*

О продотрядовцах: "С утра — на разбой... Часа в четыре сходятся. У наших Капланов нечто вроде столовой. (Хозяйка: "Им удобно, и нам с Иосей полезно. Продукты — вольные, обеды — платные"). Приходят усталые, красные, бледные, потные, злые... Едят сначала молча. Под лаской сала лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа — дележ впечатлениями. (Вещественный дележ производится на месте)"[1].

[1] *См. примечание в конце книги.*

Итог: "Хам, коммунист с золотым слитком на шее; мещанка-евреечка, бывшая владелица трикотажной мастерской; шайка воров в черкесках..." "Разбойник, разбойникова жена — и я, разбойниковой жены служанка".

Подробно излагаются разговоры о том, что ЧК возглавляет жид Урицкий, что убил его другой жид — Каннегиссер; "два жида поссорились", что жиды Христа распяли... Все это слышит и передает автор "Вольного проезда", иногда вмешивается в споры, утверждая, что и евреи бывают разные, хорошие тоже, к примеру — стрелявшая в Ленина Фанни Каплан или тот же Каннегиссер, которого Марина Цветаева знала в гимназические годы.

Едва ли не единственный человек, вызывающий у автора симпатию и даже восторг — продотрядозец, такой же разбойник, как остальные, но напоминающий Цветаевой Стеньку Разина, так она его и называет: "Стенька Разин. Два Георгия. Лицо круглое, лукавое, веснушчатое..." Он с благоговением вспоминает: "Отец мой — околоточный надзиратель царского времени... Великий, я вам повторю, человек... Царя вровень с богом чтил". О самом же продотрядовце сказано: "Купил с аукциона дом в Климачах за 400 рублей. Грабил банк в Одессе — "полные карманы золота!" Служил в полку наследника". Марина Цветаева читает ему стихи, он ей — "про город подводный", Китеж. "После тещ, свах, пшен, помойных ведер, Марксов — этот луч — (голос), ударяющий в эту синь (глаза!). Ибо читаю ему прямо в глаза: как смотрят!"

И скорбь об убиенном императоре, и проклятия его убийцам...

Сейчас я, помимо цитат, кое-что восстанавливаю по памяти, без красочных подробностей. Все равно они ничего не меняют. Россия погублена, отдана на поток и разграбление врагам ее — жидам и красноармейцам-"опричникам", опричникам новой власти... Короче — "Вей жидов, спасай Россию!"

6

Зачем я так подробно, словно смакуя, пересказываю "Вольный

проезд"?.. Не знаю. Скорее всего чтобы перепроверить себя, свое тогдашнее состояние: насколько были основательны причины моей растерянности... Расскажи мне кто-нибудь о чем-то подробном — я бы не поверил. Но вот они лежали передо мной — листочки тонкой, полупрозрачной бумаги, присланные в редакцию из Москвы профессором Л.Козловой, преподавателем пединститута им. Ленина... Я читал и перечитывал их сам, пытался прочесть жене... Однако даже и теперь, словно пробуя монету на зуб или денежную купюру на просвет, снова всматриваюсь, вчитываюсь, будто хочу потрогать рукой каждый звук, каждую букву... Тогда же я постарался отложить, отодвинуть зловещий вопрос и единственно возможный ответ. Мало ли что... А Достоевский?.. Как он относился к евреям или полякам?.. А Чехов?.. А что писали Герцен или Салтыков-Щедрин о немцах?.. Но ведь не следует же из этого... И нечего катить бочку на Марину Цветаеву. Мало ли, мало ли что... Эта ее всегдашняя экзальтация, и муж — в Добрармии у Деникина, а тут — голод, смятение... Потом — горькая, полунищая эмиграция, возвращение в Россию — и затянутая на горле петля... Кто я такой, чтобы судить? И — кого, кого?.. — Так я сказал себе, ничего не решив и не избавясь от когтящего сердце недоумения: "О, Чехия в слезах! Испания в крови!.." Когда Марика Цветаева публиковала в Париже свой очерк, Гитлер, сидя в тюрьме, только еще диктовал "Майн кампф", еще далеко было до тридцать третьего года, тем более — до "практического решения еврейской проблемы"... Другое меня огорошило: зачем нам-то, знающим то, чего она тогда не знала, печатать это сейчас?.. На третьем году перестройки?..

Примерно год назад мы узнали из газет о существовании общества "Память", о декларациях его вожаков. Потом стало выясняться, что у общества немало филиалов по всей стране: в Новосибирске, Ленинграде, Свердловске. В "Нашем современнике" напечатали откровенно антисемитский роман Василия Белова "Все впереди". До этого по рукам ходила переписка Эйдельмана с Астафьевым, в которой напрямик, без принятых еще недавно экивоков, говорилось о пагубной роли евреев в истории России: тридцать седьмой год, расстрел царской семьи, разрушение храмов, изгнание из литературы славянского духа — все они... Еще раньше — записанные на магнитофонную пленку лекции академика Углова, обвинявшего евреев в спаивании русского народа чуть ли не со времен Владимира Красное Солнышко... Публикация "Вольного проезда" попала бы прямиком в эту струю.

Я не имел представления о профессоре Л.Козловой, мог лишь догадываться, отчего не обращалась (или обращалась?..) она в

московские редакции, а решила попытать счастья в периферийном издании... Но я знал нашу редакцию, в особенности людей, с которыми бок о бок прожил столько лет, знал довольно давно главного редактора Геннадия Толмачева — не очень, правда, близко, но и он, придя три года назад в журнал, вызывал у меня полное доверие и симпатию... Было бы стыдно для меня самого заподозрить ребят в чем-то скверном, а уж в антисемитизме...

Абсурд! — решили мы с женой. Завтра я зайду в кабинет к редактору и скажу:

— Вот, я прочитал, возвращаю... Конечно, вопрос о публикации в журнале этой вещи, да еще теперь — шутка... Я ее понял и оценил.

Так я скажу Толмачеву, решили мы. И вопрос будет исчерпан. Да и в чем, собственно говоря, здесь вопрос?..

7

Но вопрос был... В том-то и дело, что был... Потому-то я и обрадовался, когда мы обнаружили такой вот простенький выход. Он позволял не касаться колючек, давно уже меня царапавших, не сосредотачиваться на занозах, загнанных глубоко под кожу. А они свербили, покалывали — эти занозы... Хотя и были всего лишь занозами — не больше. И внимание на них обращать-то глупо, когда тебе известно кое-что, в пределах дозволенного, а чаще — просочившегося помимо и сверх дозволенного — о Бабьем Яре или деле Бейлиса, или о погромах, которые происходили на глазах у твоих бабушек и дедушек, уцелевших, в отличие от их братьев или сестер, и нехотя рассказывавших о том, давнем, в ответ на твои недоверчивые, рожденные детским любопытством вопросы... Но и заноза — жалит, когда перед тобой — не логическая категория, не чьи-то воспоминания и рассказы, а живой человек — светловолосый, отлично сложенный, хотя и с намечающимся брюшком, которое держит в норме регулярная игра в волейбол, сауна, природное здоровье... Он ведет себя со всеми просто, у него широкая, открытая улыбка, и "душа нараспашку", и он никогда не корчит из себя начальника, и стремительно, только-только закончив читать рукопись, распоряжается заслать твой роман в набор, поставить в номер... И вот он остается с тобой наедине, и смотрит тебе в лицо, и доверительно, с тревогой за то, поймешь ли ты его правильно, ведь он вовсе не хочет тебя обидеть, единственное, чего он хочет — это чтобы ты его понял, *правильно* понял — говорит:

— Понимаешь, в Москве мне сказали: семьдесят три процента в московской писательской организации — евреи... Такое дело...

Дома мы с женой подсчитываем, пользуясь данными справочника Союза писателей СССР: выходит, истинное число увеличено по меньшей мере в три раза... Но отчего-то, когда я на другой день хочу ему об этом сообщить, мне становится неловко - и за него, и за себя... И я предпочитаю промолчать.

Или — перед моей командировкой в Москву, затеянной, чтобы добыть для журнала рукописи, способные и поднять его уровень, и вызвать у читателей интерес:

— Ты парень сообразительный и сам понимаешь, *какие* авторы нам нужны...

Слова эти роняются мимоходом, картавой скороговоркой (он довольно сильно картавит, наш вполне чистокровный славянин Гена Толмачев), и глаза его при этом опущены, косят в сторону... Я не сразу догадываюсь, о чем именно, о *каких* авторах идет речь.

А догадавшись, на миг испытываю такое чувство, как если бы мне за шиворот плеснули кипятком. Но тут же остужаю себя. Разве сам я — правда, в шутку, потешаясь над юдофобами из "Нашего современника", — не посмеивался у себя в отделе, где всегда набивалось много народа и бывало весело, шутки, остроты, порой злые, перелетали из уст в уста, как отбитые ракеткой воланы, — разве сам я не смеялся, воображая, как отреагировали бы в "Нашем современнике", узнав, что у нас в журнале в течение одного года публикуются повести Мориса Симашко, Аркадия Ваксберга и Юрия Герта... Ну, вот. Хоть и в шутку, а пришла же такая мысль мне в голову. А если Толмачеву кто-то высказал ее всерьез?..

Как-нибудь, думал я тогда, подвернется случай — и мы поговорим, все выясним... Чтобы никакая тень между нами не лежала... Не нужно усложнять там, где существует простое недоразумение... Так я думал, но разговор все откладывал.

Или, помню, на планерке назвали фамилию Игоря Манделя — автора предлагаемой в номер статьи.

— Кто-кто?.. Ман-дель?.. — широко улыбается Толмачев. И такая, в расчете на общее взаимопонимание, ирония в этой улыбке, что все смеются в ответ и поглядывают на меня. Как не ответить на шутку шуткой?.. И я растерянно улыбаюсь в ответ.

Между тем, Игоря Манделя я знаю двадцать лет, когда мы познакомились, он еще учился в школе, и все это время я издали наблюдал за ним — работящим, талантливым, до наивности честным. Сейчас он кандидат наук, математик, статистик, его монографии выходят к Москве, это я рекомендовал редакции его статью... В редакции ее отклонили, возможно — и заслуженно,

была она несколько не по профилю Журнала, тем не менее та планерка запомнилась: при слове "Мандель" — веселые, поддевающие усмешки, щекочущие, как прутик — спящего, взгляды...

Но сквернее скверного — подозревать, а тем более — обвинять человека, который ни в чем не виноват. И делать из мухи слона, чтобы — как в старом анекдоте — торговать слоновой костью...

Так думал я тогда.

Но следует ли всю жизнь разыгрывать из себя страуса?.. — думаю я теперь.

Но это — потом, потом... Это потом из удушливого, слепого тумана рефлексий стали выпадать в осадок, конденсироваться по каплям кое-какие мысли... А тогда, то есть на другой день, я сидел у себя в отделе, над рукописями, оттягивая неловкий разговор, дожидаясь, пока Толмачев останется в кабинете один. И не дождался: проходя мимо, по коридору, он заглянул в дверь:

— Прочел?.. Зайди ко мне.

В кабинете, помимо хозяина, сидели еще двое — так, без особого дела заглянувшие сюда Морис Симашко и Виктор Мироглов. Тот и другой — близкие — хотя и по-разному близкие — мои друзья. С Морисом, чьи книги переведены на множество языков и расходятся по всему миру, мы знакомы больше двадцати пяти лет, он старше меня и держится добродушно-покровительственно. С Виктором я знаком примерно столько же, рекомендовал его в Союз писателей, нам случалось в сложных ситуациях выручать друг друга, и был у нас в прошлом безумный и отчаянный подход к Кунаеву, за которым последовала расплата... Но об этом после.

Затевать разговор в их присутствии мне не хотелось. Я был уверен, что каждый из них меня бы поддержал. Но именно это поставило бы Толмачева в неловкое положение — один против трех... К тому же, знал я, Толмачев болезненно самолюбив, а с Мирогловым у него неприязненные отношения, получится спектакль, в котором — не по моей, а выходит — и по моей милости уготована главному редактору незавидная роль...

Но что поделаешь?.. "Ты этого хотел, Жорж Дандем!.."

— Я прочел, — сказал я, опускаясь в кресло перед редакторским столом и стараясь, чтобы мой голос звучал возможно непринужденней. — И понимаю, что это шутка...

— Шутка? — Светлые брови Толмачева скакнули вверх. — Как это — шутка?..

Что там не говори, а чувство юмора у него всегда было развито.

— Ну, розыгрыш.

— Ничего себе — розыгрыш! — Он задвигал плечами, заерзал, будто его нежданно-негаданно голым задом толкнули в крапиву. — Марина Цветаева — розыгрыш?..

Глаза Толмачева, покруглев, смотрели на меня с искренним изумлением. В его натуре, помимо склонности к юмору, имелись явно артистические задатки.

— Не чувствую, — буркнул Толмачев. — Слишком уж у тебя кожа тонкая, если ты это чувствуешь...

Счастливый человек, подумалось мне...

— Видишь ли, — сказал я, ощущая и нечто вроде сострадания к Толмачеву, и собственное - не гордость, а горечь внушающее превосходство,— мы спорим не на равных. Тут у меня явное, как говорится, преимущество. Ты принадлежишь к великому народу, который хоть и вынес немало бед за свою историю, но не знает, что такое — национальная ущемленность. Ты заметил, что у меня нос скошен в сторону... Это в январе 1953 года, когда заварилось "дело врачей", какой-то тип звезданул меня в лицо. Случилось это в Вологде, я был студентом, учился в пединституте, и вот как-то часов около десяти вечера шли мы, я и мой товарищ, тоже студент, Алфей Копенкин, по улице, в самом центре, и тут пьяная шарага вываливает из ресторана "Север" нам наперерез. "А, жид?.." И мне кулаком в рожу. Вот когда я понял, что значит — "искры из глаз посыпались". Кровища фонтаном, потом оказалось — даже челюсть треснула... Сволочное время было, то — "космополиты", то "шпионы-врачи"; хотя в институте ни я, ни мои товарищи-евреи неприязни к себе не ощущали, наоборот — какое-то сочувствие, даже неловкость за то, что в газетах пишут, что в Москве творится... Я это помню, только и удар — помню. И хотел бы забыть — нос помнит, челюсть помнит... До войны, мальчишкой, я не задумывался — кто я, знал: мы — евреи, те — русские, те — греки, все равно что — эти черные, те — рыжие... И только. Но в эвакуации, в Коканде, меня ежедневно били по дороге в школу. "Абрам", "жид" — это там я услышал впервые. Ни учителям, ни моим одноклассникам, ни бабушке с дедом я в этом не признавался, стыдно было. И каждое утро брал портфель с учебниками, тетрадками, выходил из хибарки, в которой мы снимали комнатку с земляным полом, и шел в школу, зная, что за поворотом ватага мальчишек уже меня поджидает... И не боль от ударов меня страшила, а эти крики — "Жид! Абрам!..." Они оглушали, погружали в какое-то оцепенение, столбняк — я не знал, чем ответить... Ну, да, я еврей, по-ихнему — жид... Но почему за это нужно меня бить?.. Тут зазор, который я не мог заполнить... Не могу и теперь. Или уже в пятидесятых: моя жена,

москвичка, закончила институт, а на работу нигде не берут: пятый пункт не тот!.. И отец ее, отличный экономист — уже больной, на старости лет, уезжал из Москвы — то в Белоруссию, на строительство нефтепровода, то в Каражал, под Караганду — по той же причине... Так что мы по разному воспринимаем одни и те же слова; "Память", "жидо-масоны" — в соответствии с тем, какой у кого жизненный опыт. Но поверь; скажи мне кто-нибудь, что я задеваю, даже ненароком, его национальные чувства... Я бы сдох со стыда и вымарал из своей вещи малейший намек, не намек — все, что могли принять за намек...

— У нас демократия, — выслушав меня, сказал Толмачев. — Гласность.

Лицо у него было каменное, неприступное.

— И что же? Значит — и нацизм, и фашизм — все допустимо, все разрешено?

— Пожалуйста, — улыбнулся Толмачев. — Как в любом демократическом государстве.

Мне вспомнилось, как ровно год назад он уговаривал меня снять любые упоминания о сталинских лагерях в моей повести, печатавшейся в журнале.

— И вообще, — продолжал он с нарастающим вызовом,— что же, если я еврейский анекдот расскажу, ты обидишься? У каждого народа свои слабые стороны. Например, я знаю, что у евреев золота много! И никто меня в этом не переубедит!..

Он рассмеялся. У него была такая широкая, от уха до уха, улыбка. И смех — такой заразительный, что всегда хотелось к нему присоединиться...

— Демократия, гласность?.. Ну, а если я тебе рассказ принесу, всего на пять страничек?.. Напечатаешь?.. Маленький, невинный, по сути, рассказик?.. Он в мою повесть "Солнце и кошка" должен был войти, но тогда, в 1976 году, не вошел, да я и не предлагал, все равно бы не напечатали...

— И зря. Я бы напечатал. — Он тогда работал в том самом издательстве, где выходила моя повесть.

— Еще бы... — Я едва не рассмеялся. — Повесть была о моем детстве, довоенном и военном, так от меня категорически потребовали, чтобы я "приглушил национальный колорит", а проще говоря — переменил имена своих родичей с еврейских на русские!..

— Все равно, — не сморгнув глазом, повторил он, — я бы напечатал.

— Не буду тебя ставить в неловкое положение... Что спорить попусту? Не напечатал бы тогда, не напечатаешь и теперь.

— Напечатаю!

Голос его звучал жестко, уверенно. Видно, он был убежден, что я блефую, нет у меня такого рассказа.

— Хорошо, — сказал я, — завтра же принесу...

8

— И потом — где, у каких крестьян они, эти золотые слитки, водились, чтобы их отбирать?.. Но ведь и Марина Цветаева, должно быть, не присочиняет?.. Словом, нужен комментарий.

— Ну, допустим...

— Но это частность. Что мы знаем о Марине Цветаевой? Она ненавидела революцию — и восторгалась безоглядно принявшим ее Маяковским. Она бежала из революционной России — и вернулась в нее в разгар сталинского террора. Она романтизирует русскую монархию — и трагически переживает гибель республиканской Испании. Ее муж Эфрон воюет в рядах белогвардейцев-деникинцев с красными — и затем рвется из Парижа в Советский Союз, где по приезде и погибает. Выдерни один-два факта ее биографии, выдерни некоторые строки, стихи — какие открываются возможности для самых разных спекуляций!..

— Что же ты предлагаешь?..

— Разобраться самим, что к чему, и помочь разобраться читателю, который не слишком осведомлен в судьбе Марины Цветаевой — как и мы сами, чего греха таить... И не давать повода превратить ее в союзницу "Памяти" и черносотенцев из "Нашего современника".

— Разве ты не знаешь моего отношения к ним?..

— Знаю. Но и ты меня знаешь. Если "Вольный проезд" будет напечатан без толкового комментария, я уйду из журнала.

Толмачев помолчал.

— Понимаю... — Голос его отмяк, в пристальном взгляде, которым он словно впервые меня рассматривал, я поймал то ли соболезнование, то ли сочувствие...

Я был уверен: все обойдется. Толмачев пришел в редакцию три года назад, все мы приняли тогда его назначение настороженно, иные даже враждебно. За три последние года, однако, журнал напечатал несколько смелых вещей, мало-помалу, благодаря перестройке, в нем воскресали давние, загубленные годами застоя традиции. Время, здравый смысл и эти традиции эпохи "оттепели" — на моей стороне, — думал я. — Толмачев поймет, уже понимает — нельзя гробить едва поднимающийся с четвереньек журнал...

Не он, а мои друзья, честно говоря, смутили меня в тот раз — Морис Симашко и Виктор Мироглов. Смутило их молчание — вместо поддержки... Мерзкое у меня было чувство в душе, когда мы с Виктором (Симашко ушел раньше) после работы бок о бок прошагали по улице несколько кварталов. Небо над городом висело низкое, пасмурное, и между нами вместо привычной ясности горьким дымком клубилась какая-то хмарь. Я что-то говорил, только бы нарушить гнетущее молчание. Виктор посапывал, отводил глаза в сторону.

— Надо прочесть самому, — повторил он произнесенное в редакторском кабинете. — Пока не прочту, ничего не могу сказать.

Что ж, он был прав. Но в тоне его, в тяжеловесной фигуре, в тяжелых, размашистых шагах, в том, как давили, размазывали по земле подошвы его ботинок густую, клейкую грязь, я ощущал едва прикрытую враждебность.

Дома я рассказал о разговоре с Толмачевым, признался, что наговорил, наверное, лишнего...

— Но я выложил все, что думаю, начистоту. Когда говоришь с человеком так, без задних мыслей, начистоту, это не может не подействовать...

Не знаю, что, слушая меня, думала жена, но возражать мне она не стала.

10

Мы многого еще не знали в то время, но и того, что знали, хватало для некоторых догадок. Да, мы догадывались, как сложна, запутанна, искорежена трагическими обстоятельствами была судьба Марины Цветаевой с ее страшным финалом.. Но как могли мы предположить, что ее муж Сергей Эфрон, добиваясь разрешения вернуться на Родину, согласился выполнять оперативные задания НКВД в Париже: что он причастен к нашумевшему похищению генерала Миллера, возглавлявшего "Общевоинский союз", и к убийству советского разведчика Игнатия Рейсса, который, подобно Раскольникову, отказался возвращаться домой в 1937 году и выступил публично с разоблачением сталинского режима; что он, Сергей Эфрон, участвовал и в слежке за сыном Троцкого Львом Седовым, умершим весьма загадочно вскоре после отъезда Эфрона в Россию... Об отношениях Марины Цветаевой с эмигрантской средой, скандализованной историей похищения генерала Миллера, о полицейских разоблачениях, о потрясении,

пережитом ничего прежде не подозревавшей поэтессой, — обо всем узнали мы только два года спустя[2].

Но то, что "Вольный проезд" — лишь камешек в грандиозной мозаике жизни и творчества Марины Цветаевой, который, будучи выломленным из всей картины, способен не прояснить, а скорее исказить ее облик, — это было нам ясно и тогда.

И было ясно, не возбуждало сомнений — даже будь нам ничего не известно о дружбе Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, об отношении к ней и к ее творчеству Ильи Эренбурга и т.д., Марина Цветаева *не могла быть* антисемиткой. Впоследствии же оказалось, что публикации в "Современных записках" она предпослала следующее стихотворение:

ЕВРЕЯМ
Кто не топтал тебя и кто не плавил,
О, купина неопалимых роз!
Единое, что по себе оставил
Незыблемого на земле Христос.
Израиль! Приближается второе
Владычество твое. За все гроши
Вы кровью заплатили нам. Герои,
Предатели, Пророки, Торгаши.
В любом из вас — хоть в том, что при огарке Считает золотые в узелке, —
Христос слышнее говорит, чем в Марке,
Матвее, Иоанне и Луке.
По всей земле — от края и до края
Распятие и снятие с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребем Христа.

Об этом стихотворении — таком пронзительном, страстном, с характерным цветаевским перехлестом — мы узнали позже, и об этом — особый рассказ... Другое дело, что о нем, несомненно, знала, не *могла не знать* профессор Л.Козлова, обращаясь в журнал. Знала. И — как оказалось впоследствии — знала не только она...

11

Однако, некоторые слова из тех, что произнес Толмачев, засели в моей памяти, как ржавые гвозди. Например — о золоте, которое в изобилии водится у евреев... В самом деле, есть, как

известно, такое мнение — тут вспоминаются и Шейлок у Шекспира, и "презренный жид, почтенный Соломон" у Пушкина, и мало ли что еще... Но вот, добродушно посмеиваясь, об этом же говорит мне Толмачев. У него — отличная квартира в центре города, преподнесенная ему государством (как и те, что имелись у него раньше и которые за свои пятьдесят лет он успел не раз поменять), он ни года не прожил без служебной машины со служебным шофером, он вдоволь попутешествовал по заграницам, пользуясь разного рода льготными путевками, он постоянно где-то "наверху": то собкор центральной, то редактор областной газеты, то зам.редактора журнала "Партийная жизнь", то есть для него — и спецмагазины, и спецбольница, и спецсанатории... Я живу двадцать пять лет на окраине города, в квартире, купленной за свои, гонорарные деньги, — хрущевского образца, с низким потолком и совмещенным санузлом; у меня нет и не было ни машины, ни дачи; я был и остался работником редакции, моя ставка за двадцать три года выросла со 145 до 190 рублей, я ни разу не был в загранпоездках, раз в год мы с женой в отпуск ездим в писательский Дом творчества по оплаченной нами путевке — и при этом считаем, что нам повезло... Я покупаю мясо ка базаре, маюсь, как и все, в обычной больничной палате на шесть, а то и девять коек, и попадаю туда все чаще. Мне пятьдесят семь лет, в будущем у меня не предвидится никаких — в лучшую сторону — перемен... Однако именно мне, и не кто-нибудь, а именно Толмачев толкует о "золоте"...

У моих друзей-евреев его ровно столько же, сколько у моих друзей-русских и друзей-казахов. Но не глупо ли, не унизительно ли — это доказывать?..

Дай-ка я лучше отнесу ему тот рассказ, — подумал я. Кстати, ведь в нем тоже речь о золоте... Еврейском золоте... И я отыскал пожелтевшие странички с бахромой по краям. Рассказ был написан в конце шестидесятых, в один присест. Славное время... Помню, в "самиздате" тогда гуляли стихи Бориса Слуцкого:

"Евреи хлеба не сеют,
евреи в лавках торгуют,
евреи раньше лысеют,
евреи больше воруют...
Евреи — люди лихие,
они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе..."
Я все это слышал с детства
и скоро совсем постарею,

но мне никуда не деться
от крика" "Евреи! Евреи!"
Не предававши ни разу,
не торговавши ни разу,
ношу в себе, как заразу,
эту проклятую фразу!
Пули меня миновали,
чтоб говорилось нелживо:
"Евреи — не воевали,
все возвратились живы"...

Эти давнишние стихи были, наконец, опубликованы несколько месяцев назад в "Новом мире". Когда-то у нас в Караганде, в среде молодых литераторов, где верхом неприличия считали придавать какое бы то ни было значение "пятому пункту", все их знали наизусть... Обрадованный публикацией, я заглянул в редакторский кабинет со свежим номером журнала и показал Толмачеву стихотворение Слуцкого.

Толмачев посмотрел на меня стеклянными глазами:

— Никогда не слышал, — сказал он.

12

А ТЫ ПОПЛАЧЬ,ПОПЛАЧЬ...

(рассказ)

Утром хозяйка, у которой мы жили, сказала:

— Вставай, тебя бабка зовет.

Я спал на террасе — по ночам здесь было не так душно. Я оделся и пошел в коллнату.

Здесь собрались уже соседи и еще какие-то люди, я их не знал. Они расступились, и я увидел кровать, покрытую свежей белой простыней.

Последние два месяца дед болел водянкой, тощее, усохшее тело его вдруг раздуло, как резиновый баллон, а тут, если бы не голова и ступни ног, упертые в железные прутья кровати, могло показаться, что под простыней пусто.

В изголовье, на стуле, в черном платочке, сидела бабушка. Она поднялась мне навстречу и сказала, глядя куда-то ниже моего подбородка:

— Дедушка наш умер.

Я это понял сам.

В таких случаях — я знал, слышал или читал об этом — люди плачут, заламывают руки и целуют покойника в лоб. И все смотрели на меня, ожидая, как мне казалось, того же самого. А я стоял не шевелясь и только видел перед собой белую свежую простыню, еще в жестких складках от глажки.

Я не любил деда, почти ненавидел.

За обедом, разливая жидкий суп, бабушка наливала ему полную тарелку, а себе — на донышко. Меня это бесило. Я отливал ей от себя так, чтобы у нас было поровну — дед все съедал сам, не поднимая голодных глаз от тарелки. Получив хлеб по карточкам, я честно приносил его домой, не тронув ни крошки, но дед, повертев горбушку, говорил: "А какой он сегодня?.." — и отъедал ее всю, сосал, чмокал своим редкозубым ртом. И ночью, поднимаясь помочиться, на обратном пути он тихо, стараясь не заскрипеть половицей, крался к шкафчику, где в банке хранился сахар, наш *общий* сахар, и я начинал громко ворочаться, чтобы его вспугнуть, но он все равно крался, и я слышал, как поддетый его пальцами кусочек шаркал по стеклу, там, у горлышка.

И вот теперь я смотрел на белую простыню и думал, что мы с бабушкой станем все делить поровну, справедливо.

Не знаю, чем со стороны казалось мое молчание и неподвижность. Но бабушка подошла ко мне, мягко погладила по затылку и, сказав: "Ты поплачь, поплачь, легче будет," — отвела в сторонку.

Мне было стыдно ее красных глаз, ее набрякших век, ее скорбного, черного, в белых горошках платочка, но я не мог выжать ни единой слезинки.

Я обрадовался, когда спустя полчаса меня послали за врачихой, лечившей деда: для похорон требовалась справка, что мой дед действительно умер.

На улице было еще прохладно, воздух казался особенно прозрачным и чистым после комнаты с затворенными окнами и тяжелым, сладким запахом смерти. В арыке весело ворковала вода, над низкими заборами вскипала густая жирная листва, в которой просвечивали янтарно-спелые урючины, на каждом углу, примостясь на корточках, женщины в грязных пестрых халатах торговали рисом, курагой и кислым молоком с коричневой пенкой.

Я быстро нашел нужный дом, но сопровождать врачиху мне не пришлось — она просто выписала мне справку на бланке — таких бланков у нее была заготовлена целая стопка — и я ушел.

Я возвращался не торопясь, довольный, что так хорошо выполнил поручение и тоже чем-то помог в хлопотах. Об этом я как раз и думал, когда заметил впереди раскидистую чинару и сообразил, что надо было свернуть в боковой переулок. Но теперь сворачивать было поздно, потому что там, под чинарой, тоже заметили меня. Каждый день по дороге в школу я проходил мимо этой чинары, и всякий раз мне хотелось свернуть в боковой переулок, но я не сворачивал, а шел мимо, даже убавлял шаг, чтобы там, под чинарой, не подумали, что я струсил.

Я не мог себе позволить, чтобы там так решили в этот день, особенно в этот день.

Они все уже собрались, все сидели там — и Косой, и Дылда, и остальные — все они были в сборе, и среди них, конечно, был и тот. На Костылях, — так я называл их для себя.

— Эй, Абрамчик! — крикнули мне, и я пошел медленнее, не поворачивая головы. Я знал, что это их особенно злило, но я головы не поворачивал и бежать никуда не бежал.

— Эй, Абраша, подь сюда!

Я пошел еще медленнее, по-прежнему притворяясь, что не слышу.

Тогда они поднялись и двинулись мне наперерез.

Я остановился, стиснув справку о смерти деда в потном кулаке.

— Чего вам?

Теперь они стояли против меня полукругом, цепко, настороженно следя за каждым движением. Тот, На Костылях, протолкался вперед, и я видел прямо перед своим его лицо, маленькое, бледное до голубизны на висках, с прищуренными, горячими от злобы глазами.

— Абраша, где твой папаша? — крикнул он, картавя и кривляясь.

Остальные загоготали, как гоготали всегда, хотя всегда повторялось одно и то же. И так же, как всегда, мне хотелось ответить: "Мой отец погиб на фронте, а твой — где?" — ответить и посмотреть, что он на это скажет.

Но я молчал, смутно чувствуя унизительность такого ответа.

— Жид, — сказал он, — жид пархатый! — и придвинулся ко мне.

Теперь мы стояли с ним грудь в грудь.

Он был ниже меня, и на костылях, я мог бы сшибить его одним толчком, ударом. Но именно этого я и боялся. Мне теперь особенно ярко представилось вдруг, как я тем самым кулаком, в котором справка о смерти деда, бью его в ненавистное бледное лицо, в узкий подбородок, и он падает назад, раскорячив

костыли, падает — и разбивает череп о булыжник и потом лежит на кровати, под белой простыней, как мой дед.

— Отойди, — сказал я, — мне ведь некогда. И я не жид, я — еврей, понял?

— Жид, — сказал он. — Все евреи — жиды, в чемоданах золото прячут!..

— Дурак, — сказал я.

Мне уже не терпелось, чтобы он скорее ударил меня, и он ударил — своим острым, жестким, хорошо знакомым кулаком в крупных бородавках. Он попал мне куда-то пониже ребер, и на секунду я лишился дыхания. Потом дыхание снова вернулось ко мне, но я не тронулся, не попытался даже убежать. Отец мой был офицер, он погиб на фронте, и я не мог бежать от маленького, ниже меня калеки на костылях. Но и ответить ударом на удар я не мог. И не мог отвернуться, когда он опять ударил меня, на этот раз в лицо, - я не хотел, чтобы подумали, что я боюсь, когда бьют в лицо, - боюсь боли. Я только смотрел ему в посветлевшие, почти белые от злобы глаза.

Поблизости от дома я спустился в арык, смыл кровь и пятно на рубашке.

В нашем дворике, в тени забора и на террасе, сидели и стояли чужие люди, старики в черных жарких пиджаках что-то бормотали друг другу, сбиваясь на крик, им вторили женщины, азартно мешая русские слова с еврейскими, которых я не понимал, и весь наш двор, наполненный голосами, странно напоминал базар, где ничего не продают и ничего не покупают.

Ко мне оборачивались, меня горестно разглядывали, меня гладили по голове, по плечу, но мне были неприятны эти чужие, жалостливые прикосновения, и я, торопясь, протискивался к входной двери. Там стояла наша хозяйка, она схватила меня за руку и повела к себе за перегородку, отделявшую часть террасы. Здесь на столе горкой лежали огурцы, помидоры, в широкой чашке было молоко.

— Поешь, — сказала она в ответ на мои слова о справке, — отдашь еще, успеешь... Тут евреи приходили, которые молятся и все делают, что надо, так они ничего делать не стали, потому что то не ваши евреи, а бухарские... Пошли других искать.

— А какая разница, тетя Нюра? — сказал я

— Не знаю, — она пододвинула мне чашку, но пить молоко я не стал. Я почувствовал, что есть и пить сейчас было бы изменой, предательством, и пошел в дом.

После яркого полдня здесь казалось темно, горели свечи, их живые огни освещали остроносое лицо деда во впадинах щек и на подбородке чуть заметно шевелились тени, он лежал на столе, но

стол был короток, под ноги ему поставили чемоданы, один на другой. Чемоданы с золотом, подумал я.

Бабушка сидела у изголовья - она была крупная, рослая, а тут показалась мне не похожей на себя — маленькой, сгорбленной старушкой, будто что-то у нее внутри сжалось, ссохлось. Я подошел к ней, протянул справку. Она взяла ее каким-то мягким, безвольным движением и опустила руку на колено, не посмотрев на меня.

— Ты иди, - сказала она тихо, — Нюра тебя покормит... Иди..

Тогда я заплакал.

То есть я только потом понял, что плачу, а тогда я просто подумал - и вспомнил — о чем?.. О том, На Костылях, который ежедневно избивал меня под гогот других мальчишек и которого я никогда не смогу ударить, и так будет долго, всегда; о своем отце, как приезжал он к нам в последний раз, молодой, похудевший, и давал мне подержать, погладить свой наган, — он сам, показалось мне тогда, держал его не очень уверенно; я подумал о бухарских евреях, которые пришли и ушли, потому что мы — "не наши", и снова - о чемоданах с золотом, и о том, как я ерзал и ворочался, пытаясь вспугнуть деда, крадущегося к сахару; я подумал о том, как он когда-то приносил мне "гостинчик" — петуха, на палочке или свисток, и сажал на свои острые колени, и от него так уютно и крепко пахло табаком. Я подумал о том, какой я жестокий, злой, нехороший человек, и как я пришел сюда утром и не плакал, и почти радовался, что дед мой умер. Я просто думал обо всем этом, а потом заметил, что стою у бабушки между колен, вжимаясь лицом в ее плечо, и пытаюсь зажать себе рот, и не могу, не могу, и она гладит меня по голове, и вокруг - люди, какие-то совсем чужие, ненужные люди, и дед на столе, и все, как я слышал и читал где-то, и бабушка гладит меня по голове, как маленького, хотя мне уже десять лет, и говорит тихо;

— А ты поплачь, поплачь...

1968 г.

13

— Между прочим. — сказал я, вручая рассказ Толмачеву, — здесь все, как было, ни слова выдумки...

На другой день он вернул мне мои странички:

— Хороший рассказ. Что ж ты его не напечатал?

Я не стал повторять всего, о чем говорил прошлый раз. Я спросил:

— А теперь ты его напечатаешь?

— Ну, — сказал он, хлопая себя по карманам в поисках не то сигарет, не то зажигалки, — вот если бы ты написал еще два-три рассказа... Вместе с ними... — Не найдя того, что искал, он принялся вытягивать и внимательно, сосредоточенно осматривать каждый ящик стола, за которым сидел.

— То-то же, — счел я нужным поставить над "и" жирную точку. — Я ведь и не предлагаю. Вдруг кому-нибудь придет в голову обидеться?..

Толмачев с готовностью кивал, поглаживая меня благодарными взглядами. А мне припомнился давний случай.

— Как-то, еще в конце шестидесятых или начале семидесятых, когда журнал редактировал наш "старик", а все сотрудники помещались в одной большой комнате, пришел к нам автор... Ты его знаешь, он и теперь изредка заглядывает, но не в имени суть... Так вот, я сидел у себя за столом, в углу, а он рассказывал анекдоты, вокруг него толпились, слушали, смеялись. И был среди его анекдотов один — протухший уже, вонючий анекдот про трусливого еврея, который просит дать ему кривое ружье, чтобы стрелять из-за угла... Думаю, он меньше всего хотел задеть меня, он вообще не замечал меня в те минуты... Но вот прошло столько лет, а я все несу в себе эту тяжесть, этот грех, то есть — стыд за то, что не подошел к нему и не влепил пощечину! Не за себя... У меня до сих пор такое чувство, будто кто-то прилюдно нагадил на могиле моего отца, а я это видел — и не помешал... Понимаешь?

— Да, - сказал Толмачев, — я тебя понимаю.

14

А через неделю состоялась новая планерка...

Она застала меня врасплох.

За эту неделю я окончательно успокоился. Мы часто перезванивались - с Володей Берденниковым, Руфью Тамариной, Морисом Симашко, Галиной Васильевной Черноголовиной, с Надей Черновой. Мы были связаны между собой — и работой, и дружбой на протяжении многих лет. Новые публикации в газетах, в толстых журналах, в "Огоньке" вызывали однотипную реакцию. Все мы дышали перестройкой, все досадовали на ее медлительность, на то, что многое в жизни остается по-старому, однако все перекрывали надежды и радость — поскольку хоть и поздновато для иных из нас, но все-таки сбывается, казалось, главное, о чем столько лет мечтали... Оценки происходящего были сходными. Отношение к очерку Марины Цветаевой — тоже.

Прошел год со времени декабрьских событий в Алма-Ате. И то, что наблюдалось теперь в Прибалтике, еще кое-где, лишь подтверждало: основное сейчас — перестройка в социальном плане, остальные проблемы — экологические, молодежные и т.д. будут решены лишь в том случае, если на этом главном направлении добиться победы. Т.е. сломить и заменить административный аппарат, демократизировать общество, изменить ситуацию в экономике. Раздувание, выпячивание второстепенных вопросов ослабит, распылит силы перестройки, сыграет на руку ее противникам. Что же до национальных проблем, то они могут для Горбачева стать тем же, чем для Хрущева оказалась Венгрия, для Брежнева — Чехословакия. Кому-то выгодно сейчас накалять атмосферу, будоражить национальные амбиции. Ничего, кроме внутреннего протеста, не вызывала у меня демонстрация в Москве евреев-отказников: добивайтесь разрешения на выезд, это ваше право, но демонстрировать под лозунгом "Отпусти мой народ!"?.. Это потом я узнал, что слова, с которыми кучка бледных, бородатых, отчаявшихся людей двигались по Арбату, были взяты из Библии, а тогда, увидев их на телевизионном экране, я воспринял вычурно звучавшую фразу как нелепость, да еще и с какой-то злобной начинкой. Что значит — "мой народ"? Он ведь и для меня тоже — "мой"! И почему только "мой народ" следует отпустить? Мой — отпусти, а остальные можно не отпускать, так, что ли?.. Но, помимо всего, почему кто-то решает за весь народ? За меня, в частности? Это моя земля, моя страна, я никуда не намерен уезжать, как и сотни тысяч других евреев! Не собирался раньше, тем более не собираюсь теперь, когда в разгаре перестройка!..

Я и потому еще испытывал неприязнь к своим соплеменникам, которые однажды зимним днем прошли по новому Арбату под прицелами телекамер, в сопровождении разъяренных дружинников, в конце концов их разогнавших, затолкавших в милицейские фургоны, что всегда считал: ни Марк Поповский, ни Александр Галич, ни Наум Коржавин не подались бы за рубеж, если бы годы застоя, не кинули каждого из них в диссиденты, не наложили запрет на публикацию произведений, не набросили на горло удавку, не позволявшую не то что говорить или петь — дышать!.. И не уехал бы Виктор Некрасов, не уехал бы Лев Копелев — для них отъезд почти равнялся самоубийству. А уже сейчас никто бы из них не уехал — наверняка!..

Скоро, думалось мне, назовут их не диссидентами, а буревестниками перестройки... Скоро!.. А пока... Пока такие демонстрации не приведут ни к чему хорошему. Те, кому ничего

не известно ни о "борьбе с космополитами", ни о "деле врачей", ни о дискриминации евреев при поступлении на работу, в институты и т.д., могут поддаться на агитацию "патриотов" из "Памяти", решить - да, им не дорога Родина, они все продадут за жирный кусок, обещанный им в Америке... И каково придется тем, кому Америка не нужна?.. Вы не верите в перестройку, не хотите в ней участвовать - ваше дело. Но — не мешайте нам, не становитесь поперек!..

И вот в редакции объявили планерку.

15

— А теперь обсудим вопрос о публикации Марины Цветаевой, — сказал Толмачев.

Почти вся редакция собралась у него в кабинете, отсутствовали двое — Надя Чернова была в отпуску, Нэля Касенова — на бюллетене.

— Есть разные мнения, - продолжал Толмачев, — Послушаем каждого, я тоже выскажу свое мнение, потом послушаем Герта.

Все было для меня неожиданно: и объявленное внезапно обсуждение, и то, что после всех сотрудников выступит главный редактор, а уж потом дадут слово мне... Такое странное выделение моей персоны меня озадачило. С чего бы это?..

— Кто хочет первый? — пригласил Толмачев.

Все молчали.

— Тогда по порядку. Кто у нас крайний слева?.. Киктенко?..

— Я за публикацию, — с готовностью откликнулся молодой (хотя и не так чтобы очень уж молодой) поэт Слава Киктенко, сидевший в углу, полузагороженный книжным шкафом. — Кое-где... если надо... можно сделать в тексте купюры, а вообще — я "за".

Мы никогда не испытывали друг к другу особой симпатии. Но как бы там ни было — бесспорно, что он умница и талант, у него вышло несколько сборников стихов, последний — в Москве. Ему лет тридцать пять, он грузноват, жирок смягчает черты его лица, круглит фигуру. У него темные, слегка сонные глаза с маслянистым блеском, но они холодно и внимательно наблюдают за всем происходящим. Он эрудит, прочитал бездну книг — Фихте, Кант, Федоров... Соловьев, Бердяев, Лосев... И т.д. и т.п.

— У русской прессы издавна существовала одна традиция... — солидно поправив очки, добавляет он. (Ну-ка, — думаю я, — что же это за традиция?.. Вступаться за обиженных? Бросать перчатку правительству? Идти под арест за свои убеждения?..).

Там, — продолжает Киктенко, — где по цензурным соображениям делался пропуск, принято было ставить квадратные скобки...

Так-так... Вот в чем, оказывается, славные традиции русской прессы...

— Я тоже — "за", — присоединился к Славе Киктенко новичок в журнале Женя Гусляров, до того работавший в партийной газете.

Ну, что же... В конце концов, и того, и другого принимал в редакцию Толмачев...

— Я, правда, еще не прочитал, не успел, но если все за публикацию, так и я — как все? — громко, с напором проговорил Юра Рожицын. Всегда мне нравилась его грубоватая прямота, нравился он сам — крепкий, высокий сибиряк, шестидесяти примерно лет, фронтовик... Я немало способствовал его появлению в редакции, помогал — иной раз переламывая себя — пробиться на страницы журнала некоторым его довольно посредственным "военным повестям", зная, что лет десять назад написал он отличную вещь из времен коллективизации, и это — главное. Прежний редактор, перед которым я пытался ее отстоять, заклеймил меня "прямым троцкистом" (в те времена не имелось клейма более позорного...), но полгода назад усилиями всей редакции ее удалось напечатать — и Рожицын был, наконец, по достоинству оценен. Мы проработали в отделе прозы лет шесть-семь, отношения между нами всегда сохранялись товарищеские, чтобы не сказать больше... С недавних пор его выбрали в журнале парторгом.

— Я — "за", — коротко произнес Виктор Мироглов, среди собравшихся — мой самый близкий друг... Я не спрашивал — после того разговора — удалось ли ему прочесть Цветаеву и что он думает по ее поводу. Теперь я это знал.

— "За", - с победной ухмылкой простуженным тенорком бросил Карпенко, не так давно вернувшийся из Москвы, после литературных курсов, и два-три месяца работающий в редакции, в отделе критики.

Естественно... Да от него я ничего другого не ждал.

— Я за то, чтобы печатать Цветаеву всю, целиком и полностью! — четко, чуть не по слогам произнес Валерий Антонов, глядя на меня в упор. Его глаза, налитые сухим огнем, меня поразили — столько было в них злобного восторга, такая радость от возможности наконец-то излить, выплеснуть мне в лицо затаенную, скопленную, в душе ненависть... Я чуть не вскинул руку, загораживаясь от режущего, слепящего сияния.

Все, все я мог предположить, но чтобы Антонов... Тот самый Валерий Антонов, с которым столько лет, считал я, связывает

меня несокрушимая, взаимная, искренняя приязнь... Чтобы и он...

Ну, нет, — подумал я, — много вы на себя берете, ребятки...

И когда Ростислав Петров, наш ответственный секретарь, с которым, как и с Антоновым, соединяли меня долгие годы работы и совместно пережитого, — когда он, замыкая круг, в своей обычной, раздумчивой манере, не отрывая опущенных глаз от разложенных на столу бумаг, сказал, что тоже полагает — надо, надо печатать... Только, возможно, придется произвести некоторые сокращения... — кроткий, укоризненный взгляд в мою сторону... — тут я не стал дожидаться, пока он кончит журчать и начнет высказываться Толмачев.

— Нет уж, — сказал я, — уж вы простите меня, Геннадий Иванович, но к чему нарушать привычный порядок...

Он оказался как бы отстраненным на время мною от дирижирования послушным оркестром.

— Я против публикации в любом виде, — сказал я, отчетливо сознавая в тот момент, что не проблема публикации здесь обсуждается, а нечто другое, мало связанное с Мариной Цветаевой. — Мое мнение — вещь эта антисемитская. Публикация ее в массовом журнале сейчас, когда национальные вопросы так обострены и болезненны, противоречит духу перестройки. Апелляция к черносотенству не вяжется с позицией, которую до сих пор занимал журнал. Из этого следует, что если все — за публикацию, а я один — против, то дальше работать в редакции я не могу. Не могу и не хочу. Но учтите: эта публикация будет на руку "Памяти"...

— Ты оскорбляешь всю редакцию! — вскочил Рожицын. — Думай, что говоришь! — Голос его содрогался от ярости.

— Да и потом еще неизвестно, какая у "Памяти" программа! — поддержал его сидевший рядом Виктор Мироглов. Его басок звучал добродушно-насмешливо. — А что газеты пишут... Знаем сами, как они делаются!..

Я не произнес больше ни слова. Все, что связывало меня с этими людьми, было рассечено, лопнуло, как не выдержавший напряжения канат. И уже не имело значения, что говорил, пробормотывал скороговоркой Толмачев, заключая планерку — в том роде, что нужно сделать купюры, а когда их сделают, мне покажут материал... Это уже ничего не значило. Поскольку теперь был "я" и были "они"...

Планерка закончилась. Я вернулся в свой отдел — узкую комнатку, тесно заставленную четырьмя столами. В распахнутую дверь Мироглов крикнул мне:

— Идем кофе пить! — Вся честная компания шумно направилась в бар.

Кто-то поддержал его, позвал меня...

— Спасибо, — сказал я. — Что-то не хочется.

В отделе толклись авторы, Рожицын с кем-то разговаривал по телефону...

Я взял со стола первый попавшийся лист бумаги, написал заявление. Написал, почему я ухожу из редакции, почему прошу освободить меня от членства в редколлегии. Написал об интернационалистических традициях, за долгие годы сложившихся в журнале, упомянул о "Памяти"... Видно, Рожицын понимал, о чем я пишу, и, когда я поднялся, рванулся было меня остановить:

— Юра, не делай этого!

Я вошел в кабинет к Толмачеву, положил заявление на стол.

Вид у него был растерянный.

— Так я и знал... — пробормотал он. — Знал, что ты это сделаешь.

— Кажется, по КЗОТу после подачи заявления полагается отработать двухмесячный срок? — сказал я.

17

В тот день по дороге домой — был декабрь, небо как серый войлок, мокреть под ногами — мне вспомнилось майское утро 1965 года, белая, вся в цвету, яблоня под нашими окнами, подрулившая к подъезду машина, из которой вышли — оба в белых, с короткими рукавами, рубашках — Морис Симашко и Николай Ровенский, молодые, энергичные, слегка загадочные... Они поднялись к нам, на верхний этаж еще не обжитого, пахнущего краской, недавно заселенного дома.

— Поехали, одевайся... Зачем?.. Потом узнаешь.

Всю дорогу до редакции оба смеялись, болтали о том и о сем, подшучивали над моим недоумением... В кабинете редактора журнала, куда меня почти насильно втолкнули, навстречу мне поднялся из-за стола Иван Петрович Шухов, маленький, губастый, подслеповатый. Обнял, усадил, посопел, поправил очки с толстыми стеклами на широком, картошкой, косу.

— Вот какое дело, Юра, — сказал он, — мы тут подумали-подумали и решили предложить вам поработать у нас в редакции... Как вы на это смотрите?

"Поработать..." Что это значит?.. Я не верил своим ушам — неужели меня и вправду в журнал приглашают? Это имел в виду Иван Петрович — или я не так его понял?..

Но так оно и было — меня приглашали в журнал. Полгода

назад я приехал в Алма-Ату из Караганды, где работал в молодежной газете, потом литконсультантом в отделении Союза писателей. У меня вышли две книги — одна в Петрозаводске, там я служил в армии, другая — роман "Кто, если не ты?.." — в Алма-Ате. О нем много писали в газетах, от читателей шли в издательство пачками письма... Но все равно — работать в журнале, который возглавлял Иван Петрович Шухов, где работали Ровенский, Симашко, Щеголихин... Где печатали Платонова, Паустовского, Мандельштама... Это было вряд ли осуществимым счастьем!

Я попросил месячную отсрочку — закончить роман "Лабиринт"... И спустя месяц приступил к работе - в отделе прозы. Просыпаясь по утрам и вспомнив о редакции, я встречал каждый новый день как праздник, незаслуженный подарок судьбы. Когда через год или два мы приняли на работу молодого журналиста из комсомольской газеты и в его жаргонистой речи замелькало словечко "контора" в применении к нашей редакции, оно звучало для меня святотатственно: журнал был содружеством, братством, соединявшим всех нас духовно, а никак не "конторой", "службой". Случалось всякое — и обиды, и ссоры, но они забывались, таяли, как дымок, уносимый ветром. Дело, которое для нас было священным — Двадцатый съезд и обновление литературы, всей нашей жизни — перекрывало все остальное.

Домбровский, Казаков, Марк Поповский и его "1000 дней академика Вавилова"... Таким до того, как отстранен был — то ли Сусловым, то ли Кунаевым — Иван Петрович от редакторства, сложился и навсегда остался в сердце моем журнал. Да и — в моем ли только? С ним связаны были особой, трепетной связью Галина Васильевна Черноголовина — отважная наша "Черноголовка", как ласково называл ее Домбровский, и уже упомянутые мной Симашко и критик Ровенский, и покойный ныне Алексей Белянинов, и Павел Косенко, и Владилен Берденников, и Иван Щеголихин, и Ростислав Петров, и Валерий Антонов... "Лучшие годы нашей жизни" — вот чем для каждого был журнал, по крайней мере — для большинства из нас... Потом наступили годы безвременья, застоя — долгие и пустые, о которых почти нечего вспоминать... Но коллектив редакции в чем-то главном, казалось, сохранил, сберег себя... И вдруг...

18

И вдруг... — подумалось мне. — И вдруг... И вдруг...

А вдруг я все осложняю? Вдруг раздуваю из мухи слона?

Воображение, взвинченные нервы — и легкие, для других, да и для тебя самого в прошлом незаметные внешние импульсы вдруг оказываются способны изменить настроение, перевернуть мир вверх тормашками, рассорить с людьми, которые не думали ни о чем плохом... А потом уже не остается ничего другого, как упорствовать в своей ошибке, своем никчемном озлоблении, яриться на всех вокруг, а на деле — на самого себя... Где, в чем гарантия того, что прав я, а они, вся редакция — неправы?..

Я ехал домой на автобусе, положив на колени дипломат, и смотрел на серое небо, серые дома, серую дорогу... И нечаянно, словно по какой-то инерции, под напором, идущим извне, представился мне какой-то такой же серый, незнакомый мне город, автобус, только слякоти поменьше на ухоженных тротуарах... Но тоже едет, положив — ну, не дипломат, а портфель к себе на колени — какой-то человек, и пасмурно, гадко у него на душе, поскольку поссорился он у себя в редакции, где старый и добрый его друг Фриц Мюллер или там Густав Кригер сказали ему, что как еврею ему не дано постичь подлинное величие Гете... Или, к примеру, что если бы не евреи, шпионившие в пользу Антанты, Германия наверняка бы выиграла первую мировую войну... Что же, — сказал бы себе тот человек, с портфелем на коленях, — может быть, я напрасно кипятился?.. Да, мой отец не был шпионом, он был солдатом и погиб в сражении на Марне за свое немецкое отечество, но — кто знает? — может, были в самом деле евреи-шпионы?.. Фриц и Густав — мои добрые друзья, мы вместе учились в гимназии, какое у меня право пятнать их честные имена гнусными подозрениями? Обобщать?.. Связывать их с лозунгами, которые как-то раз я видел из окна этого же автобуса — их несли какие-то молодые люди, одетые в черные рубашки, прикидываясь бывалыми солдатами, и печатали шаг — очень четко и очень громко, и что-то такое пели — "Хорст..." или — "Ферст...". И, кажется, "Вессель..." — что-то в этом роде... Стоит ли придавать значение тому, что сказали — и, по-моему, сами почувствовали себя неловко — мои друзья Фриц

Мюллер и Густав Кригер... И стоит ли обращать внимание на этих молодчиков — кстати, не в черных, а коричневых, я спутал — рубашках... Ведь у нас на дворе не время крестовых походов с их погромами и резней, а — слава богу, 192-такой-то год, и мы живем в демократической Германии, Версальский договор гарантирует нам спокойствие и порядок... Нам — то есть и нам, евреям...

Так, вполне возможно, думал я, — рассуждал тот человек — и откуда ему было знать, что случится вскоре с его милой Германией, с его добрыми друзьями Фрицем и Густавом, с ним

самим?..

19

"К РУССКИМ СТУДЕНТАМ"

Россия, Отчизна наша, переживает судьбоносную пору. После долгих лет лжи, насилия и лицемерия она постепенно становится более открытым и честным государством. Благодаря этому мы наконец-то узнали о бедственном положении страны: наша экономика топчется на месте, спрут бюрократии душит все живое, русская нация вымирает, наука отстала, образование неэффективно, коррупция стала вездесущей. С ужасом мы узнали и о другом — о чудовищном истреблении нашего народа, который после революции потерял от рук опричников власти 40 миллионов человек, в четыре раза больше, чем за все войны с петровских времен, не считая последней.

Особенно пострадал русский народ и родственные ему украинский и белорусский народы. Наш триединый народ, отдав все для победы в самой кровопролитной войне, сегодня сделан самым обездоленным, униженным и нищим. Попав в Прибалтику, Закавказье или Среднюю Азию, любой русский сразу чувствует, как не уважает и презирает его коренной тамошний житель. Русский видит также, сколь зажиточнее и лучше живут они, и в удивлении спрашивает: как и когда все это произошло? Почему Россия, некогда богатая и жизнеспособная страна, ныне плетется не только в хвосте народов мира, но и в хвосте народов СССР? Ответ известен — окраины долгими десятилетиями пользовались льготами и денежными дотациями, которых сознательно лишали Россию и которые давались в основном за ее счет!

Все ли, однако, помнят, что издавна Отечество наше именовалось Россией? Многие ли из нас чувствуют гордость при одном звуке этого имени? Все ли из вас ощущают себя потомками русских, создавших великую державу и ее мировую культуру? Ведь сейчас достаточно произнести "я — русский", чтобы в ответ услышать нагло-циничный вопрос: вы шовинист? Слово же "Россия" у некоторых вообще вызывает приступ яростной злобы и ругани. Вот он — зримый итог насильственного интернационализма, стремящегося все народы слить в серую и безликую массу. Более полувека нас заставляли и заставляют забыть, кто мы и кто наши великие предки!

...Опустошить, увести вас в сторону от решения национальных проблем хочет сегодня "малый народ", точнее, его весьма обширная националистическая элита, которая вот уже целое столетие силится подмять под себя славянские народы нашей Родины и прежде всего великий русский народ. Крайние

шовинисты по существу, ура-интернационалисты на словах — еврейские националисты составляли большинство в первом советском правительстве (в нем на 22 человека было лишь двое русских[3]) и в аппарате насилия (ВЧК, ОГПУ, НКВД), на страшном счету которого десятки миллионов человеческих жертв. Они были большинством среди крупных функционеров власти, которые, не дрогнув, приказывали взрывать наши храмы, расстреливать и гноить в лагерях как "классового врага" цвет нации. Ведь это был не их, а чужой и ненавидимый ими русский народ!

Сегодня националистическая еврейская элита оккупировала русскую культуру, науку и прессу. Люди еврейской национальности, которая насчитывает только 0,69% в общем составе населения (без учета лиц, которые маскируются русской фамилией и национальностью), заняли до 30% ведущих должностей.

Из этого народа — 45% всех докторов и кандидатов наук, но рабочих из него — лишь горстка. Высшее образование имеет 70% евреев, втрое больше, чем русские. В стране, причем достаточно давно, образовалась очень влиятельная, спаянная мафия, которой чуждо или ненавистно все русское, все близкое и дорогое нам.

Активно участвуя в изничтожении русского народа, сегодня еврейские шовинисты преданно служат системе и бюрократии. Членов партии среди евреев пропорционально вдвое больше, чем среди русских! Ныне они сумели стать главными "прорабами перестройки", которую вполне сознательно направляют в тупик, чтобы вызвать народное недовольство и ради своей выгоды разжечь новую братоубийственную смуту. Для этого они ретиво действуют и на другом фланге — среди левых неформальных объединений, "Демократического союза", "Народного фронта" ,и разных клубов. Ловко спекулируя на законных требованиях людей, еврейские националисты опять лезут в революционные вожди с целью растлить и расшатать общество. Но нам не нужна новая братоубийственная смута!

Нам нужна Россия — великая, свободная, нравственная держава!

...Сегодня "Память" бьет в набат — МЕДЛИТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ! Отечество и народ — в великой беде и опасности! Ему грозят великий кризис и крах! Пришло время действовать сообща, смело, по-суворовски, вместе с ВАМИ — русскими студентами и всеми, кто понимает и сочувствует нашим бедам. Не дадим врагам лишить Россию ее величия, самобытности и достойного места в мире! Родина у нас — одна и мы несем ответственность за ее судьбу.

Разъясняйте для спасения Родины цели "Памяти", обличайте,

устно и письменно, ложь и клевету на нее, давайте отпор хулителям, создавайте группы "Памяти" в своих вузах! Бойкотируйте преподавателей-сионистов, выдвигайте и поддерживайте русских преподавателей и ученых, стоящих на патриотических позициях! ЗНАЙТЕ — НИКТО кроме "Памяти" не выступает в наши дни за подлинное возрождение и спасение русского народа и братских славянских народов. Если вы любите Родину и верно понимаете ее трагедию — ваше место в рядах национально-патриотического фронта "Память"!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЯ! ДА СГИНУТ ЕЕ ВРАГИ!

Ленинградский совет НПФ "Память"

Эта листовка — одна из многих — распространялась между ленинградскими студентами, ее принес мне сосед, чей сын учится в Ленинграде. Слово "листовка" не случайно произведено от слова "лист": нужно иметь семя, нужно иметь плодородную почву, нужно позаботиться о том, чтобы почву эту взрыхлить, посадить в нее семя, засыпать сверху землей, поливать, ухаживать, растить, дожидаться терпеливо, упорно, пока деревце подрастет, раскинет ветки, покроется почками, потом густой листвой — только тогда ветер сорвет и разнесет по городу, по улицам и подворотням листья-листовки, подобные этой... Кто-то подготавливал почву, закладывал семена, растил-взращивал поначалу робкий, слабый стебелек... Кто? Зачем?..

20

Собственно, я давно собирался уйти из журнала. Нездоровье, постоянная редакционная нервотрепка, чтение и подготовка к печати рукописей, не оставляющие ни сил, ни времени для собственной работы... Собирался уйти при прежнем нашем редакторе, потом появился Толмачев, развернулась перестройка — возникли условия для живого, настоящего дела... Но последнее время я начал все острее чувствовать расхождение с Толмачевым, с теми, кого принимал он в редакцию. И все же никак не думал, что уходить придется в подобной ситуации. Жена, если я заговаривал об уходе, возражала: разве ты сможешь без редакции? Без общения с людьми? В одиночестве?.. Мне тяжело было признаться ей, что я подал заявление. И, чтобы не тянуть, я сделал это, едва переступив порог.

Даже в полутемной прихожей я, казалось, увидел, как она побледнела. Но тут же услышал:

— Ты поступил правильно. Другого выхода у тебя не было.

Под утро мы оба встали, подошли к постели маленького

нашего внучонка — Сашеньки, проверить — не раскрылся ли, не мокрый ли... Обоим не спалось в ту ночь.

— Я все лежу, думаю, — сказала жена, — как же так? Что произошло? Ведь тебя всегда так уважали...

Что я мог ей ответить?

21

О, черная гора.
Затмившая весь свет!
Пора — пора — пора —
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей
Отказываюсь быть...

В те дни мне часто вспоминались — да и сейчас вспоминаются — эти цветаевские строки...

22

Больнее всего в этой истории ударили меня слова Антонова. Даже не слова — нацеленный в упор взгляд, в котором, как осколок стекла, так и сверкала ненависть...

Вот где заключался мучительный, до сих пор саднящий мне душу вопрос: что же произошло?..

Ведь Валерий Антонов... Как бы это сказать... Ум, талант, красноречие — да, все это я всегда ценил в нем, однако — не только это... И, может быть, вовсе не это было в нем для меня главным. А редкостный дар — уловить малейшие оттенки настроения другого человека, выслушать его, дослушать до конца — и разделить гнев, смятение, тоску, переполнявшие всех нас многие годы. Разделить — и облегчить сердце — когда словом, когда обоюдным молчанием. Порой ведь важнее, значительней любых слов такое молчание, с переплетающимся в воздухе дымком двух сигарет. А иногда, помолчав, с какой-то виноватой улыбкой в глазах — разноцветных, один — голубой — посветлее, другой потемнее — он говорил, тронув ладонью лохматую рыже-русую шевелюру на лобастой голове: "Хочешь, тебе почитаю?.. Сам не пойму, что у меня на этот раз получилось..." Он читал стихи, я слушал. Мы не были друзьями в расхожем смысле слова

и не так-то много времени проводили вместе, но соприкосновение душ — что может быть выше в мужской дружбе?..

Мало того. Много лет назад, в ответ на антисемитский выпад в адрес журнала, исходивший от сановного литературного чиновника, мы с Валерием не смолчали, а вдвоем потребовали разбора этого дела на русской секции... Чем вызвали немалый переполох с последующим вызовом в идеологический отдел ЦК КП Казахстана и грозной накачкой — за "потакание вражеской пропаганде", твердящей о существовании антисемитизма в СССР... Помню, как потом, по дороге из ЦК в редакцию, мы завернули в скверик, чтобы прийти в себя, и, сидя на лавочке, то хохотали, то матерились, но было так горько, так тоскливо обоим — дальше некуда...

И в то же примерно время, в начале семидесятых, покончил с собой автор нашего журнала, филолог, преподаватель пединститута Ефим Иосифович Ландау. Ему было около пятидесяти, жил он одиноко, погруженный в докторскую диссертацию, посвященную творчеству Эренбурга, и - едва ли не единственный в Союзе написал и успел опубликовать рецензию на "Теркина на том свете" Александра Твардовского, — сатиру, напечатанную по высочайшему капризу, но вскоре же фактически запрещенную... Твардовский прислал ему растроганное письмо. А через недолгое время Ландау объявили не то еврейским националистом, не то прямым сионистом, к тому же поползли, зазмеились неясного происхождения слухи о золоте, якобы посланном Ландау в Израиль (опять — золото!.. Золотые слитки!..), и о каких-то чуть ли не агентурных связях его с иностранной разведкой. Трижды являлись к нему из органов, переворошили всю квартиру, всю огромную, уникальную библиотеку, на которую Ландау тратил две трети зарплаты, что-то искали, вчитывались в дневник, допрашивали, писали протокол за протоколом — в заключение, когда однажды рано утром снова позвонили или постучали к нему в дверь, он выскочил на балкон и прыгнул вниз с четвертого этажа...

Он бывал у нас дома и всякий раз приносил Марише, нашей дочке, только начавшей ходить в школу, по шоколадке... Два опера явились ко мне на работу в день его гибели, повезли в машине, с решеткой на крохотном оконце, к нему домой — я еще ни о чем не догадывался, не знал, куда и зачем меня везут, воображение рисовало мне разные варианты, в соответствии с временем, наступившим после суда над Синявским и Даниэлем, одного лишь не мог я предположить - того, о чем услышал, когда передо мной распахнули дверь квартиры Ландау и, увидев за нею

незнакомых людей, я вдруг почуял в воздухе отчетливый запах смерти...

Так вот, тогда, когда за демонстрации подобного рода в лучшем случае можно было лишиться работы, оказаться исключенным из плана в издательстве и т.п., Валерий Антонов, как и еще несколько человек, из тех, кто был куда ближе, чем он, знаком с Ландау, явился на похороны, и мы все вместе поехали на кладбище, вместе — впятером или вшестером — возвращались затемно домой, возле торговавшего водкой киоска чокались полными до краев граненными стаканами, пили, поминая Ефима Иосифовича — и пожимали друг другу руки, кого-то проклинали, кому-то грозились отомстить... Господи, да скажи кто-нибудь, придай кто-нибудь тогда *особенное* значение тому, что тот из нас — еврей, а этот — русский — да его бы попросту не поняли — как если бы он заговорил на каком-нибудь тарабарском языке! А поняв — испепелили презрением!..

Однажды мы отправились в командировку на Мангышлак. Меня тянули те места — каменистая пустыня, такыры на берегах обжигающе-холодного Каспия, нефтяные вышки, маслянистая, черная земля... Фантастический, молодой, многоэтажный город — заключительная глава многоглавой, многотомной истории, в которую я пытался вникнуть, замыслив роман о Зигмунте Сераковском, поляке, революционере, сосланном в эти края в середине прошлого века...

Среди очень разных, но удивительно светлых, прямых, открытых людей, на встречи с которыми нам везло, была журналистка с телевидения: после передачи, в которой мы участвовали, она привезла нас домой: собралась дружная, настроенная на вольный разговор компания — толковали о Солженицыне, "Новом мире", Кочетове, пели, читали стихи. Все было так чисто, раскованно и знакомо, как будто воскресла Караганда моей молодости. Я вспомнил и тоже прочел стихи, написанные то ли в шестнадцать, то ли в семнадцать лет: оставалось еще три-четыре года до "дела врачей", но полным ходом шла травля "космополитов", газеты пестрели фельетонами с подчеркнуто еврейскими фамилиями, именами...

Горько все это было, да еще и в сочетании с радостным чувством победы в Отечественной войне, не успевшем остыть за два-три года.

Еговой изгнанный из рая.
Утратив жизни смысл и цель,
Бредет беспутицей Израиль
С тоской на каменном лице...

Где гордость ты свою развеял?
Где ум, паривший высоко?
Ты позабыл о Маккавеях,
Ты не рождаешь больше Кохб!..
Бессилен сердцем и бесплоден ты,
В улыбке судорожной рот,
И ни народа нет, ни Родины,
Что ж есть?.. Еврейский анекдот.

Помню, я прочел эти стихи — и в меня ударили молнии! Как это так?.. Откуда я взял?.. Я пытался объяснить, в какую пору стихотворение было написано, — где там! Меня и слушать никто не хотел. Разве все мы - не братья, которых давит один и тот же пресс, душит одна и та же петля? Разве не одна и та же многострадальная, израненная земля у нас под ногами?.. Мне и стыдно, и сладко было от этих упреков. Антонов петушился, укорял меня яростней всех. А потом, возвратись в Алма-Ату, прочел мне стихотворение, которое сложилось там же, на Мангышлаке. Были в нем, помимо прочего, такие строки:

Юра, Юра!
Шевелюра,
Юра, Юра — голова,
Что глядишь, дружище, хмуро?
Все на свете —
Трын-трава.
Как мне дорог этот профиль.
Этот на сторону нос
И над чистым глазом
брови
Грустно вскинутый вопрос.
Как добрею я от фаса.
Где ни грана суеты.
Где одна святая фраза
Только:
"Кто, если не ты?.."
Юра, Юра!
Где бандура.
Ссылка, каторга, тюрьма?
Как бы жить, не зная чура,
И, сходя, сводить с ума,
Как вот этот Каспий синий,
Что от зубьев белых скал
До Кавказа,

До России
Плес покатый расплескал —
И волнуется, зверея,
И бросается, скорбя.
На челдона и еврея,
На меня и на тебя.

Стихи эти были впоследствии напечатаны в сборнике Антонова, в посвящении значилось мое имя. Цензура, правда, покалечила кое-какие строки, но не в том суть... Стихи Валерия, и эти, и многие другие, он сам — небольшого, как и я, роста, плечистый, надежно-устойчивый, несмотря на давнюю, с детства, хромоту, — год за годом помогали двигаться в серых сумерках, надеяться, не изменять себе, и не так-то много было таких родившихся у меня на глазах стихов, таких людей...

Так было... Что случилось потом?..

Так было... Однако ведь свою книгу, вышедшую недавно, я отчего-то не подарил Валерию. Собирался подарить, как случалось раньше, да так и не подарил. Отчего?.. И последняя моя повесть "Приговор" вызвала у него явное раздражение. Прямого разговора о ней не было, мы оба его избегали... А полгода назад Валерий написал поэму "Анти" и попросил меня прочесть, предупредив:

— Если тебе не понравится — скажи, и я не стану предлагать ее в журнал.

Я прочел. Меня увлек замысел — осмыслить ошеломившую нас всех бурю декабря 1986 года, осмыслить необходимость мира и взаимопонимания, ради которых предлагалось каждому народу постичь свою вину, точнее — вины перед другими народами... Я сказал Валерию, что поэма — рывок в необходимую и до сих пор запретную тему, я — за публикацию, хотя иные места мне и непонятны, и неприятны. К примеру, где говорится чуть ни не о русофобстве, которое присуще евреям... Или — отсекается возможность их равноправного участия в литературном процессе, поскольку русский язык — не язык их предков... Или такие строки:

Разумному, честному учат.
Высокому, вечному — нет...

Не слишком ли категорично? Библия — это что: "разумное, честное" или "высокое, вечное"? Или то и другое сразу?.. И тогда — как быть с пятым пунктом у ее авторов?.. Да и можно ли так — по составу крови — квалифицировать и классифицировать творчество Твардовского и Слуцкого, Светлова и Вознесенского,

Багрицкого и Куняева? Как-то сомнительно выглядит расовый принцип в искусстве...

Кое-что в поэме заставило меня вспомнить переписку Астафьева с Эйдельманом. Но вместо того, чтобы спорить, я принес Антонову несколько книг. Среди них — пламенно-актисемитскую книгу А.В.Романенко "О классовой сущности сионизма" и — контраста ради — стихи и поэмы Бялика, в том числе "Поэму о погроме". Валерий прочел и вернул, не сказав ни слова. Что-то мешало нам продолжить разговор о его поэме...

И вот — теперь...

Выходит — было в нем и раньше нечто такое, чего я не замечал — или предпочитал не замечать?.. Было — или появилось только в последнее время?..

23

А что же Виктор Мироглов? — думал я.

Мы были дружны лет десять. Но еще до того, в 1975 году, когда на меня в очередной раз обрушился с погромной статьей всемогущий в Казахстане критик Владислав Владимиров, умело совмещающий занятия литературой с должностью помощника первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Кунаева, отозвав меня в конец редакционного коридора, Виктор сказал:

— Если захочешь что-то предпринять против Владимирова, можешь во всем на меня рассчитывать.

Я не знал тогда, почему он это сказал, но в негромком голосе Виктора, в сдержанной, бытовой интонации ощущалась такая решительность, что невозможно было усомниться в его искренности. Мне навсегда запомнилась та минута: заступиться за меня, выступить против любимца Первого значило — рискнуть всем...

Отчаянная эта акция совершилась позже — в 1983 году, когда Галина Васильевна Черноголовина, Мироглов и я добились приема у Кунаева. Обратить его самодержавное внимание на жалкое положение русских писателей в республике, попытаться прекратить не встречающий никаких преград террор Владимирова в литературе — такова была цель. И мы удостоились. И в огромном, скромно-торжественном, украшенном невероятных размеров глобусом (ох уж эти глобусы!..) кабинете высказали все, что полагали нужным. А на другой же день против каждого из нас начали применяться репрессивные меры. Мироглову досталось в особенности: ему пришлось уйти из издательства, где он в ту пору работал, затем из нашего журнала,

где главный редактор был ставленником все того же Владимирова, которого в виде компенсации за причиненный нами моральный ущерб теперь титуловали не просто "помощником", а "ответственным работником ЦК"...

Однако уже близились иные времена. Виктор ездил в Москву, к Горбачеву — он тогда ведал в ЦК КПСС идеологией, о нем шли добрые слухи... Встречи с Горбачевым он, разумеется, не добился, но в приемной на площади Ногина оставил на его имя письмо. Через некоторое время в Алма-Ату прибыла комиссия — два пожилых, деловых, видавших виды партработника. Они расположились в пустующем цековском кабинете, переговорили с немалым числом деятелей "идеологического фронта", как правило, посаженных в кресла и до полусмерти запуганных все тем же Владимировым, и в результате обнаруженных фактов Первый лишился своего помощника, Мироглов смог вернуться в журнал, а в Союзе писателей вдруг потянуло сквознячком... Что-то вроде бы кончалось, что-то вроде бы начиналось... Тогда это еще не называли Перестройкой.

Вот чем был для меня Мироглов.

И вдруг...

Ну, да, водились за ним вещи, о которых не хотелось мне думать раньше, не хотелось вспоминать сейчас... Как-то раз в нашем писательском баре, подвыпив, он кричал одному молодому литератору: "Убирайся в свой Израиль!.." Литератор этот, родом из Одессы, был нагловат, но вполне безобиден; что послужило причиной скандала, я не знал, да и знать не хотел, посчитал все случившееся мелочью. И, когда возмущались Виктором, защищал его: у кого из нас не бывает срывов?.. Да и сам он, похоже, чувствовал себя виноватым.

И еще: в одной его повести меня остановила двусмысленная фраза... Неловко спрашивать было, но в конце концов я спросил напрямик: "Как ты относишься к евреям?" Язык у меня жгло от этих слов. "Я — как все, — ухмыльнулся Виктор. — Хороших евреев — люблю, плохих - нет. Против Райкина, к примеру, ничего не имею!" Что ж, ответ вполне достоин вопроса... Я постарался его забыть, выкинуть из головы.

Потом доносило до меня кое-какие слушки: "А Виктор-то — черный..." Я не допытывался до подробностей, а говорившие так стеснялись уточнять: все знали, что мы дружим.

Все это мне и теперь казалось пустяком. Виктор нравился мне прямотой, непоказным мужеством, способностью к поступку - редкостной там, где холуйство, трусость и благоразумие оплетают, как повилика, людей с головы до ног, не дают вольно ступить, свободно вздохнуть... Это примиряло меня с остальным.

А остальное... Разрозненные факты сбегались, притягивались один к другому, складывались.... Кучка росла...

Полгода назад к нам в город приехал Юрий Афанасьев, ректор Московского историко-архивного института. Он выступил в конференц-зале Союза писателей, сильный, звучный голос его прокатывался над затихшими рядами подобно трубному гласу, от которого, дрогнув, пали стены Иерихона. Дерзкими были его мысли, необычны слова, уверенность, с которой он держался, звала каждого — разогнуться, подняться с четверенек, двинуться вперед. Он хотел встретиться с алма-атинской интеллигенцией — ему не дали: не оказалось свободного зала... Я полагал, Афанасьева все мы восприняли однозначно, и не поверил своим ушам, когда Мироглов и Антонов назвали его "политическим спекулянтом". Почему?.. Этого я не мог понять, но — странная история — расспрашивать как-то не хотелось. Афанасьев ярко, точными, беспощадными словами характеризовал российское черносотенство, тянул от него нить к "Памяти". Может быть, в неприятии Афанасьева почуялся мне тогда какой-то эдакий привкус?..

24

После планерки я ждал — Антонов или Мироглов, самые близкие для меня в редакции люди — сразу же позвонят мне — и недоразумение (да, да, всего лишь недоразумение!) — будет исчерпано...

Однако никто не позвонил.

25

Нет-нет да и вспоминалась мне фраза Киктенко — насчет квадратных скобок и традиций русской литературы... Чуть что — сейчас же у нас начинают толковать о традициях, продолжении традиций. Только каких?.. Не важно. Важно чувствовать себя "наследниками великих традиций", "продолжателями", "развивателями".. Душа при этом воспаряет, гордость распирает, хотя порой всего-то-навсего речь идет о таких вот квадратных скобках... Да ведь были еще и другие традиции, почему о них-то не вспомнить?

26

"В виду систематических и постоянно возрастающих нападений и оскорблений, которым подвергается еврейство в русской печати, мы, нижеподписавшиеся, считаем нужным заявить:

1) Признавая, что требования правды и человеколюбия одинаково применимы ко всем людям, мы не можем допустить, чтобы принадлежность к еврейской народности и Моисееву закону составляла сама по себе что-нибудь предосудительное (чем, конечно, не предрешается вопрос о желательности привлечения евреев к христианству чисто духовными средствами) и чтобы относительно евреев не имел силы тот общий принцип справедливости, по которому евреи, неся равные с прочим населением обязанности, должны иметь таковые же права.

2) Если бы даже и было верно, что тысячелетние жестокие преследования еврейства и те ненормальные условия, в которые оно было поставлено, породили известные нежелательные явления в еврейской жизни, то это не может служить основанием для продолжения таких преследований и для увековечивания такого ненормального положения, а напротив, должно побуждать нас к большей снисходительности относительно евреев и к заботам об исцелении тех язв, которые нанесены еврейству нашими предками.

3) Усиленное возбуждение национальной и религиозной вражды, столь противной духу истинного христианства, подавляя чувства справедливости и человеколюбия, в корне развращает общество и может привести его к нравственному одичанию, особенно при ныне уже заметном упадке гуманных чувств и при слабости юридического начала в нашей жизни.

На основании всего этого мы самым решительным образом осуждаем антисемитическое движение в печати, перешедшее к нам из Германии, как безнравственное по существу и крайне опасное для будущности России"[1].

[1] *В.Г.Короленко. Полн.собр.соч., т.9, стр.258, изд-во т-ва Маркс, Петроград, прилож. к журналу "Нива", 1914 г.*

Это обращение было написано философом Владимиром Соловьевым в 1890 году, его подписали Л.Н.Толстой, В.Г. Короленко, профессор Герье, профессор Тимирязев, профессор Ф. Фортунатов, П.Н.Милюков, профессор Столетов, профессор Всеволод Миллер, профессор граф Кемеровский, профессор А. Н.Веселовский, профессор Грот и другие деятели литературы и науки, в том числе, разумеется, и сам Владимир Соловьев.

Перед тем Владимир Соловьев обратился к Льву Толстому: "...ходят слухи, в достоверности которых мы имели возможность

убедиться, — о новых правилах для евреев в России... В настоящее время всякий у нас, кто не соглашается с этой травлей и находит, что евреи такие же люди, как и все, признается изменником, сумасшедшим или купленным жидами. Вас это, конечно не испугает. Очень желательно было бы, чтобы вы подняли свой голос против этого безобразия". Толстой ответил: "Я всей душой рад участвовать в этом деле... Основа нашего отвращения от мер угнетения еврейской национальности одна и та же — сознание братской связи со всеми народами и тем более с евреями, среди которых родился Христос и которые так много страдали и страдают от языческого невежества так называемых христиан".

Такой была одна из традиций, присущих России...

К сожалению, впрочем, лишь одна из традиций. Письмо, составленное Соловьевым, опубликовано не было. "Пока Соловьев хлопотал и собирал подписи, толки об его затее широко распространялись в литературной среде, — писал впоследствии Короленко. — Тревогу подхватила по всей линии антисемитская и ретроградная пресса. К сожалению, я не могу в настоящее время привести здесь лучшие перлы этой односторонней полемики. Самая, впрочем, выдающаяся черта ее состояла в том, что эти господа обрушились не на высказанное мнение, а на самое намерение его высказать... Шумная трескотня возымела обычное действие".

Еще одна традиция российской жизни, находящая продолжение в куда более близкие нам времена.

Что же правительство? Какую позицию занимает оно в противоборстве общественных начал?.. А вот какую.

"В последнее время дошло до моего сведения, что Соловьев сочинил протест против какого-то мнимого угнетения евреев в России... Не сомневаясь, что *подобная демонстрация может причинить только вред и послужить на пользу нашим недоброжелателям в Европе,* старающимся искусственно возбуждать еврейский вопрос, я распорядился, чтобы означенный документ не появлялся на страницах наших периодических изданий". Так писал министр внутренних дел Дурново в докладе Александру III. Тоже в каком-то смысле традиция... Вплоть до изложения мотивов и даже словаря...

Кстати, "Письмо" Соловьева (Короленко называет его "Декларацией") было-таки напечатано. И в том же 1890 году. Правда — в Лондоне, на английском языке...

Таковы традиции, оформившиеся ровно сто лет назад.

"Хочется думать сейчас о России, об одной России, и больше ни о чем, ни о ком. Вопрос о бытии всех племен и языков, сущих в России (по слову Пушкина: "всяк сущий в ней язык"), — есть вопрос о бытии самой России. Хочется спросить все эти племена и языки: как вы желаете быть, с Россией или помимо нея? Если помимо, то забудьте в эту страшную минуту о себе, только о России думайте, потому что не будет ее - не будет и вас всех: ее спасенье — ваше, ее погибель — ваша. Хочется сказать, что нет вопроса еврейского, польского, армянского и проч., и проч., а есть только русский вопрос.

Хочется это сказать,- но нельзя. Трагедия русского общества в том и заключается, что оно сейчас не имеет права это сказать... Весь идеализм русского общества в вопросах национальных бессилен, безвластен и потому безответствен.

В еврейском вопросе это особенно ясно.

Чего от нас хотят евреи? Возмущения нравственного, признания того, что антисемитизм гнусен? Но это признание давно уже сделано. Это возмущение так сильно и просто, что о нем почти нельзя говорить спокойно и разумно; можно только кричать вместе с евреями. Мы и кричим.

Но одного крика мало. И вот это сознание, что крика мало, а больше у нас нет ничего — изнуряет, обессиливает. Тяжело, больно, стыдно...

Но и сквозь боль и стыд мы кричим, твердим, клянемся, уверяем людей, не знающих таблицы умножения, что 2x2 = 4, что евреи — такие же люди, как и мы — не враги отечества, не изменники, а честные русские граждане, любящие Россию не менее нашего: что антисемитизм — позорное клеймо на лице России...

— Что вы все с евреями возитесь? — говорят нам националисты.

Но как же нам не возиться с евреями и не только с ними, но и с поляками, украинцами, армянами, грузинами и проч. и проч.? Когда на наших глазах кого-нибудь обижают, — "по человечеству" нельзя пройти мимо, надо помочь или, по крайней мере, надо кричать вместе с тем, кого обижают. Это мы и делаем, и горе нам, если перестанем это делать, перестанем быть людьми, чтобы сделаться русскими.

Целый дремучий лес национальных вопросов встал вокруг нас и заслонил русское небо. Голоса всех сущих в России языков заглушил русский язык. И неизбежно, и праведно. Нам плохо, а им еще хуже: у нас болит, а у них еще сильнее. И мы должны забывать себя для них.

И вот почему мы говорим националистам:

— Перестаньте угнетать чужие национальности, чтобы мы имели право быть русскими, чтобы мы могли показать свое национальное лицо с достоинством, как лицо человеческое, а не звериное...

Почему сейчас, во время войны, так заболел еврейский вопрос? Потому же, почему заболели и все вопросы национальные.

"Освободительной" назвали мы эту войну. Мы начали ее, чтобы освободить дальних. Почему же, освобождая дальних, мы угнетали близких? Вне России освобождаем, а внутри — угнетаем. Жалеем всех, а к евреям безжалостны. За что?

Вот они умирают за нас на полях сражений, любят нас, ненавидящих, а мы их ненавидим, любящих нас.

Если мы будем так поступать, нам перестанут верить все: нам скажут народы:

— Вы умеете любить только издали. Вы лжете...

Но пусть не забывают народы угнетенные, что свободу может им дать только свободный русский народ.

Пусть не забывают евреи, что вопрос еврейский есть русский вопрос".

Так писал Дмитрий Мережковский в статье "Еврейский вопрос, как русский вопрос" в 1915 году.

28

"Ненависть к евреям часто бывает исканием козла отпущения. Когда люди чувствуют себя несчастными и связывают свои личные несчастья с несчастьями историческими, то они ищут виновника, на которого можно было бы все несчастья свалить. - Это не делает чести человеческой природе, но человек чувствует успокоение и испытывает удовлетворение, когда виновник найден и его можно ненавидеть и ему мстить. Нет ничего легче, как убедить людей низкого уровня сознательности, что во всем виноваты евреи. Эмоциональная почва всегда готова для создания мифа о мировом еврейском заговоре, о тайных силах "жидомасонства" и пр. Я считаю ниже своего достоинства опровергать "протоколы сионских мудрецов". Для всякого не потерявшего, элементарного психологического чутья ясно при чтении этого низкопробного документа, что он представляет наглую фальсификацию ненавистников еврейства. К тому же можно считать доказанным, что документ этот сфабрикован в департаменте полиции. Он предназначен для уровня чайных "союза русского народа", этих отбросов русского народа. К стыду

нашему нужно сказать, что в эмиграции, которая почитает себя культурным слоем, "союз русского народа" подымает голову, мыслит и судит о всякого рода мировых вопросах. Когда мне приходится встречаться с людьми, которые ищут виновника всех несчастий и готовы видеть их в евреях, масонах и пр., то на вопрос, кто же виноват, я даю простой ответ: как кто виноват, ясно кто, ты и я, мы и есть главные виновники... Есть что-то унизительное в том, что в страхе и ненависти к евреям их считают очень сильными, себя же очень слабыми, неспособными выдержать свободной борьбы с евреями. Русские склонны были считать себя очень слабыми и бессильными в борьбе, когда за нами стояло огромное государство с войском, жандармерией и полицией, евреев же считали очень сильными и непобедимыми в борьбе, когда они лишены были элементарных человеческих прав и преследовались. Еврейский погром не только греховен и бесчеловечен, но он есть показатель страшной слабости и неспособности. В основе антисемитизма лежит бездарность...

Обвинения против евреев в конце концов упираются в одно главное: евреи стремятся к мировому могуществу, к мировому царству. Это обвинение имело бы нравственный смысл в устах тех, которые сами не стремятся к могуществу и не хотят могущественного царства. Но "арийцы" и арийцы-христиане, исповедовавшие религию, которая призывала к царству не от мира сего, всегда стремились к могуществу и создавали мировые царства. Евреи не имели царства не только мирового, но и самого малого, христиане же имели могущественные царства и стремились к экспансии и владычеству.

Неверно и то, что Россией правят евреи. Главные правители не евреи, видные евреи-коммунисты расстреляны или сидят в тюрьмах. Троцкий есть главный предмет ненависти. Евреи играли немалую роль в революции, они составляли существенный элемент в революционной интеллигенции, это совершенно естественно и определялось их угнетенным положением. Что евреи боролись за свободу, я считаю не специфической особенностью евреев, а специфической и отвратительной особенностью революции на известной стадии ее развития. В терроре якобинцев евреи ведь не играли никакой роли. Евреи же наполняют собой и эмиграцию. Я вспоминаю, что в годы моего пребывания в Советской России в годы коммунистической революции еврей, хозяин дома, в котором я жил, при встрече со мной часто говорил: "Какая несправедливость, вы не будете отвечать за то, что Ленин русский, я же буду отвечать за то, что Троцкий еврей"... Печальнее всего, что реальности и факты не существуют для тех, мышление которых определяется...

аффектами и маниакальными идеями. Более всего тут нужно духовное излечение".

Так писал Николай Бердяев в статье "Христианство и антисемитизм" в 1938 году.

29

Традиции, традиции... С одной стороны — традиция Соловьева, Толстого, Короленко, Бердяева. С другой — графа Дурново, "Союза русского народа", Лидии Тимашук. Которая из них возобладает в наши дни?..

30

Под Новый год обычно трещал телефон, звонили друзья, знакомые, сотрудники по редакции. На сей раз из работников журнала позвонили только Мироглов и Петров. Наши взаимные поздравления, пожелания были какими-то неловкими, принужденными. Никто ни словом не коснулся происшедшего. Петров спросил, стану ли я дежурить по номеру, я ответил, что возьмусь за читку листов, уже принесенных из типографии, сразу же после Нового года. И взялся. В первые дни января наступившего 1988-го приходил в журнал только для того, чтобы отдать прочитанное и запастись новой порцией. По-прежнему думалось: дойдет... дошло... не могло не дойти... Ведь все читают газеты, следят за происходящим в стране... Да и может ли быть, что в редакции не почувствовали — хотя бы через мое отношение, как его ни расценивай, — до чего все это серьезно...

Тем не менее, в чем-то я понимал своих товарищей по редакции (я по-прежнему считал их своими товарищами): никому из них не пришлось пережить, скажем, ночи с 13 на 14 января 1953 года, то есть — пережить *такой* ночи...

Был холод, мороз — середина студеной вологодской зимы, снег скрипел под подошвами, казалось, на весь мертвым сном почивший город-городок. Мы с Феликсом Мароном, моим другом, студентом-однокурсником, ходили вдоль набережной — пустынной, безлюдной, слабо освещенной огнями редких фонарей. Смутно мерцала между пологих берегов закованная в лед, засыпанная снегом река. Кое-где, среди приземистых домиков, дремали похожие на нищенок заколоченные или превращенные в склады церквушки, угрюмо высилась громада собора, нависая над казарменного вида зданием нашего

пединститута и деревянным, примыкающим к нему домом — студенческим общежитием...

Мы говорили о сообщении, опубликованном в тот день в газетах: арестованы врачи-отравители, в большинстве — с еврейскими фамилиями, упоминалось об иностранной разведке, международной еврейской буржуазно-националистической организации "Джойнт", об известном буржуазном националисте Михоэлсе... Верить или не верить тому, что написано? Тому, что врачи, профессора, цвет нашей медицины — отравили Жданова, Щербакова, хотели убить маршалов и генералов, у них лечившихся?.. Верить или не верить?..

Тут содержалось, как матрешка в матрешке, по крайней мере три вопроса: виновны ли врачи? Если виновны, то ложится ли груз их вины на весь еврейский народ? И если ложится, то что делать, как жить дальше — нам с Феликсом? Ведь выходит, и мы виновны в смертях и отравлениях? Виновны, поскольку — "тоже евреи". А значит уже потому — не такие, как все остальные наши студенты. Какие же мы?..

Сумбур у нас в головах был полнейший. Но не в нем было дело. Мы чувствовали себя раздавленными, отторженными. Заживо вмороженными в лед одиночества. Испакощенными. Облепленными вонючей грязью. Завтра придем в институт — и нас будут обходить стороной, думать: "Эти — тоже... Как те..." Но мы-то здесь причем? Разве мы кого-то убили? Но кому это важно, убили или нет. Важно другое — мы *тоже*...

На другое утро, чуть не всю ночь прошагав по набережной — отчаянье жгло, клокотало в нас, не давая замерзнуть, — мы понуро волоклись в институт. Глаза мои были слепы от стыда, я не мог смотреть в лицо своим однокурсникам. Кем был я для них? Любые мои слова, независимо от их сути, могли выглядеть как маскировка... В любых словах, обращенных ко мне, чудился скрытый намек, упрек... И хотя не было случая, чтобы кто-то в самом деле в чем-нибудь меня осудил, упрекнул, хотя, напротив, я замечал и на всю жизнь запомнил скорее сочувственные, соболезнующие взгляды, - все равно: то отчаяние, бессилие отвергнуть *вину без вины* — оставило на душе шрам навсегда. Прикосновение к нему вызывает боль, которую трудно представить, не испытавши... Ее не испытывали мои товарищи по редакции. И не дай им бог ее испытать...

Спустя годы именно впечатления той морозной январской ночи легли в основание романа "Лабиринт". Он пролежал в моем столе 20 лет. Год назад я дал его прочесть Толмачеву. Он отверг публикацию романа в журнале, ничем не мотивировав отказ, хотя впоследствии, в порядке компенсации, что ли, согласился

поддержать выход "Лабиринта" в издательстве: здесь он уже не нес за него особой ответственности, выступал одним из рецензентов... Что ж, и его я мог понять: ему тоже не доводилось пережить *такой* ночи...

С давней поры работы над романом у меня сохранились выписки, вырезки из газет. Близилось 13 января — славный юбилей: со времени "дела врачей" минуло ровно тридцать пять лет. Я отыскал в "архиве", сложенном на антресолях, старую папку, смахнул пыль, развязал шнурки...

"...Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, состояли в наемных агентах у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы (Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и др.) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией "Джойнт", созданной американской разведкой якобы для оказания международной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву "об истреблении руководящих кадров СССР" из США от организации "Джойнт" через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы (Виноградов, М.Б.Коган, Егоров) оказались давнишними агентами английской разведки".

Это выписка из сообщения ТАСС, опубликованного в газетах 13 января 1953 года. "Известия" в передовой за то же число писали:

"Действия извергов направлялись иностранными разведками. Большинство продали тело и душу филиалу американской разведки — международной еврейской буржуазнонационалистической организации "Джойнт". Полностью разоблачено отвратительное лицо этой грязной шпионской сионистской организации. Установлено, что профессиональные шпионы и убийцы из "Джойнт" использовали з качестве своих агентов растленных еврейских буржуазных националистов, которые проводят под руководством американской разведки широкую шпионскую,— террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе..."

Я читал, перечитывал содержимое снятой с антресолей папки. Коричневый туман обволакивал меня, застилал глаза. Так

чувствуешь себя, когда самолет входит в полосу густых облаков, где ни верха, ни низа, нет ориентиров, не видно ничего, кроме белесой мути, и несмотря на вибрацию корпуса, на гудения мотора начинает казаться, что самолет завяз и висит в пространстве без движения, время замерло, застыло, перестало существовать...

31

В середине января Толмачев снова вручил мне "Вольный проезд" — с купюрами:

— Посмотри, мы тут кое-что подсократили.

— Зачем?.. Ты ведь знаешь мое мнение...

— Все равно посмотри.

Я принес рукопись домой, перечитал — и снова почувствовал недоумение: неужели Толмачев, Петров, Мироглов, Антонов на самом деле хотят это опубликовать?.. Не может быть! Или я сбрендил, перестал понимать азбучные истины...

32

Я решил показать "Вольный проезд" профессору Жовтису. Позвонил, договорились о встрече.

Все, что я знал об Александре Лазаревиче, характеризовало его как щепетильно честного, порой до излишних мелочей принципиального человека. Он с уважением относился к Толмачеву, в прошлом студенту, слушавшему его лекции по русскому фольклору в университете. Что же до меня, то мы с женой много лет были знакомы с Жовтисами — близко, домами. Но — "Платон мне друг, а истина..." Казалось, это изречение придумано как бы нарочно для Александра Лазаревича, и потому не на ком-то другом, а именно на нем я остановил свой выбор.

Но тут имелись еще кое-какие причины. Пока Александр Лазаревич читал привезенную мной рукопись, расположившись за столом, заваленном книгами и типографской версткой, я вспоминал, как выглядела эта же комната с аквариумом и мирно пасущимися между зеленых водорослей рыбками, с картинами, беспорядочно, по студийному, развешенными по стенам, с вырезанной из дерева головой смеющегося старика-казаха в углу — подарком Исаака Иткинда, дружившего с Жовтисом, — как выглядела эта комната после обыска в 1971 году... Что искали те, кому была поручена забота о безопасности народа и государства?

Пулеметы? Холодное оружие? Радиостанцию, заброшенную ЦРУ?.. Искали "Раковый корпус" Солженицына и пленки с песнями Галича. "Раковый корпус" обнаружить не удалось, его у Жовтиса не было, а Галич отыскался, Жовтис его и не прятал, поскольку Александр Аркадьевич, заезжая в Алма-Ату в конце шестидесятых, до и во время уже начавшихся гонений, хаживал к Жовтисам, как делал это и Юрий Осипович Домбровский, и московский переводчик Анатолий Сендык, и многие другие столь же подозрительные с точки зрения КГБ люди... Галич же не только хаживал, но и пел, а Жовтис записывал на магнитофон его хрипловатый голос, записывал неумело, по-любительски, и потом, как бы сохраняя живое тепло и радость, и острую грусть дружеских тех вечеров, голос Галича звучал иногда здесь для тесного дружеского круга... Искали "самиздатовского" Солженицына, искали пленки с Галичем, а в Павлодаре готовилось шоу в стиле блаженной памяти пятидесятых годов: находился под следствием, а затем предстал перед судом Шафер, преподаватель местного пединститута, за ужасающее злодеяние — обнаруженный при обыске румынский журнал со статьей об Израиле ("сионистская пропаганда!"), за ходившего по рукам Солженицына ("антисоветская агитация!")... Шафера я никогда не видел, но по рассказам рисовался он мне типичным идеалистом-шестидесятником, романтиком-книгочеем, из тех говорунов, которые до смерти любили за полночь ораторствовать на кухне, а при случае и в более широкой аудитории, порою же, оглядевшись по сторонам и не обнаружив на ту минуту поблизости явного сексота, бросить вольное-крамольное словцо... Все мы, "дети двадцатого съезда", в большей или меньшей степени были такими. Но не всех КГБ, возглавляемый в ту пору Андроповым, приглашал на первые роли. Шафер занял место в цепочке, начатой Даниэлем и Синявским. На следствии, будучи отнюдь не заговорщиком и конспиратором, а обыкновенным размазней-интеллигентом (опять-таки — как все мы!..), он что-то сболтнул в растерянности о том, откуда у него взялся отпечатанный под копирку Солженицын и у кого находится второй или третий экземпляр... Дальнейшие розыски привели "компетентные органы" к Ефиму Иосифовичу Ландау и уже описанному финалу, другие нити тянулись к столь же грозной "агентуре", в том числе — к Жовтису. Я помнил эту комнату после обыска: так же, как сейчас, плавали в аквариуме рыбки, блаженно улыбался иткиндовский аксакал, а в ящике, из которого шел дурной запах, резвились хомячки — тогдашнее увлечение Жовтиса, но все остальное было как бы сдвинуто с привычного места, среди книг, на стеллажах и в шкафах царил полнейший раскардаш, и мы с

женой, приехав по звонку Александра Лазаревича, удалясь подальше от телефона, туда, где всего безопасней — на кухню, обсуждали с Жовтисами ситуацию: как вести себя и что отвечать на допросах, как разговаривать с университетской администрацией, которая, разумеется, обязана выразить свое отношение к преподавателю, воспитателю студенчества и т.д. и т.п., оказавшемуся... Надо заметить, и Александр Лазаревич, маленький, сердитый, стремительный в движениях, похожий в своих круглых очках и с реденькими, дыбом стоящими волосами на взъерошенного птенца, и Галина Евгеньевна, его жена, статная, картинно-красивая, с классическими чертами холодноватого, спокойного лица, держались безукоризненно. Деловито. Было решено, что моя жена, которая вот-вот уезжала в командировку в Москву, встретится с Галичем, расскажет, как у нас преследуют за его песни, формально никем не объявленные противозаконными... Это во-первых. А во-вторых — обратится в приемную ЦК КПСС... Мы выглядели — в собственных глазах — многоопытными, знающими толк в правозащитных делах людьми. Но Галич, с которым неделю спустя встретилась моя жена (на улице, где-то поблизости от Площади Революции: "Дома у меня все прослушивается", — объяснил он), сообщил ей, что недавно одна из почитательниц его песен получила за них в Одессе три года, что происходящее в Алма-Ате — в порядке вещей, а ЦК КПСС... Навряд ли стоит туда обращаться...

Ландау покончил с собой. Шаферу дали срок — по-моему, он отбыл в заключении полтора года, Жовтиса выставили из университета, к преподавательской работе он вернулся только спустя восемь лет... И вот теперь, на третьем году перестройки, я сидел у него дома, дожидаясь, когда он прочтет рукопись и выскажет свое мнение.

Теперь уже не у него — у меня возникла "ситуация". Совершенно не похожая на ту, пятнадцатилетней давности... Но тоже по-своему сложная. И вопрос, проклятый и неизбежный вопрос "что делать?" — стоял теперь передо мной.

33

Именно этот вопрос привел меня к Жовтису. Что до "мнения", то в нем я не сомневался. Поскольку, будучи душеприказчиком А. Б. Никольской, это он предложил нашему журналу ее не опубликованную при жизни повесть "Передай дальше!", имевшую затем серьезный, на всю страну, успех — и не только по причине "лагерной темы"... И это он глубоко возмущен был

антисемитскими мыслями прежде высоко ценимого им Астафьева — в переписке с Эйдельманом. И это он обратился с письмом к Даниилу Гранину, доказывая, что никакими нравственными доводами нельзя оправдать пребывание Зубра — Тимофеева-Ресовского в фашистской Германии, его работу в научном, далеко не безразличном для Гитлера институте. И он же, наконец, за день или два до того, позвонил мне по поводу статьи в "Комсомольской правде", где мимоходом, среди прочих неформалов, помянуты были "наци":

— Что это такое? "Наци"! — гремел Жовтис, и телефонная трубка в моей руке вот-вот, казалось, не выдержит — и лопнет, рассыпется на мелкие осколки. — "Наци"! Фашисты! Где?.. У нас! И так бесстрастно, перечислительно сообщать об этом в молодежной газете?.. До чего мы дошли!

Короче, я полностью доверял Жовтису, отчего и решился нарушить редакционную этику и попросить его прочесть рукопись. Да и — не самый ли близкий он журналу человек?..

... И я дождался. Жовтис прочел.

— Что же вас не устраивает? - спросил он, помолчав, пожевав губами.

Я объяснил.

— Пожалуй, вы правы, — сказал Жовтис, но как-то вяловато. — И что вы предлагаете?

Я объяснил.

— Так чего хочет, по-вашему, Толмачев? Добиваться популярности любой ценой? Что же, теперь печатать все подряд, если у нас гласность и демократия? Но во имя чего? В чем позиция самого журнала?..

Мало-помалу он разогревался.

— Купюры?.. Но позвольте, "Современные записки" за 1924 год имеются в Ленинской библиотеке, где, кстати, я в свое время их и читал. Доступ к ним довольно свободный. И если кто-то сравнит их с намечаемой публикацией... Получится скандал: кто дает журналу право произвольным образом уродовать текст умершего автора? Это противоречит элементарным нормам! Так и передайте Толмачеву — противоречит!

Надеялся ли я, что Александр Лазаревич сам сообщит Толмачеву свое мнение? Где-то подспудно такая мысль у меня бродила. Когда ты оказываешься в единственном числе против всех, подтверждение твоей точки зрения даже одним человеком увеличивает твои силы вдвое. А главное — доказывает, что ты не окончательно спятил, твои мысли разделяет кто-то еще...

— И кстати: при всем, так сказать, своеобразии аргументации Марины Цветаевой ее нельзя упрекнуть в антисемитизме. Здесь

говорится, что евреи бывают разные: одни за революцию, это плохие, а другие хорошие - те, что стреляют в Ленина, то есть Фанни Каплан, и в Урицкого, то есть Каннегиссер... Но если, как можно понять по сделанным редакцией пометкам, "хорошие", то есть Фанни Каплан и Каннегиссер, вычеркиваются, то остаются только "плохие" — и вся внутренняя логика очерка ломается!.. Вы скажите, скажите об этом Толмачеву!..

Он повторил несколько раз, и с нарастающей настойчивостью: "Скажите Толмачеву!.."

— Может быть, вы сами об этом ему скажете? — предложил я.

— Ну, нет, — осекся Жовтис. И поморщился, пожевал губами: — Видите ли, это выглядело бы не вполне этично. Ведь он о моем мнении не спрашивает... — В самом деле, тут ему трудно было бы возразить. Да я и не собирался. — Но если он спросит, — уже более уверенно продолжал Александр Лазаревич, — тогда я изложу ему свою точку зрения. Если спросит...

Я был рад хотя бы тому, что наши мнения совпали в главном...

34

Я был рад этому, но по дороге домой, трясясь в автобусе, идущем по мерзлым серым улицам в сторону моего микрорайона (зима выдалась бесснежная, с липким, сырым морозцем по утрам и вечерам), я вдруг ощутил страшную усталость. Может быть, усталость эта, образуя неведомое науке поле, исходила от унылых, ссутулившихся людей, наполнявших автобус, от их понурых лиц, тусклых, без единой живой искорки глаз, от их портфелей, сумок и авосек, в которых болталась жалкая, случайная добыча, выхваченная в толчее очередей, куда торопились они после работы, — не знаю, но усталость навалилась на меня и проникла внутрь. Как нелепо выглядел я со своими претензиями, своими проблемами-вопросами — среди людей, поглощенных каждодневными заботами о хлебе насущном! Я мотаюсь, треплю нервы — и тем, и другим, и себе, и жене, и Жовтису, который восемь лет был без работы из-за пленок с песнями Галича... Да пропади все пропадом! Что, мне больше всех это нужно?.. И мои "еврейские амбиции"... Ведь и это — игра, не больше! Какой я, к дьяволу, еврей? Ни слова не знаю, кроме "азохеи вей", слышал когда-то в детстве от бабушки с дедушкой. Ну, читал и любил — но не так чтобы до беспамятства — Шолом-Алейхема, два года назад впервые познакомился с поэзией Бялика... Что еще? Палестина, Израиль?.. Да если разобраться,

мне куда ближе та же Англия: сколько мне о ней известно — книги, театр. Шекспир, "ай эм вари сорри"... Что я мог, то и сделал: высказал свою точку зрения. Она в редакции известна всем. А остальное зависит не от меня.

35

Тем не менее, чтобы избежать любых кривотолков и внести полную ясность, я, вернувшись домой, сел за машинку и написал:

"Уважаемый Геннадий Иванович!

Я вновь перечитал — теперь уже с обозначенными в тексте купюрами - "Вольный проезд" Марины Цветаевой. И по-прежнему полагаю, что печатать это произведение в журнале сейчас не следует.

1. "Вольный проезд", написанный Мариной Цветаевой в тяжелейший для нее период, имеет явно антиреволюционный, антисоветский настрой, соединенный с изрядной долей антисемитизма. Очевидно, и Вы — хотя бы отчасти — со мной согласны в этом, поскольку намерены сделать купюры.

2. Если иметь в виду биографию Марины Цветаевой, то можно понять, почему а 1918 году "Вольный проезд" был ею написан. Однако почему, с какой целью необходимо печатать эту вещь в массовом литературном журнале в настоящее время?

3. Мне кажется, что "Вольный проезд" вполне уместно было бы опубликовать в собрании сочинений Марины Цветаевой с комментарием[4], в нашем Журнале вряд ли возможном.

4. "Вольный проезд" был напечатан в 1924 году в Париже, в "Современных записках" — издании, вполне доступном для чтения и в Ленинской библиотеке, и за рубежом. Вполне вероятно, что публикация "Вольного проезда" в нашем журнале, вызывающем всюду немалый интерес, будет иметь определенный резонанс. И тогда простое сопоставление полного текста в "Современных записках" и усеченного в журнале приведут к упрекам в прямом искажении существа материала, к утверждению, что путем обширных купюр Марина Цветаева эмигрантского периода стараниями редакции превращена из врага советской власти в чуть ли не ее друга... И это, по-вашему, будет торжеством истины? Гласности? Демократии?..

5. Как известно, ни одно изменение в тексте, принятом к публикации, не может быть внесено без предварительного согласования с автором. А если автора нет в живых? Тогда его тексты можно препарировать как угодно — так получается?..

6. Думаю, что гласность и демократия предполагают и

ясность позиции, и чувство ответственности. Нем руководствуетесь Вы, намереваясь опубликовать "Вольный проезд ? Ведь и Вам, и мне, и всей редакции горько памятна история с резкой критикой журнала в связи с "вредом, наносимым делу интернационального воспитания". Если после публикации Вольного проезда" журнал обвинят в потакании антисемитизму, в разжигании национальной розни, то обвинение это будет вполне заслуженным.

7. Если бы мной руководило намерение причинить зло журналу и Вам, Геннадий Иванович, лично, я бы поддержал намерение напечатать "Вольный проезд". Но и Вам, и своим коллегам по редакции я предпочитаю говорить резкие и неприятные вещи, исходя из добрых чувств, желая предотвратить в лучшем случае необдуманное, в худшем же — злое дело, противоречащее духу перестройки, как я ее понимаю.

8. Если Вы все-таки решите, что "Вольный проезд" должен быть напечатан, то я считаю, что при этом следовало бы проконсультироваться по этому вопросу со специалистами по творчеству Марины Цветаевой (например, А.А.Саакянц) и обсудить намерение редакции с членами редколлегии журнала, поставив их в известность и об этом письме, которое носит, как Вы понимаете, отнюдь не частный характер.

Член редколлегии,
заведующий отделом прозы Юрий Герт"

36

— Ты правильно представляешь дело, сказал Толмачев, пробежав два моих листочка. — Пускай решает редколлегия.

— И на этом — точка, — сказал я. — Свое мнение я выразил, остальное не от меня зависит.

Выйдя из кабинета главного редактора, я и вправду испытывал облегчение, уверенный, что точка в самом деле поставлена. Я сделал, что мог, и упрекать себя мне не в чем.

Сейчас, перечитывая свое письмо, адресованное Толмачеву два года назад, я, в сущности, готов был бы подписаться сызнова почти под любым его словом. Два вопроса, в нем поставленные, кажутся мне узловыми. Первый обозначен в самом начале, там сказано: "антиреволюционный, антисоветский настрой". Злость, досада, ощущение банкротства владеет нами, требует найти причину долговременных наших бедствий и во всем, винит Октябрьскую революцию. Ругать революцию, поносить Ленина, большевиков сделалось модой, своего рода бонтоном. Однако

если недавние молитвы сменяются, площадной бранью, она, эта площадная брань, представляется мне зародышем новых молитв. И в самом деле: было бы желание согнуться, хлопнуться на колени, хряснуть об пол привычным к тому лбом — а уж кумиры, идолы всегда появятся. Не новые, так старые; царь-батюшка (кстати, отрекшийся от престола без всякой помощи Ленина и большевиков), великодержавность, триединая формула Уварова, истинные спасители Отечества — Корнилов, Краснов, Колчак. И смешанные с молитвами проклятия Октябрю, сочиненному Лениным и шайкой заговорщиков-экстремистов, узурпировавших власть в процветающей, торжественно шествующей впереди человечества России, полной мира и согласия... Не думаю, что монархизм, неприятие Октября Мариной Цветаевой дают основание уподобить ее какому-нибудь унтер-офицеру-корниловцу, готовому положить (а может быть — и положившему!) голову за вполне реального (хотя - вполне ли реального?..) государя-императора... Политика, этика, поэзия — все в ней причудливо соединялось, и чего было больше?.. Ее влек Наполеон. И герцог Рейхштадтский — "Орленок", сын Наполеона, воспетый Эдмондом Ростаном. Их портреты висели над ее девической постелью,.. Каким рисовался ей Николай II, какого покроя носил одежды, какие слова (скорее — стихи!,,) слышались ей излетевшими из его уст?.. Пошлость всегда ее страшила, обязательное для всех — склоняло к бунту. В начале первой мировой войны, в ура-патриотическом угаре, охватившем Россию (да только ли ее?..), она дерзко, вызывающе бросает:

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам!
Ну как же я тебя оставлю,
Ну как же я тебя предам?
И где возьму благоразумье:
"За око — око, кровь — за кровь", —
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь!

О какой Германии она писала, кто был ей мил — Людендорф, кайзер Вильгельм, Крупп, германский милитаризм?.. Да нет же — Кант и Гете, Гейне и Лорелея... Можно ли, по законам военного времени, судить ее за предательство, измену, переход на сторону врага ("Германия — моя любовь!..")?.. Законы поэзии не совпадают с положениями уголовного кодекса. Монархизм, антиреволюционность Марины Цветаевой требуют понимания, расшифровки. Без этого в коричневом тумане, энергично, с ведома высоких покровителей распространяемом "Памятью", можно перепутать "Современник" Некрасова и "Наш современник"

Викулова, как и Марину Цветаеву с какой-нибудь Глушковой...

Мне странно было тогда, два года назад, почему столь простые мысли не приходят в голову самому Толмачеву? И почему я, никогда не бывший членом партии, неоднократно порицаемый не столько изустно, сколько печатно за "идеологические ошибки", "идейные пороки", "огульное охаивание" и "отсутствие положительного идеала" (было даже специальное постановление ЦК КП Казахстана, в котором, среди "порочных", фигурировало и мое имя — рядом с именем Анатолия Ананьева...), — почему я, выходит, защищаю Октябрьскую революцию, я — а не Толмачев?.. Ведь это он носит партийный билет с профилем Ленина, он с младых ногтей — доверенное лицо этой партии, то главный редактор издательства, то редактор газеты, член — то горкома, то обкома, то есть борец за чистоту партийной идеологии, еще недавно пресекавший самые малые отступления от нее, — отчего же вдруг наши роли вроде бы поменялись?.. Хотя ведь кто, как не он, руководит журналом, занимает редакторское кресло, которого мне никогда не занять, и кресло это, за которое он держится, напрягая все мышцы, предоставила ему та же партия, она усадила его за редакторский стол, занесла пожизненно в списки номенклатуры, она его выручит, не даст пропасть в любой ситуации, в крайности — пересадит с одного кресла на другое... Тут уж если не искренняя преданность, так хотя бы долг, порядочность велят служить, платить по таксе своему благодетелю...

Вот что было мне странно. И я — в своем письме — думал все еще раз расставить по своим местам, сделать явным, очевидным. И — антисемитские интонации: да нужно было заткнуть уши, залить их воском, чтобы не расслышать хорошо знакомые голоса...

Указывать на них редакции, Толмачеву?.. Тоже странность. И странность, далеко выходящая за пределы "еврейского вопроса". Ведь все мы были здесь, в Алма-Ате, в декабре 1986 года, то есть год назад, в памяти у каждого хранился еще не поблекший, не стершийся снимок тех событий...

38

Помню, утром 17 декабря я заглянул в больницу скорой помощи, к профессору Головачеву, моему "куратору" по медицинской части, и он, чрезвычайно встревоженный, рассказал мне: ночью состоялся городской партактив, ситуация сложная, возможны беспорядки, что же до больницы, то есть распоряжение

— на всякий случаи готовиться к приему раненых...

Накануне было объявлено, что Кунаев отстранен от должности Первого, вместо него выбран прилетевший из Москвы Колбин, в прошлом секретарь обкома в Ульяновске, а до того — второй секретарь в Грузии, когда во главе ЦК там стоял Шеварнадзе... Говорили, "пересмена" произошла ночью, скоротечное заседание бюро длилось пятнадцать минут... Александр Лазаревич Жовтис, с которым мы встретились 16-го вечером в театре, задумчиво сказал: "Это может плохо кончиться..." Я не понял его. Ухода Кунаева ждали, считали предрешенным, огромный его портрет, с тремя звездами Героя, висел в центре города рядом с таким же огромным портретом Брежнева, для Казахстана оба олицетворяли эпоху застоя... Как же так? Почему — "плохо кончиться"?.. По пути из больницы в редакцию я думал об этом, сопоставляя прогноз Жовтиса, партактив, растерянность Головачева...

В редакции, находящейся в помпезном здании Союза писателей Казахстана, я услышал, что с утра и здесь, в актовом зале, проходил актив. А часа в три за окнами нашей комнаты, выходящими на главный в городе Коммунистический проспект, возникло невиданное зрелище. Окна располагались на первом этаже, но достаточно высоко над тротуаром, до проезжей части улицы было метров двадцать, ее было хорошо видно — со стороны вокзала по проспекту двигалась довольно длинная колонна, человек на 400-500, состоявшая из молодых людей, лет по 18-20, юношей и девушек, сплошь казахов. Перед колонной несли портрет Ленина и транспарант: "Каждому народу — своего вождя". Демонстранты были возбуждены, у многих в руках — палки с гвоздями на концах, у одного парня я заметил насаженные на длинную ручку вилы. Палки и вилы вскинуты были вверх, как острия штыков...

Колонна остановилась перед Союзом писателей, слышались крики, группа юношей отделилась от основной массы и кинулась к входным дверям. Стоявшие в колонне кричали, кого-то вызывая к себе, я разобрал только "Олжас! Олжас!.." В двери ломились, колотили кулаками, но то ли двери, защелкнутые на ключ вахтером, оказались крепкими, то ли не столь уж много усилий применяли рвавшиеся в Союз, — в здание никто не проник. Я ждал, что кто-нибудь из писателей-казахов, может быть сам Олжас Сулейменов, откроет дверь, выйдет к молодежи... Никто не вышел. Было несколько мгновений, когда ледяной ручеек страха заструился у меня между лопаток. Так начинаются революции, — подумал я, стоя у подоконника и вглядываясь через мутные двойные, стекла в молодые лица, румяные от возбуждения и

холода. — Если они ворвутся в вестибюль, все будет сломано, разгромлено, сокрушено... Выросший с революционными песнями на устах ("Мы — молодая гвардия рабочих и крестьян..."), я вдруг ощутил себя петербургским обывателем (дворянином?.. буржуа?..), испуганным событиями, последовавшими за взятием Зимнего дворца. Не книжной романтикой — живым ветром бунта и мятежа дохнула на меня в тот миг улица сквозь двойные рамы...

Простояв под окнами Союза минут двадцать или тридцать (к молодым людям, как оказалось потом — студентам, никто так и не вышел), колонна тронулась вверх по проспекту, в сторону ЦК и простершейся перед ним площади имени Брежнева. Вечером стало известно, что там, на площади, собралось множество народа, шел митинг, руководство республики, привыкшее к торжественным заседаниям и праздничным докладам, казенными, мертвыми словами убеждало людей разойтись, толпы не расходились, напряжение нарастало... На другой день толпы рвались к зданию ЦК, которое охраняла милиция, затем прибыли войска особого назначения, с овчарками, на площадь вывели колонны рабочих, построили в шеренги. Я сам видел развороченную облицовку фонтанов, длинного здания Агропрома, вытянутого вдоль площади: куски гранита летели в милиционеров, солдат, те отвечали на камни дубинками, рабочие — обрезками свинцового троса... Знакомый врач-хирург рассказывал, каким потоком в его травматологическое отделение везли раненых казахов, многие из них были в состоянии исступления, не хотели, чтобы к ним прикасались русские врачи. Журналисты с телевидения передавали, как толпа раздавила инженера-телеоператора, отца троих детей, кажется немца. Слухи, многократно преувеличенные — о сотнях жертв, о трупах, которые вывозили из города и хоронили втихаря, чтобы скрыть от родных, - слухи, один ужасней другого, распространялись по городу, как раздуваемый ветром степной пожар, однажды мне довелось его наблюдать... Русские, т.е. все *не-казахи,* передавали, будто бы казахи ворвались в детский сад и перерезали всех русских, казахи сообщали о том же, но с противоположным смыслом. 18 декабря — день рождения нашего внука, моя жена попыталась из микрорайона пробраться в центр, чтобы купить цветов, — там, в микрорайоне, трудно было поверить, что центральные улицы Алма-Аты, обычно спокойные, даже пустоватые, вышли из-под контроля. Часть пути она ехала, потом троллейбусы встали, она вышла. Возле стадиона, перегородив дорогу, лежал перевернутый автобус. Она свернула к второму по величине алма-атинскому рынку — Никольскому. Толпы людей, в основном молодежи, это район студенческих общежитий,

возвращались с площади, как разбитые на поле брани полки, многие несли в руках палки с гвоздями, металлические совки, чугунные печные кочережки. Все-таки она купила цветов и кое-как добралась до дома... Сын одного из наших сотрудников, работавший на заводе учеником, сам просился на площадь, попеняв на молодость, его взяли — там, в шеренге, он отбивался от устремившихся к ЦК, волнами накатывавших толп... Помню, постоянный автор нашего журнала, вбежав в редакцию, с трясущейся от ярости челюстью рассказывал, как удалось ему вырвать из рук студентов-казахов женщину, торговавшую пирожками, и втолкнуть в двери "Детского мира"... "Мне бы автомат! Пулемет! Я бы их всех крошил — подряд!.." — кричал он. Тщетно пытались его успокоить...

Не стану скороговоркой давать оценку тому, что тогда произошла. Все сложнее, чем это может показаться. Если Кунаев — один из отцов застоя, то следовало, вероятно, в дальнейшем это доказать, чтобы социальные факторы, не обжигая национальных чувств, оказались на первом плане. Но этого не было сделано — несмотря на все обещания и Колбина, и центрального партийного руководства. Осталась боль, обида: отчего нужно было "привозить варяга"? Да еще — тайком, ночным рейсом? И под разговоры о демократии испытанным способом продиктовать самодержавную волю Москвы ходившей до того в фаворитах республике?..

Тогда, после потрясших всю республику декабрьских дней, перед самым Новым годом в Союз писателей Казахстана приехал Колбин, состоялся "дружеский, откровенный разговор" в зале, вместившем 600 человек, финалом были поцелуи, которыми обменялись новый Первый секретарь ЦК и Первый секретарь Союза писателей Олжас Сулейменов... Но тягостная атмосфера взаимных национальных претензий, раздражения, противостояния, унаследованная от эпохи застоя, когда казахи были недовольны нашествием русских, губительным, как считали они, для казахского языка, культуры, традиционного образа жизни (распаханная целина вместо пастбищ и т.п.), русские же негодовали на разнообразные приоритеты и привилегии, которыми пользовалось коренное население, — тягостная эта атмосфера после декабрьской бури не очистилась, а насытилась электричеством. Национальный фактор перестал довольствоваться кухонным брюзжанием и маскировкой с помощью канцелярских, полных хитроумного политиканства циркуляров. Он вышел на улицу. Его зловещее неистовство продемонстрировало свою силу у всех на виду. Запах гари отравил воздух, стало трудно дышать... Худо ли, хорошо ли, но

прежде существовала принятая всеми за реальность иллюзия: зло исходит от тоталитарного государства. Оказалось — оно рассыпано, растворено в душах людей. Не напечатанные в газетах призывы, не традиционное послушание — рванувшиеся из глухих подземелий страсти бросили людей на площадь, заставили хватать камни, папки, дубинки, ненавидеть, стремиться причинить боль друг другу — все вдруг оказались разбитыми по разным лагерям и помимо личных воль, привязанностей, желаний вовлеченными в состояние опаски, подозрительности, вражды. Что-то надломилось, рухнуло. Так надломилось, рухнуло внешнее благоденствие, гуманистическое единство Европы в 1914 году. В ее храмах молились уже не о мире на земле, а о победе и сохранении жизни — для своих, о поражении и смерти для тех, кого еще вчера считали своими "ближними"... Цветущие нивы превратились в кровавые поля сражений. На этих полях, покрытых обломками человеческих черепов и ржавыми осколками снарядов, на почве, удобренной растертыми в порошок иллюзиями, взошел новый, невиданный злак — фашизм.

...Казалось, вот он — декабрь 1986 года, первый подземный толчок, едва достигший Москвы, но качнувший твердь под нашими ногами. Он должен был насторожить каждого, предостеречь от того, чтобы ворошить угли, раздувать жар, плескать бензином в пламя, имя которому — национальный вопрос.

39

Тяжкая вещь — одиночество..

Возможно, какой-нибудь чистокровный британец в прошлом веке способен был, испытывая несокрушимое уважение к своей персоне, посиживать себе перед камином с трубкой а зубах, стаканом грога в руке и томиком Диккенса ка коленях, и плевать ему было на все, что происходит за стенами его дома, и, в частности, на то, что думают о нем Джон Смит и Боб Чейнсток. Я не британец, у меня нет ни камина, ни трубки, ни грога, и даже будь они — все равно ничто не заменило бы мне редакцию с круговоротом дел, трепом, дружеским сочувствием по разным поводам, ответственностью за чьи-то рукописи, а значит — судьбы... Я родился и прожил всю жизнь не в Британии, а в России, где быть как все, быть вместе со всеми — хорошо, порядочно, нравственно, а оказаться в одиночестве, выступить из общего ряда и повернуть против всех — значит навлечь на себя неодобрение, осуждение, подвергнуться благородному презрению

и в конце концов — остракизму.

Я ничуть не сомневался в том, что до сих пор вел себя правильно, тем не менее на душе у меня было тоскливо, беспокойно. Связи с близкими мне людьми рвались, как гнилые нитки. Вакуум вокруг разрастался. Внешне все оставалось по-прежнему, я ходил в редакцию, читал и правил чистые листы, как положено дежурному редактору, спешил, чтоб не задерживать печатный цех... Но присущая нашему маленькому коллективу простота отношений, грубоватая их откровенность исчезли. Со мной разговаривали холодно, вежливо, с подчерк нутой учтивостью, я отвечал тем же. Почти неприкрытую ненависть к себе я чувствовал со стороны только одного человека. Не знаю, может быть, на его месте бы тоже испытывал неприязнь к тому, кто отклонил мою повесть от публикации... Но у Карпенко личная обида наложилась на ультрамодные идеи, усвоенные за год жизни в Москве, собственная судьба сопряглась в его сознании с судьбой России... Его я понимал, его поведение, не входя в мотивы, представлялось мне естественным. Другое дело — Валерий Антонов; каждый день я ожидал, что он подойдет ко мне или позвонит... Но он не звонил, не подходил. Иногда мне хотелось первому сделать шаг, поднять телефонную трубку, набрать номер... Но что-то меня останавливало.

Что до знакомых и друзей, не связанных с редакцией, то никто из них не читал рукопись Марины Цветаевой. В том, что они разделяют мои соображения, заключалась явная для меня натяжка. Слишком многое было против меня. Я никого не убеждал в своей правоте, убедить могло единственное — текст, которого я не мог им представить...

Так, хотя и в ином варианте, повторялась для меня ситуация пятилетней давности, когда мы с Галиной Васильевной Черноголовиной и Виктором Мирогловым выступили против Владимирова, помощника Кунаева. Многие разделяли наше отношение к этому всесильному ничтожеству. Но нас никто не поддержал. Никто не вышел к трибуне на писательском пленуме, чтобы подтвердить обвинения, высказанные нами перед Кунаевым, который один мог обуздать своего выкормыша... Все прятали глаза, толковали о погоде, об армянском коньяке, только что появившемся в баре, но продающемся с двойной наценкой... Ничего другого словно не существовало.

Помню, перед самым пленумом, после моих настойчивых звонков, ко мне заехал старый мой друг Владилен Берденников. Долгие годы мы были близки — еще с той давней поры, когда жили в Караганде, работали в одной редакции... Теперь он был писателем, автором нескольких хороших, честных книг. Мы

ходили по скверику, рядом с моим домом, и я, не волнуя свою жену, рассказывал ему кое-какие подробности — о нашем походе к Кунаеву, о его заключительной фразе: "Пускай ваши товарищи выступят на пленуме, который у вас начнется на следующей неделе... Пускай выступают, критикуют, никого не боятся..." Берденников, дослушав, изложил свои хорошо продуманные аргументы, из которых следовало, что мы поступили крайне легкомысленно, что вреда от этого может быть больше, чем пользы, что... Короче, что кашу, заваренную нами, нам же и расхлебывать. Что ж, у него была своя логика... Я не спорил. Мы простились, и прошло довольно много времени, пока наши отношения вновь наладились, но какая-то трещина в них осталась надолго.

Потом я не раз думал: почему так получилось?.. У каждого были свои причины, своя логика поведения: один, исходя из печального опыта, не верил в успех, другой попросту трусил, третий когда-то с помощью того же Владимирова, многих державшего на крючке, получил квартиру и не хотел подводить своего патрона, что чисто по-человечески тоже можно понять. Все можно понять, все можно объяснить. И все-таки... Почему люди поступают по-разному? Потому что они *разные* люди? Или потому что наряду с одной логикой возможна другая? Ничуть не менее логичная?.. Но приводящая к иной линии поведения, иным поступкам?.. Выходит, не ошибки в цепочке суждений и выводов (а разве не о них, не об этих ошибках спорят?..), а исходные начала все решают, прочее — лишь следствия. Ведь имеется своя безукоризненная логика в том, что когда кто-нибудь тонет, а вы не умеете плавать, то не бросаетесь в воду, на помощь тонущему? Но есть и *другая логика,* согласно которой вы бросаетесь... Все-таки бросаетесь... Не можете не броситься... Поскольку вы любите этого человека. В первом случае тонущий вам безразличен, а может быть и враждебен, во втором же — вы его *любите,* он дорог вам... И это все решает и объясняет.

Всегда есть эта *другая логика...* Ее определяют — в одном случае любовь, в другом — нравственные постулаты, в третьем — самоуважение, понятие чести... Все так. Но раньше я жил в полной уверенности, что у меня и у тех, кто был рядом со мной, одна и та же логика, одни и те же исходные начала... И вот — мы перестали чувствовать, понимать друг друга.

Возмущение, злоба, ярость — что мною владело?.. Скорее всего — удивление...

Однако ни малейшего удивления не ощутил я, когда однажды мне позвонила Галина Васильевна Черноголовина и сказала, что, будучи членом партбюро Союза писателей Казахстана и готовясь к докладу о работе журнала, она познакомилась с "Вольным проездом" и считает, что его публикация в нынешних условиях может радовать только "Память" и будет способствовать разжиганию национальной вражды. Свою точку зрения она изложит редактору письменно и постарается отговорить его от ошибочного шага.

После одной из атак на журнал, которые постоянно повторялись во времена Шухова (он выдержал еще три года озлобленной травли после того, как "Новый мир" уже отставили от Твардовского...), Галина Васильевна, заместитель главно го редактора, ушла из журнала, чтобы прикрыть своим уходом Ивана Петровича, отсрочить его снятие... С тех пор она работала дома, писала, издавалась, храня редкостную независимость характера. Но в республике — единственный литературный журнал на русском языке, к тому же в нем планируется печатать ее новый роман. Стоит ли рисковать? — подумал я, хорошо зная наши нравы и принципы... Не очень-то здоровая и не очень молодая женщина, муж-сердечник... Да табун резвых жеребцов раздавит ее, забьет копытами! И все из-за меня?..

— Галина Васильевна, — сказал я в трубку, — я знаю, вы поступите, как сами сочтете нужным, что для вас мои советы... И все-таки — я не советую, я прошу вас — не делайте этого! Все аргументы я уже высказал Толмачеву, ничего нового вы ему не сможете выдать — только наступите на самолюбие, раздразните — и ожесточите против себя.

— Я подумаю, — сказала Галина Васильевна, Голос ее был тверд, резок, холодок обиды пронизывал его. Я увидел на мгновение темные, строгие глаза на полном, уверенно вылепленном лице, крутой подбородок, прямые, вразлет, брови...

Ну и дешевка же ты, — сказал я самому себе. — Неужели ты думаешь, что она... Неужели ты веришь...

Нет, я не верил. Я знал, что она не послушается никаких советов. У нее — своя логика. И эта логика мне понятна. Что же я прикидываюсь, лицемерю?.. Это норма. Как же от нее отговаривать?..

Норма... Разве норма перестает быть нормой в зависимости от того, сколько людей следует ей?..

Мне вспомнилось, как незадолго до самоубийства Ландау меня допрашивал следователь в республиканской прокуратуре. Был жаркий день в середине лета, но в кабинете с высоченным потолком, узким окошком и толстыми кирпичными стенами стояла благостная прохлада. Перед следователем лежал исписанный в столбик листок. Он зачитывал: "Александр Солженицын, "Раковый корпус". Жорес Медведев, "Лысенко и Вавилов". Евгений Евтушенко, "Автобиография"... Он зачитывал, я говорил: "Нет, не читал", и снова: "Нет, не читал", и снова: "Нет, не читал..." Список включал примерно около сотни рукописей, ходивших в самиздате. Они были обнаружены, у моего приятеля. А если точнее, то он сам их принес и сдал в КГБ после наставительной беседы со следователем — о происках наших врагов и способах подрыва советской власти. Мой приятель с юности страдал маниакально-депрессивным психозом, часто и подолгу бывал в психиатрической больнице, а выходя из нее превращался в очень деятельного (может быть, даже слишком деятельного), интеллигентного, широко мыслящего человека с живым, порой блестящим умом. И вот — болезнь сыграла с ним скверную шутку. С ним, а заодно и со мной. Поскольку мой приятель, отвечая на вопросы следователя, в числе тех, кому он разрешал пользоваться своей потаенной библиотекой, назвал и меня.

В традициях психологического детектива, твердя "Нет, нет и нет", я решил, для убедительности, два или три раза сказать "Да, читал". Кроме того, мне сделалось жаль следователя, который ожидал” от нашей встречи многого, и вдруг — полное разочарование... Почему не порадовать человека, тем более, что это мне ничего не стоит?.. Позже я понял, что не слишком далеко ушел от своего товарища, хотя, регулярно навещая его в психбольнице, сам ни разу (пока!) не оставался там дольше, чем того требовали наши свидания. Впрочем, в те годы разница между психбольницей и тем, что вокруг, в некотором смысле была условной... Как бы там ни было, доставив некоторое удовольствие следователю (сознался я, стыдно сказать, в такой мелочевке, как Евтушенко и Жорес Медведев), я вышел из прокуратуры на вольный воздух, на улицу, где журчал арык, мчались машины, девушки в ярких платьях цокали каблучками по асфальту, и только тут понял, что свалял дурака, сам себя заложил. Но это еще ничего: решив доставить удовольствие следователю, я заложил и журнал. Поскольку Достаточно было упомянуть, что причастный к самиздату человек работает в "той самой редакции, которая...", чтобы не поздоровилось и редакции, и главному редактору, и последствия могли случиться самые

непредсказуемые...

По нынешним меркам это может представляться натяжкой, но тогда... Тогда мои несколько запоздалые прозрения подтвердил другой мой приятель, юрист, хорошо знакомый и с правовой наукой, и с бесправием, свойственным положению каждого простого советского человека в эпоху развитого социализма. После разговора с ним я, не мешкая, отправился к главному редактору журнала, к нашему незабвенному Ивану Петровичу Шухову, и когда мы остались наедине, все ему выложил.

— Когда вы принимали в журнал человека, сидящего теперь перед вами, вы не подозревали, какой это идиот, да и сам он этого не знал. Я ухожу, Иван Петрович, увольняюсь по собственному желанию или как вы сочтете нужным. Другого выхода я не вижу. Редакции из-за меня предстоят большие неприятности. Мало того, что шьют самиздат: я — еврей, стало быть — сионист, идеологический диверсант, пособник израильских империалистов и прочая, и прочая... Что и кому тут докажешь?.. Я напишу заявление.

Иван Петрович слушал меня внимательно, не перебивая, не переспрашивал. Он сидел в кресле, упершись локтями в стол, сцепив морщинистые стариковские пальцы, опустив голову, так что я почти не видел его лица — только сивые, седые волосы на темени крупной, не по росту, головы... О чем он думал? Может быть, о том, что в те минуты не приходило мне на ум: куда я денусь, уйдя из редакции? Кто меня возьмет?.. Я давно не печатаюсь, после первого успеха все оборвалось, я прослыл диссидентом, теперь этот самиздат... Случалась, Шухов бывал у нас дома, разговаривал с моей женой, тестем, тещей, шутил, ухватив за нос дочку: "Какой холодный — как у охотничьей собаки!.."

Помню, я ждал его слов, но что бы он ни сказал, у меня будто гора с плеч свалилась: я рад был, что сам нашел правильное решение...

Иван Петрович помолчал, посопел, хмуря лохматые кустики бровей над мощными линзами. Наконец, я услышал:

— Не надо вам. Юра, никуда уходить...

— А журнал?..

Журнал, как "Новый мир" для Твардовского, был его, по сути, детищем, он жил им — впрочем, как и все мы... Но, глядя куда-то мимо, Шухов только махнул куда-то в сторону рукой — мол, что ж, двум смертям все равно не бывать... Видно, противно было ему — даже из высших, говорю без иронии, соображений — согласиться на предложенное мной...

И я остался в журнале...

А времена были серьезные.

Через неделю или две, замученный допросами и обысками, Ефим Иосифович Ландау бросился с балкона. В прощальном письме Бенедикту Сарнову он извинялся за то, что не успел закончить примечания к однотомнику стихов Эренбурга (в Большой серии "Библиотеки поэта"), который редактировал Сарнов. Письмо, написанное в свойственной Ландау суховато-ироничной манере, заканчивалось строчками из эренбурговской "Бури":

"Мы жить с тобой бы рады.
Но наш удел таков.
Что умереть нам надо
До третьих петухов..."

41

Проще всего манеру поведения связывать напрямую с интеллигентностью, культурой. Будто Фихте или Вагнер не были столпами культуры... Будто академики Углов и Шафаревич — не интеллигенты... И если Иван Петрович Шухов, на мой взгляд, был высшей пробы интеллигентом, то не количеством прочитанных (и написанных) книг, не образом жизни это определялась. В его характере, в своеобразном артистическом аристократизме его души мне всегда чудилось некое природное, из народной глубины идущее начало. То самое, в котором трудно все разложить по полочкам, разумно мотивировать. Почему?.. А бог его знает — почему, да только поступить надо так, а не иначе! И чем больше доводов, тем упорней желание сделать все им наперекор!..

Думая об Иване Петровиче, я вспомнил о человеке, которого никогда не видел. Звали его по теперешним стандартам странно — Афон. А услышал о нем я от Марии Марковны, матери моей жены. Молодость ее прошла на Украине, в Черкассах. Город во время гражданской войны переходил из рук в руки — от белых к красным, от красных — к петлюровцам, от петлюровцев — к "зеленым", бог знает — к кому еще. Что дольше всего хранит человеческая память? Воспоминания о войнах, пожарах, землетрясениях... В еврейской памяти живут погромы. Как-то, перебирая фотографии незнакомых мне людей, бережно хранившиеся Марией Марковной, я засмотрелся на одну — совсем юной, необычайно красивой девушки с рафаэлевским овалом лица, полными губками, большими черными глазами,

мерцающими в глубине густых ресниц. Локон, завившийся пружинкой, повис у виска — там, на виске, казалось, пульсирует жилка... Чудо как хороша была девушка! Я заглянул на обратную сторону фотокарточки — и прочел написанное мелким четким почерком: "Маня (имя мне запомнилось, фамилия — нет), убита во время погрома".

Потом я узнал от Марии Марковны: это была ее подруга, когда ее убили, ей было восемнадцать лет.

Так вот, в тот ли, в другой раз, когда город захватили петлюровцы (или "зеленые" атамана Григорьева) и по Черкассам полыхнул слух о погроме, семью Марии Марковны спас Афон. Семья была немалая и не состояла в родстве ни с баронами Ротшильдами, ни с сахорозаводчиком Бродским. Ее глава Мотл Проскуровский служил на железнодорожной станции упаковщиком, дети — что постарше — подрабатывали: тот помогал на разгрузке, этот, щелкая кнутом, гонял на Днепр клячонку-водовозку. Афон жил рядом, за плетнем. В плетне имелась дыра, так что со двора в соседний двор можно было пробраться, не выходя за калитку. Когда слухи сделались угрожающими, Афон явился к своим соседям и ночью через ту дыру провел к себе в дом. Перед этим дедушка Мотл (так называли Мотла Проскуровского, когда я впервые его увидел: в ту пору ему было хорошо за восемьдесят) пришел к этому человеку, с которым его разделял не только плетень: вера, обычаи, ощущение жизни — все было разное... И вот он пришел к соседу Афону и положил на стол ему деньги (можно представить, сколько мог собрать их упаковщик!..) и сказал: "Спаси мою семью". И Афон ответил: "Забери свои деньги, я тебе лучше сделаю, чем за деньги"... Так, именно так, слово в слово, будто бы сказал Афон, и я не сомневаюсь, что так оно и было, уж очень характерная интонация дедушки Мотла слышится мне в этом пересказе. Но что, в конечном счете, куда важнее — все дни, пока в городе шел погром, пока в городе грабили, насиловали, убивали, семейство дедушки Мотла скрывалось в подполье у Афона. Он мог за это жестоко поплатиться: отчего же он все-таки это делал?.. Тем более, что среди захвативших Черкассы не то петлюровцев, не то григорьевцев были два его родные брата?.. Пока они грабили и убивали, Афон спасал... Отчего?.. Не знаю, не знаю, не могу ответить. Тем более, что не довелось мне повидать того Афона, поговорить с ним. Правда, его видела моя жена, еще девочкой: приезжал к дедушке Мотлу в Харьков огромного роста старик, с большой бородой, в сапогах и плаще, он доставал из мешка и протягивал ей гостинчик из родных Черкасс... Потом они с дедушкой Мотлом сидели за столом, пили чай, а то и кое-что

покрепче, закусывая свежепросоленным, с чесночком, салом. Дедушка Мотл, в чем я сам убедился, даже и в свои почти девяносто лет мог, а главное — умел выпить, и когда его внук, только что отслуживший в армии, проездом домой заглянул к дедушке и, хорошо "приложившись" на радостях, под конец рухнул и растянулся пластом во дворике, под увешенным спелой вишней деревом, дедушка Мотл, ни в чем не уступавший в застолье внуку, привычно похаживал по садику, рыхлил землю мотыжкой...

Трудно понять, почему от Ивана Петровича Шухова потянулась ниточка мыслей к дедушке Мотлу, к Афону... Но если бы случилось невероятное, подумалось мне, и три этих человека встретились, они бы поняли друг друга...

42

Не стану скрывать, позиция Афона, о котором рассказано выше, мне симпатичней, чем позиция его братьев, которые, возможно, и прежде не были большими интернационалистами, а в гражданскую войну решили, что все евреи — с мала до велика — комиссары от самого рождения, почему их и следует извести... У братьев Афона имеется ныне изрядное количество духовных братьев, посвящающих "лучшие годы своей жизни" коллективному воскрешению старого мифа. Думаю, сами мифослагатели отлично ведают, что творят, но для Многих слова их, произносимые с артистической страстью, являются истиной. Под воздействием их слов порой оказываются и прямые жертвы мифа — евреи, еще недавно гордившиеся своим генетическим комиссарством, а ныне терзающиеся причастностью к нему... Мне кажется, ни гордиться, ни терзаться тут нет оснований, но стоит хотя бы попробовать разобраться в расхожем обвинении, выдвинутом против еврейства - его активном участии в революционном движении, особенно — в его едва ли (по мнению обвинителей) не главной роли в Октябрьской революции, гражданской войне, коллективизации и т.д.

43

В самом деле, поскольку "ни в одной европейской стране они не подвергались таким ограничениям и преследованиям, ни в одной стране они не были загнаны в Черту оседлости"[1], революция для многих евреев, и прежде всего для еврейской

бедноты, оказывалась единственной возможностью добиться человеческого положения, сравняться в правах с остальным населением, разрешить общие для всех социальные проблемы. Отсюда — значительный процент евреев среди революционеров. Однако намеренное выпячивание этого обстоятельства отвлекает внимание от фактов никак не вписывающихся в распаляющую сердца "патриотов" картину.

[1] *Сб. "На пути к свободе совести". М., "Прогресс", 1989 г., стр.9.*

1) Среди меньшевиков, решительно отвергавших, как известно, идею захвата власти в октябре 1917 года, было большое количество евреев, они входили в руководство меньшевистской партии с первых лет ее создания, например — Ю.О.Мартов, П.Б. Аксельрод, Р.А.Абрамович, Ф.И.Дан, Г.Я.Аронсон, С.Шварц, редактор меньшевистской "Московской газеты" Н. В. Вольский и др.

2) Лидерами партии правых эсеров являлись А.Р.Гоц, Д. Д. Донской, Б.Рабинович, М.Я.Гиндельман, Л.А.Герштейн, Е.М.Ратнер-Элькинд, по терминологии Шафаревича — представители "Малого народа". Эсеры тоже были против провозглашенного в "Апрельских тезисах" курса на социалистическую революцию. Мало того: вместе с меньшевиками они покинули Второй Всероссийский съезд Советов, провозгласивший установление в России Советской власти. Еще недавно такие обличители сионизма, как Романенко и К°, поносили за это "сионистских вождей" из числа меньшевиков и эсеров, обвиняя их в антикоммунизме. Казалось бы, теперешние "борцы с мировым сионизмом" за то же самое должны возгласить Мартову или Гоцу "осанну"... Ничуть не бывало!

Не говорю уж о том, с каким уважением к евреям-эсерам следовало бы отнестись тем, кто дорожит памятью об Учредительном собрании, разогнанном большевиками: партия эсеров, как известно, имела в нем преобладающее количество мест.

3) Уж кто-кто, а кадеты — конституционные демократы — меньше всего могут быть заподозрены в симпатиях к Октябрю и Советской власти... Между тем в ЦК партии кадетов входили евреи М.М.Винавер (юрист, близкий друг П.Н.Милюкова), П.П.Гронский, М.Л.Мандельштам, Л.И.Петражицкий, А.С.Изгоев. К видным деятелям кадетской партии относят И.В.Гессена, А.И.Каминку, Г.А.Ландау.

4) Пропагандисты теории "мирового заговора" видят в Октябрьской революции гигантских масштабов еврейскую акцию

против русского народа. Однако не естественней ли полагать, что одни евреи жаждали революции, другие больше заботились о судьбе своей семьи или, скажем, своего местечка, чем о "всемирном пролетарском пожаре", третьи же, а именно — люди богатые, революции отнюдь не сочувствовали, а наоборот — активнейшим образом ей сопротивлялись. Чтобы это последнее соображение обрело плоть, напомню, что до первой мировой войны в руках капиталистов-евреев было 100 сахарных заводов из трехсот, имевшихся в стране: что заводы, принадлежавшие семье Бродских, производили в 90-х гг. четвертую часть всего российского сахара; что в XIX веке прокладкой железных дорог в России занимался ряд еврейских подрядчиков, из них самым известным считался "железнодорожный король" Самуил Поляков; что немалый капитал сосредоточен был в руках еврейского банкира Евзеля Гинзбурга, что в разработке золотых приисков участвовал его отпрыск Гораций Гинзбург, что среди крупных российских капиталистов значились Гальперины, Этингеры и др., связанные с текстильной и мукомольной промышленностью, речным судоходством[1].

[1] *См. примечание в конце книги.*

Сейчас для большинства из нас многие из приведенных выше имен почти ни о чем не говорят. Сочиненная, далекая от объективности история, бывшая долгое время в ходу, оставила в нашей памяти Троцкого и Каменева, Зиновьева и Свердлова, Урицкого и Володарского, Лозовского *и* Рывкина, Ярославского и Скворцова-Степанова и т.д., и т.д. Тут волей-неволей может возникнуть впечатление о каком-то продуманном, тщательно организованном, руководимом из единого центра дьвольском замысле...

Разумеется, вершинной точкой сооружаемой ныне пирамиды из обличений и разоблачений оказывается приговор, выносимый Марксу и марксизму: это его план, его утопия виновата в принесенных Россией жертвах. *Он,* Маркс, и его *марксизм:*.. И так ли уж важно, что Маркс имел в виду социализм, идущий на смену не полуфеодальному, едва-едва нарабатывающему капиталистическую мускулатуру государству, а капитализму, который успел пережить свою зрелость и одряхлеть, исчерпать себя; так ли уж важно, что он ориентировался на развитый, сильный, организованный пролетариат; так ли важно, что до сих пор остаются открытыми вопросы: в самом ли деле утверждал он необходимость пролетарской диктатуры, и если да, то что понимал под нею, и т.д. Тут многое спорно. Бесспорно другое: Ленин и российские большевики считали себя истинными марксистами и пришли к идее диктатуры, но Карл Каутский,

Эдуард Бернштейн, Рудольф Гильфердинг и другие деятели Второго Интернационала, тоже считая себя истинными последователями Маркса, были противниками пролетарской диктатуры. Социалисты Леон Блюм, Жорж Мандель, Бруно Крайский, Пьетро Ненни, Франсуа Миттеран, многочисленные партии Социнтерна также не разделяли — или не разделяют в настоящее время — догматов, считавшихся у нас единственно верными. Хочешь — не хочешь, приходится признать, что среди активных деятелей Второго Интернационала и в прошлом, и ныне довольно много евреев. Но... Пирамида требует стройности, ее основатель — еврей Маркс, он и его последователи накинули на шею России удавку — Октябрьскую резолюцию, пролетарскую диктатуру, убили царя, разрушили церковь, Сталин был всего лишь покорным их учеником, что с него взять... Как-никак — евреем он не был, хотя бы за это можно иные вины ему скостить...

Так создается, конструируется, разрабатывается версия, отличающаяся простотой и доступностью, а кроме того имеющая то преимущество, что задевает впрямую минимальное количество людей: всего-то какие-нибудь 0,69 процентов населения нашей страны. Им, 0,69%, выносится обвинительный приговор, который служит одновременно оправданием для остальных 99,31%... Не потому ль столь охотно прощается этой версии то малое обстоятельство, которое не простили бы любой другой: полнейшее пренебрежение истиной?..

44

В конце января собралась редколлегия.

Как всегда, проходила она в кабинете главного редактора. Как всегда, вначале главный редактор изложил суть проделанной за последние месяцы работы, очертил план на будущее — все это выглядело весьма дельно и респектабельно. Затем стали высказываться члены редколлегии, и высказывались также весьма дельно и респектабельно, то есть тщательно дозируя плюсы и минусы — так, чтобы положительное сальдо складывалось в пользу журнала. Короче, господствовал дух общего взаимопонимания и взаимной приязни, характерных для такого рода совещаний. Помимо членов редколлегии, не состоящих в штате редакции, присутствовали почти все работники журнала.

Когда с главными вопросами было покончено, Толмачев сказал:

— Поступило письмо от Герта Юрия Михайловича...

Он читал текст — быстро, скороговоркой, без всякого

выражения на лице и в голосе — подчеркнуто беспристрастно, точнее — бесстрастно. Тишина в кабинете была полнейшая. Но ощущалось в ней осуждение, даже какая-то благочестивая оскорбленность. Толмачев еще не кончил, еще никто не произнес ни слова, а я уже чувствовал себя так, будто совершил такое неприличие, о котором и говорить порядочным людям неловко, не то чтобы всерьез порицать. Достаточно просто пожать плечами, поморщиться — и продолжать заниматься важными, достойными делами.

Одно меня радовало в тот момент — что бог надоумил меня прямо, открыто, ясными словами определить свою точку зрения на бумаге, исключив тем возможность ее перевирать и домысливать...

Впрочем, не бог, а некоторый опыт меня этому научил. Много лет назад, году в 1968, Иван Петрович рассказал, как к нему явился тогдашний секретарь Союза писателей Моргун и принялся выговаривать за то, что он, Шухов, собрал у себя в журнале "жидовское кодло".

В то время в редакции "жидовское кодло" представлял я в единственном числе. История с Ландау была еще впереди, меня забавляла странная логика, по которой неугодного властям Солженицына преображали в еврея Солженицера, Сахарова — в Цукермана, что же до моих друзей Николая Ровенского и Алексея Белянинова, то первого "руководящие круги" в Алма-Ате, несмотря на стопроцентную славянскую внешность, считали замаскировавшимся евреем Ровинским, второго — тоже евреем — из-за еврейки-жены... Она, эта государственная логика, владевшая Федором Авксентьевичем Моргуном, поэтом, а во время войны — начальником лагеря, по его словам, для военнопленных японцев, не бралась мною в расчет. Обида и ярость по молодости лет захлестнули меня.

В тот же день, после разговора с Шуховым, я позвонил Анатолию Ананьеву.

— Толя, — сказал я, мы были с ним на "ты", — прошу тебя завтра утром в 10 часов быть в кабинете Моргуна. Зачем — завтра узнаешь, но для меня это очень важно.

Ананьев, недавно еще — секретарь Союза писателей Казахстана, собирался переезжать в Москву и держался независимо, не примыкая ни к одной группировке. Так что для меня не было человека более подходящего на роль секунданта.

В 10 утра на другой день я вошел в кабинет к Моргуну. Ананьев был здесь. Я поблагодарил его и сказал, что он понадобился мне как свидетель, чтобы предупредить впоследствии любые передержки. Потом я подошел к столу, за

которым гранитной, грубо обработанной глыбой возвышался Моргун.

— Я пришел вам сказать, Федор Авксентьевич, — сказал я очень спокойным, так мне казалось, тоном, — что мой отец был офицером, он погиб в октябре 1941 года, защищая от фашистов Родину, и мне стыдно перед своей дочерью за то, что землю, за которую он отдал жизнь, поганят такие мерзавцы, как вы.

Моргун побледнел, водянистые, заплывшие глазки его округлились, сжались в копеечку:

— Ничего не понимаю!.. Что случилось?..

Видно, ему впервые довелось услышать такое. И от кого?.. Я все ему объяснил. Тем же спокойным, ледяным тоном, чеканя каждое слово. И только все до конца высказав, выйдя из кабинета, прошагав бесчувственными ногами через еще пустынный в этот час вестибюль, сел за свой стол в пустой еще редакционной комнате — и заплакал. Сам не знаю, как это получилось. Сто лет, тысячу лет не плакал, забыл, как это делается — а вот поди ж... Рыдания так и хлынули из меня, стыд, как раскаленные плоскогубцы, жег и рвал тело: стыдно мне было и за эти глупые, неудержимые слезы, стыдно — перед моей семилетней дочерью — за то, что землю, которую я учил ее любить, топчут антисемиты... Пределом позора — о святая простота!.. — казалось мне, что писатель, поэт, секретарь СП — может быть черносотенцем... У нас в Караганде, откуда я приехал, воздух был чист, русские, казахи, немцы, евреи, украинцы, корейцы — кого у нас только не было, до болгар и испанцев включительно — все дышали этим воздухом в полную грудь...

Мне было тогда 37. Сейчас 57, а через неделю стукнет 58... И вот я сижу, слушаю Толмачева, который читает мое письмо... Что скажут люди, заполнившие его кабинет?.. На стене — портрет Ивана Петровича Шухова, он умер 14 лет назад. И умер Алексей Белянинов, отсутствие которого все эти годы — и чем дальше, тем острей — я ощущаю. Морис Симашко, звонивший мне последнее время каждый день, — не член редколлегии, его нет здесь. И нет Володи Берденникова, который бы наверняка был рядом со мной, — он уволился из редакции полгода назад. Николай Ровенский... Он давно не ходок в журнал, засел как в ссылке, в Обществе по охране памятников. Ушел из журнала Старков — человек мягкий, без камня в душе, но потому-то, возможно, и чуткий к чужой боли... Даже Нади Черновой нет, еще не вернулась из отпуска: впрочем, и хорошо, что ее нет, ей пришлось бы уступить силе... А сила, я это сразу понял, не на моей стороне.

Среди собравшихся Сатимжан Санбаев, с которым нас прежде

многое сближало, но на меня пал жребий отказать ему от лица редакции в печатании наспех написанного последнего романа... Мурат Ауэзов, человек во всех отношениях замечательный, к тому же тонкий, все понимающий, не раз доказавший свою отвагу... Но Сатимжан — его друг, а в жизни частенько выбирают не истину, а Платона... Павел Косенко — умница, эрудит, он тоже все понимает, и понимает, что журнал, в котором он пятнадцать лет работал заместителем главного редактора, в лучшие годы добивался популярности совсем иным способом. Но Павел осторожен, осмотрителен... Кто еще?.. Валерий Буренков, приятель Толмачева...

Остальные?.. Мнение наших, редакционных, мне известно заранее... Ну, что ж, в любом случае — я сделал все, что мог.

— Кто желает высказаться? — Закончив чтение, Толмачев торопливым, скользящим взглядом пробегает по неподвижным, закаменевшим лицам.

Молчание.

Долгое-долгое молчание.

Мне становится смешно: словно перед командой "Пли!.." Это когда-то. А в наше время — "Огонь!.." Глупая мысль, но губы мои ползут, растягиваются в усмешку, сдержать которую нет сил.

Раньше я был один на один с редакцией, теперь — с редакцией плюс редколлегией... Только и всего.

— А о чем тут говорить? — агрессивно произносит Иван Щеголихин и поднимается, распрямляясь во весь свой великолепный рост. — И вообще — что это за тон у Герта в его... письме? Кто такой Герт, чтобы так с нами разговаривать?.. Не вижу смысла в каком-либо обсуждении. Цветаева или Герт?.. Я выбираю Марину Цветаеву!

Щеголихин — один из самых видных русских писателей Казахстана. Автор немалого числа книг, нескольких биографий, выходивших в Москве, в серии "Пламенные революционеры"... Он садится. От него дышит жаром, как от раскаленной печной дверцы. Случайно получилось, что мы сидим рядом, я всем телом чувствую этот жар. Мы знаем друг друга двадцать пять лет, когда-то вместе работали в журнале... Я мог бы ему кое-чем ответить, но не хочу. Я все сказал в письме...

— Герт предлагает запросить специалистов... — то ли утвердительно, то ли вопросительно произносит Дмитрий Федорович Снегин, сидящий напротив Толмачева, перед редакторским столом, и, обернувшись, смотрит на меня. Сложные чувства сплетены в этом взгляде из-под прямых, широко раскинутых бровей на красивом, скульптурной лепки лице. Он похож на памятник, сошедший с пьедестала, оживший, но не до

конца, хранящий в фигуре, движениях, мимике невозмутимую величавость писателя-классика, в прошлом — фронтовика-панфиловца, еще недавно, считалось, друга Кунаева... По природе незлой человек, он, будучи долгие годы секретарем Союза писателей, относился ко мне с покровительственным сочувствием, случалось, и помогал. Вот и сейчас в его глазах — и сочувствие, и упрек, и жалость: мол, что же это вы, Юра?.. Для чего это вам было надо?.. Как вас угораздило?..

— Да, — откликается Толмачев на его полувопрос, полу ни к кому не обращенные, повисшие в пространстве слова, — тут названа... — Он упирается взглядом в заключительный абзац моего письма - Са-а-кянц... — врастяжку повторяет он, должно быть, впервые встречая это имя.

Какая-то волна, похожая на затаенный вздох, пробегает по комнате. Меня обжигает догадка: Герт, Саакянц... Не важно, что Саакянц — крупнейший в стране специалист по творчеству Марины Цветаевой. Это не важно. Важно, что Герт... Да, вот именно — Герт... Называет не кого-то, а именно Са-а-кянц... И они, Герт и Са-а-кянц, будут судить нашу Марину Цветаеву!..

Мне противно от своей догадки, додумавшись до нее, я становлюсь противен сам себе.

Кто-то говорит, что "Вольный проезд" нужно прочесть всем членам редколлегии, есть такие, кто не читал... Косенко, Мурат Ауэзов, Санбаев... Нужно прочесть — и снова собраться...

Остальные читали. И согласны со Щеголихиным, которого, видно, Толмачев полностью посвятил в наши споры. Иначе откуда взяться такой лапидарной формуле: "Герт или Цветаева"?.. Ведь в письме об этом ни слова.

— Снова собираться?.. Зачем, проще сообщить мне свое мнение по телефону или письменно, — говорит Толмачев.

Вот и все. Напрасно я думал, что кто-то возразит Щеголихину. Его не любят в редакции, но неприязнь (или ненависть?) ко мне пересиливает.

Редколлегия закончена. Все встают, выходят из кабинета Толмачева, с преувеличенным усердием и радостью разгибая затекшие суставы. Я тоже выхожу — один.

45

Все выходят и, как обычно, идут пить кофе... Я сижу в своей комнате, среди пустых столов. Мне вспоминается, как — еще при Шухове — мы всей редакцией пробивали повесть о Матери Марии. То была первая у нас в стране обстоятельная публикация

о судьбе Кузьминой-Караваевой, и рассказывалось в ней не только о Блоке, об эмиграции, о французском Сопротивлении — рассказывалось о лагере Равенсбрюке, где Мать Мария пожертвовала собой, спасая молоденькую еврейскую девушку... Мы пробили-таки, напечатали эту повесть...

46

Я иду к Толмачеву. Он в кабинете один, собирается уходить...

— Послушай, — говорю я, — может, не станем тянуть дальше? По положению я обязан ждать два месяца, прошел месяц. Подпиши мое заявление.

— Так я и знал, — Толмачев, уже накинув было пальто, опускается в кресло. Вид у него огорченный.

Да, хотелось мне сказать ему, ты знал... Знал, к кому обратиться, кто будет третейским судьей... Щеголихин — талантливый писатель, но — смятый, сломленный жизнью человек: когда-то, при самых нелепых обстоятельствах, уже в мирные дни, дезертировал из армии, жил под чужим именем, был судим, отсидел три года. Колючая проволока, природный дар и чрезмерное, хотя и свойственное литераторам тщеславие, определили его характер. Точнее — бесхарактерность: он - человек без позиции, всегда там, где сила. В годы "оттепели" — с "новомировцами", потом — с новыми хозяевами положения. Понадобилось — и он предал свой журнал, своих друзей — Ровенского, Белянинова, Симашко. Предал Ивана Петровича, чей портрет украшает кабинет Толмачева. Когда-то написал повесть, в которой обрушивался на антисемитов... Повесть не напечатали, но так было тогда *модно* — и он, повинуясь моде, ее написал. Теперь в моде другое поветрие... И он его чует. Он принципиально беспринципен — вот его стратегия и тактика, его счастье и несчастье... Винить во всех бедах России евреев — безопасная, выгодная, патриотическая позиция. К тому же в журнале начинается публикация его нового романа...

Снегин... Будучи в чести и у власти, увенчанный всеми лаврами и регалиями, никому долгие годы не делал гадостей, не ставил подножек — правда, и не защитил никого, не избавил от клеветы, напраслины, от прямых обвинений в щедрое на все это "время застоя". Но многие знают — и Толмачев тоже, разумеется, — что в 1949 году, будучи секретарем Союза писателей, он выступил в газете с разгромной статьей, где назвал трех космополитов, "участников антисоветского подполья" — Домбровского, Варшавского, Жовтиса. Вскоре Юрий Домбровский

был арестован, Варшавскому и Жовтису тоже пришлось не сладко... В 1963 году — новый казус: нашумевшая, дважды профигурировавшая в "Известиях" история с публикацией антисемитской повести некоего московского автора. Не припомню, чтобы за подобный криминал у нас кого-то наказывали... А его-таки сняли с редактирования журнала, в котором та повесть появилась. Не стоило бы ворошить давнее, только — к чему было прибегать к суду столь большого специалиста по национальным проблемам?..

Я мог бы все это выложить Толмачеву, но зачем? Все это ему было известно. Пожалуй, даже лучше, чем мне.

47

— Сегодня четверг, - сказал он. — Подожди до понедельника, в понедельник я подпишу.

Тон у него был просительный.

Я согласился.

Мне отчего-то стало его жаль и вспомнился рассказ Джека Лондона "Убить человека". Принято говорить о том, какого мужества, отваги, внутренней борьбы требует благородный, героический поступок. Подлость тоже нуждается в мужестве, отваге, мобилизации душевных сил...

48

В понедельник я в последний раз был в редакции: продиктовал несколько писем авторам, раздал работникам отдела рукописи, отобранные для публикации, выбросил бумажный сор, накопившийся в ящиках стола. За этим делом я дольше всех задержался в редакции, уходил, когда все уже разошлись.

Двадцать три года журнал для меня был вторым домом, второй семьей... Я знал, что никогда больше не перешагну его порога.

Но дело-то, собственно, заключалось не только во мне, а точнее — и вовсе не во мне.

49

"В начале было Слово", как сказано в Библии.

В начале были слова, произнесенные интеллектуалами (по нынешней терминологии), да какими! К примеру, вот что писал один из величайших гуманистов, поэт, рыцарь свободной мысли, борец с мракобесием Вольтер:

"Евреи никогда не были физиками, геометрами или астрономами; у них не только никогда не было общественных школ для воспитания молодежи, но даже термина, обозначающего такие учреждения, нет на их языке... Наконец, они просто невежественный и варварский народ, с давних пор соединивший самую мерзкую скаредность с самыми отвратительными предрассудками и с вековечной ненавистью к народам, которые терпят и обогащают их".

Фихте, один из духовных вождей немецкой нации, философ, глубокий мыслитель:

Евреи..."являются обособленной и враждебной державой, находящейся в состоянии беспрерывной войны со всеми другими государствами и тяжело угнетающей некоторых из них... Я вижу лишь один способ дать им гражданские права: ночью обезглавить их всех и приставить им другие головы, в которых не осталось бы ни одной еврейской идеи..."

Достоевский... Человечество не устает повторять сказанное им о слезе ребенка. Думаю, эта фраза достойна того, чтобы причислить ее к десяти заповедям — одиннадцатой!..

Но вот что он писал:

"... Вместо того, чтоб... влиянием своим поднять уровень образования, усилить знание, породить экономическую способность в коренном населении, вместо того еврей, где ни поселялся, там еще пуще унижал и развращал народ, там еще больше приникало человечество, еще больше падал уровень образования, еще отвратительнее распространялась безвыходная, бесчеловечная бедность, а с нею отчаяние. В окраинах наших спросите коренное население: что двигает евреем и что двигало им столько веков? Получите единогласный ответ: безжалостность..." И еще, утверждал он, евреи "и теперь неуклонно ждут Мессию... они верят все, что Мессия соберет их опять в Иерусалиме... и чтоб не иметь нового отечества, не быть прикрепленным к земле иноземцем... следует иметь все с собою лишь в золоте и драгоценностях, чтобы удобнее их унести... в Палестину".

Вот слова трех гениев, трех светочей на пути гуманизма, по которому с немалым трудом движется человечество. Сказанное ими о еврействе — малость, частность, если представить себе их творчество в целом. И, думается мне, взгляды эти находятся в противоречии с глубочайшими истинами, которые каждый из них

поведал миру...

Да и — кто я такой, чтобы, не соглашаясь с приведенными выше словами, в чем-то попрекать, а тем более — навешивать расхожие ярлыки на грандиозные, монументальные эти фигуры?..

Помимо всего — ведь то лишь слова, слова, слова... Я уверен, Вольтер, Фихте и Достоевский, какие бы слова они не произносили, ничьей крови не жаждали, в том числе и крови не слишком-то любимого ими еврейского племени... И окажись, например, Федор Михайлович спустя четыре года после того, как написаны им были приведенные выше строки, — окажись он в Одессе[5] во время знаменитого, длившегося три дня и три ночи погрома, он первым бы кинулся наперерез погромщикам и заслонил собой какого-нибудь маленького, в курчавых волосенках *жидочка* (он питал слабость к этому именно слову)...

[5] Имеется в виду одесский погром в мае 1881 г.

И нужно было, чтобы случилось еще многое и многое, чтобы Фридрих Ницше, *новый человек* (а те трое, несомненно, были *старые, архаичной морали* люди) возвестил свое Анти-Евангелие и доказал пошлость и лживость десяти заповедей, и чтобы человечество, пройдя через первую мировую войну, привыкло к запаху гниющего, разлагающегося человеческого мяса, а к убийству — как занятию будничному, отчасти заурядному, отчасти патриотичному, и чтобы на смену Великим Титанам Духа явились титаны помельче, и даже вовсе не титаны, а разносчики, преобразователи высказанных задолго до них идей, и приблизили эти несколько абстрактные идеи к практической жизни — я имею в виду, скажем, Освальда Шпенглера, с горечью объявившего в "Закате Европы", что гуманизм умер, изжив себя, француза Жозефа Гобино, в изящном по стилю труде "О неравенстве человеческих рас" возвестившего, что понятие расы — главнейшее из всех исторических категорий, а из рас главнейшая — арийская, а из арийцев самые ариистые — немцы, и чтобы мысли его подхватил и развил дальше английский аристократ Хьюстон Стюарт Чемберлен, который благословил перед смертью (он умер в 1927 году) Адольфа Гитлера на грядущие подвиги, а кроме того — доказал, что Иисус Христос являлся чистокровным арийцем, — все это и многое другое должно было произойти и утвердиться в мире, чтобы впоследствии оформиться в чеканных параграфах "Нюрнбергских законов" в Германии.

И вот как это выглядело:

"ИМПЕРСКИЙ ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 1935 г.

Рейхстаг единогласно принял следующий закон, который ниже публикуется:...

Еврей не может быть гражданином империи. Он не имеет права голоса в политических делах; он не может занимать публичную должность...

Фюрер и рейхсканцлер *Адольф Гитлер* Рейхсминистр внутренних дел *Фрик* Заместитель фюрера *Ф. Гесс*, рейхсминистр без портфеля"[1]

Далее делом занялись уже юристы, для которых важны не философские эссе и политико-нравственно-патриотические декларации, а отточенные формулы, регулирующие правовые нормы жизни. Так, например, евреям запрещалось состоять в браке или вступать во внебрачные отношения с лицами германской крови. Евреи лишались права голсса ("Рейхсгезетцблатт", 1936 год, часть 1, стр. 133). Евреям запрещалось занимать официальные должности или состоять на государственной службе ("Рейхсгезетцблатт", 1933 год, часть 1, стр. 227). Евреям-врачам запрещалось заниматься частной практикой, в том числе зубоврачебной ("Рейхсгезетцблатт", 1939 год, часть 1, стр. 47). Евреям запрещалось заниматься юриспруденцией ("Рейхсгезетцблатт", 1938 год, часть 1, стр. 1408). Евреям запрещалось заниматься делами печати и радио ("Рейхсгезетцблатт", 1933 год, часть 1, стр. 661). В 1938 году их исключили из деловой и экономической жизни Германии ("Рейхсгезетблатт", 1938 год, часть 1, стр. 1580). А несколько ранее им запрещалось заниматься сельским хозяйством ("Рейхсгезетцблатт", 1933 год, часть 1, стр. 685), и тогда же - пользоваться тротуарами, транспортом, увеселительными заведениями и ресторанами ("Рейхсгезетцблатт", 1933 год, часть 1, стр. 1676) и т.д. и т.п.[6]

[1] *"Нюрнбергский процесс", т. 4 стр. 684.*

[6] *Там же, стр. 659 — 662.*

Тем не менее, все это еще не решало проблемы. И потому Альфред Розенберг, автор книги "Миф XX века", заявил; "Еврейский вопрос будет разрешен только тогда, когда на европейском континенте не останется ни одного еврея".

Что именно имел в виду Розенберг под освобождением европейского континента от евреев — переселение их на Мадагаскар, в Уганду или Палестину, о чем и сами евреи-сионисты начали толковать еще в конце прошлого века, после дела Дрейфуса и российских погромов?.. Не знаю. Но, сдается мне, мысли Альфреда Розенберга совпадали с мыслями его

старого товарища по партии Ганса Франка, который, беседуя с самим собой в собственном дневнике, писал: "Я, конечно, не могу истребить всех вшей и всех евреев в течение одного только года, но с течением времени... эта цель будет достигнута".

Тем не менее, не станем упрощать. Поскольку перед всеми, радетелями о чистоте национальной культуры, о выделении ее из мешанной-перемешанной за столетия-тысячелетия культурно-исторической среды рано или поздно встает мучительный вопрос: кого считать истинным сыном (дочерью) своего народа и кого — не считать?.. В Германии занялись этим всерьез.

По тем же "Нюрнбергским законам" лица, у которых оба родителя — евреи, подлежали "депортации", т.е. высылке или заключению в концлагеря. Те же меры следовало принимать по отношению к "полукровкам", т. е. имеющим одного родителя-еврея.

У кого же еврейской крови одна четверть, т.е. лишь один из дедушек или одна из бабушек являлись евреями, те могли жить, но полноценными гражданами не считались: они не могли занимать должности в государственных учреждениях, быть членами партии, служить в армии. Им не разрешалось лечиться в общих больницах, посещать общественные учреждения для арийцев, пользоваться бассейнами, стадионами, предназначенными для арийцев, и т.д. Однако желтой повязки со звездой Давида они могли не носить.

Зато имевшие одну восьмую еврейской крови могли работать всюду, кроме *особых* госучреждений, аппарата партии, СС и т.д.

Здесь мысль германских национал-патриотов шагнула далеко, но — на законе, гласно принятом и единогласно одобренном, не задержалась. Впереди была цель столь высокая, что никакой закон уже не мог до нее дотянуться...

Цель была — освободить Германию, Европу от коварнейшего, безжалостнейшего врага, т.е. уничтожить евреев только за то, что они — евреи.

Их уничтожили: шесть миллионов человек. Из принципа, которым нельзя поступиться.

После 1933 года в Германии возникло множество концлагерей. Обращение с заключенными в этих лагерях было жесточайшим. Их морили голодом, избивали, над ними всячески измывались. Так поступали с политзаключенными - коммунистами, социал-демократами, интербригадовцами, воевавшими в Испании. Но на территории Германии никого не убивали в газовых камерах. Лагеря смерти - это нечто другое в сравнении, так сказать, с *обычными* лагерями. В лагерях смерти люди не *успевали* умереть от голода. К платформе подходил

поезд из 30, 40, 60 вагонов, и через два часа все, кого привезли в этих вагонах, оказывались уничтожены[7].

Между прочим, когда германские патриоты, оравшие "Дойчланд, Дойчланд, юбер аллес!", еще не догадывались об истинных намерениях отцов нации, в Европе и Америке уже понимали, к чему идет дело. В 1938 году во Франции, в городе Эвиане состоялась по инициативе Рузвельта конференция, посвященная проблеме беженцев из Германии и тех, кому грозили там преследования. На конференции присутствовали представители многих держав, гремели речи, полные пафоса и гнева. Но принять к себе нарастающий поток беженцев не вызвалась ни одна страна, кроме Доминиканской республики: ее делегат сообщил о готовности своего правительства принять 100 000 человек...

16 декабря 1941 года Ганс Франк, генерал-губернатор оккупированной Польши, произнес в Кракове речь: "Поскольку дело касается евреев, я хочу сказать вам совершенно откровенно, что с ними надо покончить тем или иным способом. Что нужно делать с евреями?.. Господа, я должен просить вас отказаться от всякого чувства жалости. Мы должны истребить евреев, где бы мы их ни находили, и всякий раз, когда это только возможно. Мы должны найти путь, который ведет к цели, и мои мысли работают в этом направлении. Устарелые взгляды не могут применяться для выполнения такой исключительно важной и единственной в своем роде задачи..."

20 января 1942 года в Берлине, на улице Ванзее состоялась конференция (она так и фигурирует у историков фашизма — "конференция в Ванзее"), на которой ответственнейшие главы партии и государства приняли решение — отправить евреев из рейха "на восток", и не только из рейха, но также из Австрии, Богемии, Словакии. Речь шла о "переселении"...

В переводе с нацистского языка на человеческий "переселение" означало "истребление".

"В лагере Освенцим в течение июля 1944 года ежедневно убивали 12 тысяч евреев...Так как крематорий не мог пропустить такое количество трупов, то они сбрасывались в глубокие ямы и засыпались негашеной известью..."

"В марте 1942 года немцы приступили к сооружению лагеря Треблинка-Б близ Треблинки-А... Среднее число евреев, которые доставлялись в лагерь летом 1942 года, достигало двух железнодорожных эшелонов в день. Но были дни, когда это количество превышалось..."[8]

На "конференции в Ванзее" было подсчитано, сколько евреев живет в каждой европейской стране и в Европе в целом.

Получилось — 11 ООО ООО человек. Решая ”еврейский вопрос", их уничтожили больше половины. Так что, как видим, "вопрос" этот при всем старании не удалось разрешить до конца...

Не думал и не думаю спорить с антисемитами. Мне хотелось лишь проследить, какие странные, иной раз парадоксальные связи возникают между Словом и Делом... Вольным изложением раскованной мысли и пеплом Освенцима... Да и в том ли только парадокс?..

Ведь вот какие горькие пассажи откалывает история! "Евреи, евреи, кругом одни евреи..." — пелось в одной веселой и легкомысленной песенке. Не "одни евреи". С евреев — началось, о них, как о главном враге немецкого народа, Германии, всего мира говорилось в программе национал-социалистической партии, принятой в 1920 году. Но в развязанной фашистами борьбе за "новый порядок в Европе", как известно, погибло 50-55 миллионов человек, ранено было — 35-37 миллионов, от вызванных войной голода и эпидемий умерло 8-12 миллионов, 18 миллионов прошли через лагеря различного назначения, и были это... Стоит ли перечислять народы, нации, страны, чьими сынами и дочерьми они являлись?.. Как известно, запасы газа циклон-Б, оставшиеся неизрасходованными, рассчитаны были на 20 000 000 человеческих жизней, что значительно превышало количество евреев, проживавших в Европе до войны...

Так что — таким ли уж еврейским оказался *на деле* "еврейский вопрос", горячивший многие головы в прошлом, горячащий немало голов теперь?..

50

О черная гора.
Затмившая весь свет!
Пора — пора - пора
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей
Отказываюсь — быть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз — по теченью спин...

Как-то в начале февраля я вышел на улицу. Воздух был прозрачен, с неба струилась чистая, пронзительная синева, деревья, их голые стволы и безлистые ветки, влажные от стаявшего снега, нежились в солнечных лучах — будь то черные, корявые карагачи или светлые, в щетине упругих, тоненьких прутиков березки... Такое случается в Алма-Ате: в середине календарной зимы вдруг является весна. Все печали тогда пропадают — вместе с острыми зелеными травками, торчащими сквозь осклизлую прошлогоднюю листву, вместе с набухающими почками ты чувствуешь, что — жив, жив, черт возьми! Пока еще — жив!.. И хотя все остается вроде бы совершенно , по-прежнему, ничто не изменилось — волна счастья накатывает откуда-то, подхватывает, поднимает — и несет, несет куда-то!..

Такое вот счастливое чувство накатило на меня в то утро. Может быть, с той же закономерностью, с какой за вдохом следует выдох, а за выдохом - вдох, горечь и ожесточение сменяются у нас периодами доброты, умиления, стремлением видеть на первом плане гармонию и приязнь. Или то попросту были золото и голубизна, разлитые вокруг, тонкие голые ветки, которые источали неодолимое ощущение бесконечной шири, простора и — надежды? Или я впервые — не умом, а сердцем — почувствовал — какое это счастье: не идти в редакцию, не дожидаться в судорогах разговора с автором-графоманом, когда ты волей-неволей чувствуешь себя палачом, не править бездарные рукописи, которые по тем или иным, только не литературным соображениям необходимо напечатать, не внимать рацеям Толмачева, произносимым с таким видом, будто ему известно нечто секретное, государственное, некая сверхтайна, о коей тебе не положено знать, и не тащить домой папку с рукописями, чтобы читать их вечером и следующим утром — чтобы выполнить обещание, которое ты дал или автору, или ответсекретарю, или главному редактору...

— Свободен, свободен, наконец — свободен! — сказал я себе, повторяя слова, высеченные на могиле Мартина Лютера Кинга. Я проводил по солнечной, праздничной улице до остановки жену и Сашеньку, нашего внука, на прощанье вытянул у него из правого ушка и вложил ему в губки конфетку "Золотой ключик", такая у нас была игра, поцеловал напоследок в бледненькие, отечные под глазами щечки, поймал — уже сквозь автобусное стекло — коротенький взмах его ладошки, потом вернулся домой, расположился за машинкой — несколько часов полностью были *моими,* и рукопись, над которой я работал, — *моей,* и сам я

принадлежал только себе, ну — хотя бы в реальных пределах, ограниченных издательством, Союзом писателей, цензурой, КГБ, парторгами разных ступеней, а кроме того — десятком болезней, которые делали меня невольником не только чести, но и лекарств, аптек, разводящих руками врачей и т.д. и т.п., — и все же, все же, все же!.. Немыслимая свобода свалилась на меня!

Радость, пламя неземное!..

Я был счастлив.

52

После того, как я уволился из редакции, мы с женой подсчитали наши денежные возможности: она получает пенсию в 117 рублей (после двадцати лет работы преподавателем статистики в институте народного хозяйства) плюс некоторая (в общем-то смехотворная для многих, но для нас вполне достаточная) сумма на сберкнижке — гонорар за недавнюю повесть "Приговор", и решили, что как-нибудь продержимся год или два, ни от кого не завися.

Так что и тут все было в порядке.

Радость, пламя неземное!

Свет небес, сошедший к нам!..

Между прочим, недавно я где-то прочел, что из-за цензуры Шиллер заменил слово "свобода" на куда менее опасное: "радость"... Так оно и осталось: не "Ода к Свободе", а "Ода к Радости". Ну, что ж, пускай хотя бы так:

Радость, пламя неземное!..

53

Через несколько дней Володя Берденников позвонил мне и с торжеством в голосе известил, что Павел Косенко в качестве члена редколлегии официально сообщил журналу, что он — против публикации "Вольного проезда".

— И точно твоими словами охарактеризовал "Проезд", — сказал Володя. — Такое у него впечатление. А уж если Паша так считает...

— И он свое мнение изложил письменно? — спросил я, не очень-то веря услышанному.

— В том-то и дело! — сказал Володя. В голосе его звучало

ликование. А сквозь ликование — и упрек мне...

Я уже писал, что Павел Косенко, долгое время, еще при Шухове работавший в журнале зам. главного редактора, человек громадной эрудиции, талантливый критик, литературовед, умница, обладающий тонким и точным литературным вкусом, в ситуациях критических бывал нередко чрезмерно осторожен. Это качество, мне кажется, характерно для всего нашего (мы с ним сверстники) поколения. Когда оно. это свойство, возникло, вгрызлось в кости, разъело душу, обучило лукавству, праведному и неправедному, когда кукиш, упрятанный в кармане, мог быть принят и за проявление гражданской отваги, и за небольшого размера яблоко или грушу, а то и за скомканный носовой платок?.. Не знаю, да и не в том суть. "Поколение", — говорю *я*. Но ведь к этому поколению — "детей двадцатого съезда", "шестидесятников", "инакомыслящих" — принадлежали те, кто — вторя отцам — угодил за колючую проволоку, кто занялся печатанием и размножением "Хроник" и самиздата, кто эмигрировал, в надежде создать там, в зарубежье, новые "Колоколы" и "Колокольчики", дабы будить Русь... Но в огромной массе наше поколение - симбиоз доблести и осторожности, честных, самоотверженных порывов и двурушничества, внутренней независимости и стояния на коленях, а то и на задних лапках, точь-в-точь пес, которому на влажный нос положен кусочек сахару, а в данном-то случае — даже не сахару, а ломтик простого хлеба, ибо и его — без верной службы строю, начальству, всевластному государству — не будет... И в результате — размятая, расплющенная в блин жизнь, изувеченные идеалы, загубленные, или — в четверть, в восьмую, в шестнадцатую часть осуществленные, воплощенные в дело способности...

И вот — Павел попер против Толмачева и всей компании... Это меня удивило. "Даже Павел..." Ну, уж если "даже Павел"!.. Значит, не только мы с женой, не только Галина Васильевна... Я хотел позвонить Павлу, да постеснялся: вышло бы, что дело не в "Проезде", а в наших личных отношениях, т.е. — вышла бы пошлость...

А через день или два — новая весть: Мурат Ауэзов, тоже в качестве члена редколлегии, поддержал мою точку зрения.

Это меня удивило меньше, а правду говоря — не удивило совсем. От Мурата всегда можно было ожидать самого неожиданного. Еще в годы своего студенчества он был одним из авторов сборника философско-этнографических статей о специфических особенностях "кочевой цивилизации" казахов. Сборник сожгли, как-то я видел мимоходом один из уцелевших

экземпляров... В конце шестидесятых я возвращался из Москвы, в самолете наши места оказались рядом. Несколько часов мы беседовали, Мурат рассказывал об Индии, где провел несколько месяцев, показал (по тем нормам жизни — знак немалого доверия) книгу Солженицына, которую вез "оттуда"...

Постоянно до щеголеватости аккуратно одетый, изысканно-сдержанный в манерах, с ровным, негромким, мягко журчащим голосом, с добрыми, большей частью печальными глазами, он казался мне принадлежащим к утонченной, не очень многочисленной, интеллектуальной казахской элите, нерасторжимо связанной со своим народом, но не разделяющей его предрассудков, что, впрочем, свойственно духовной элите любого народа... Он присутствовал и на редколлегии — той самой, последней для меня в журнале, но — молчал, поскольку еще не читал рукописи Марины Цветаевой...

Для него выразить свое мнение, встать поперек дружно шагающей колонны было не проще, чем мне...

Мало-помалу спускался с горних, порядком замороженных высей Александр Лазаревич Жовтис: академист, резко разделяющий жизнь, "социальные вопросы", злобу дня — и как бы вневременную, по законам вечности созданную литературу, он все отчетливей ощущал колебания и толчки у себя под ногами... Морис Симашко, услышав о результатах редколлегии, каждый день гремел в телефонную трубку, от яростных филиппик в адрес антисемитов всех времен и народов переходя к оптимистическим предсказаниям, что Толмачев одумается, поймет, что наделал глупостей... В газетах, между тем, появились материалы, к которым еще надо было привыкнуть. "Московские новости" писали:

"...Телевидение Австрии показало репортаж своего московского корреспондента Франца Кесслера об объединении "Память" и интервью с одним из его лидеров — Дмитрием Васильевым.

Ф.Кесслер: На мой взгляд, это явление вполне вписывается в определенную традицию, сформировавшуюся в дореволюционной России. Я имею в виду противоборство в обществе двух течений. Одно отстаивало те же идеалы, что и европейское Просвещение... Другое было антипросветительским и антизападным — не в политическом, а в социально-культурном плане. Его я условно назвал бы русско-мистически-религиозным. Подобные настроения, на мой взгляд, и отражают сегодня как сама "Память", так и некоторые литературные круги... Меня пугает то, что лидеры "Памяти" поставили своей целью распространить убеждение: за всеми негативными явлениями в жизни советского

общества стоит некий клан, центр, который, так сказать, "дергает за нити", который сознательно ведет подкоп под русский народ, целенаправленно разрушает его духовно и физически. Васильев этот центр называет "всемирным сионизмом"... Васильев отрицал, что является антисемитом, говорил, что не имеет ничего против еврейского народа и его представителей. Однако его высказывания носят явно антисемитский характер. И разговоры о некоем "сионистском заговоре", конечно же, подразумевают призыв к русскому народу защищаться. От кого? Опять-таки от лиц еврейской национальности... Васильев утверждал в разговоре со мной, что у "Памяти" в одной лишь Москве 20 000 членов, поддерживающих контакты с 30 русскими городами.,. "Протоколы сионских мудрецов" на Западе признаны фальшивкой и расцениваются как своего рода "библия" антисемитизма. В этом смешении всего и вся утрачивается любой рациональный смысл. Идейная платформа "Памяти" как раз и является иррациональней. В этом ее опасность... Деятельность "Памяти" нельзя недооценивать. Однако, общество, обладающее подлинно демократическими структурами, способно противостоять любым экстремистам и надежно защитить себя от них с помощью закона...

Ну-ну, — думал я, читая "Московские новости", - "с помощью закона..." И вспоминал — о милиционере, который стоял в двух шагах от оратора-погромщика в Измайловском парке и толковал растерянной женщине про демократию...

Интервью с Кесслером было напечатано в номере "МН" от 14 февраля. А две недели спустя, 28 февраля 1988 года, разразился Сумгаит.

54

Это потом, несколько позже, пришла мне очень простая, лежащая прямо на поверхности мысль... Но отчего путь к самому простому всякий раз оказывается таким сложным? Не потому ли, что любую, даже очевидную для всех истину ты должен еще и как бы заново открыть для себя? Самостоятельно пройти сквозь пекло сомнений, боли, отчаяния, и только тогда...

Только тогда понял я, что при всей многосложности национальных проблем в конце-то концов их можно разрешить, если не появится кто-то... Или даже так: КТО-ТО... Если не появится КТО-ТО, кто хочет разделять, чтобы властвовать. Прекрасно себя зарекомендовавший, отработанный веками прием.

Поскольку, я убежден, бациллы национализма таятся в организме каждого человека. Точно так же, как, по свидетельству медиков, туберкулезная палочка, вирусы гриппа дремлют — в каждом из нас. До поры до времени. Но при надлежащих условиях они могут проснуться. И тогда возникает инфекция, очаги ее стремительно разрастаются, эпидемии волнами прокатываются по странам и континентам... То же — с бациллами национализма. По какой-то причине вырабатываемые организмом, они могут играть и играют даже определенную положительную роль... Но — до того предела, пока их активность не становится угрожающей, агрессивной, не начинает требовать крови, не перевозбуждает эмоции, не превращает человека в зверя, охватывая, точь-в-точь как инфекция, достигшая уровня эпидемии, народы и нации, государства и континенты...

И так же, как при анализе любой болезни, когда стараются найти ее возбудителя, здесь закономерен вопрос: кто же?.. Кто этот КТО-ТО, для кого высшая цель - власть, ради приобретения которой все средства хороши? А названное — в особенности? Поскольку — особенно на первых порах — обеспечивает восторженные рукоплескания, титул вождя нации, сына Отечества, отца Народа и т.д.

Как все просто, когда, счищая слой за слоем наросты словес, добираешься до зловещей сути!

Но прежде чем до нее доберешься...

55

— Ты слышал, что произошло в Карабахе?.. — тревожно спросил меня приятель по телефону. Было раннее утро, я еще не успел как следует проснуться.

— В Карабахе?.. Нет, не слышал. А что там?.. И где это — Карабах?..

Все, что мне было до того известно о Карабахе, исчерпывалось песенкой Рашида Бейбутова, популярной в начале пятидесятых годов. Помню Вологду, наше студенческое общежитие, черную тарелку репродуктора — и медовый тенор Бейбутова, чуть ли не каждый день изливавшийся из ее глубины:

Мальчик веселый из Карабаха —

Так называют всюду меня...

— и дальше что-то про воду — "прохладную", "с гор — водопадную"...

— Где-то там — то ли в Армении, то ли в Азербайджане, сказал приятель. — Черт знает, что там творится... По правде, я и

сам не очень-то понял...

Вероятно, большинство людей в стране знали о Карабахе в то время примерно столько же, сколько и мы. Газеты предпочитали о нем помалкивать — по старой доброй традиции: о чем не пишем, того и не существует... Авось само собой все обойдется... Не обошлось. Из лоскуточков, рассыпанных по газетным страницам, сложилась такая приблизительно картина.

В селе, где жили армяне и азербайджанцы, шла свадьба, подогретое вином веселье сделалось не в меру шумным, буйным, наводить порядок явилось два милиционера, скандал перерос в драку, а когда кровь ударяет в голову и оружие под рукой — далеко ли до убийства?... История печальная, но, к сожалению, не столь уж редкая, финал таких историй известен: похороны, судебное разбирательство, спор о том, был ли превышен предел необходимой обороны... Но тут обычная схема была нарушена, взорвана изнутри. Поскольку свадьбу играли азербайджанцы, а милиционерами оказались армяне. И событие, имеющее уголовный характер, приобрело особое значение. Столкновение между представителями власти и подгулявшими весельчаками превратилось в столкновение между двумя народами: "Наших бьют!.." — И более того: "Наших убивают!.." "Мы..." "Они..." Может быть, в чем-то я и ошибаюсь, но в целом таким оказался сюжет, верней — его начало, завязка...

Но тут необходимо представить фон, на котором он разыгрался, а именно: давнишние счеты, которые чуть не каждый народ имеет к своему соседу, стоит постараться вспомнить (разве что комчадалы не имеют счетов с жителями Эфиопии, поскольку вряд ли так уж часто с ними соприкасались за все века своей истории); ситуацию в Карабахе, где шел сбор подписей под обращением к правительству по поводу перехода НКАО к Армении; две недели митингов в Степанакерте; пылких патриотов — как же без них, без патриотов?.. — с обеих сторон, голосящих о "священной земле предков", "корнях", извечных "врагах", т.е. в одном случае — армян, в другом — азербайджанцев... И вот тогда-то, если все это учесть, станет ясно, почему в близлежащем селе Агдаме вспыхнуло пламя и охватило сердца нескольких тысяч (кажется, газеты называли цифру "пять") и почему взбудораженная толпа хлынула на дорогу, ведущую в Аскеран, где и случилась драка.

Когда тысячи людей, жаждущих справедливости (разве думал кто-нибудь из них в те минуты иначе?..) и мести ("священной"! Разве месть бывает не "священной"?) стремительно двигались по шоссе, сметая, как щепки, — тех немногих, кто пытался их остановить, уже не было ни сил, ни слов, способных преградить

им дорогу. Райком партии, райком комсомола, райисполком — и кто там еще — их работники, руководители, открывающие совещания, занимающие места в президиумах, кого-то представляющие, читающие кому-то свои сочиненные кем-то доклады, все как один — аккуратно платящие взносы КПСС, которая обеспечила им посты и квартиры, номенклатурные должности и карьерные перспективы, все эти "верные ленинцы" и т.д. и т.п., — где они были в те минуты?.. Не знаю, об этом не удалось мне прочитать — ни в "Правде", ни в "Известиях". Но толпу, с криками, воплями, воем, в неистовстве прущую по шоссе, удалось удержать. Ее удержала, привела в чувство женщина. Она не боялась оказаться растоптанной своим народом, поскольку хотела, страстно желала одного — спасти свой народ...

(Я не видел того, что происходило тогда на дороге между Агдамом и Аскераном... Я помню другое. Мне было одиннадцать лет, когда две семьи евреев-беженцев — стариков, детей и женщин, шли среди ночи по лежащей между полями дороге, за скрипучей арбой, на которой сложены были все их пожитки... Луна громадным диском плыла между облаков над зарослями джугары и кукурузы, ишачок понуро тащил за собой арбу с восседавшим поверх поклажи арбакешем узбеком, а рой мальчишек-подростков клубился вокруг нас. Арбакеш боязливо пытался их отогнать, но кольцо вокруг сжималось, мелькали зажатые в кулаках финки. Арбакеш окончательно струсил. Он уже начал сбрасывать наши вещи на землю, чтобы убраться подобру-поздорову хотя бы самому... В этот момент из темноты возник невысокий, крепкого сложения человек с толстой суковатой палкой, на которую он, по причине хромоты, опирался при ходьбе, но которая годилась и для иных целей. Человек этот, как выяснилось потом, был рабочим сахарного завода и возвращался домой после вечерней смены, путь его совпадал с нашим. Он довел нас до пригородного поселка, до землянушки, которую нам удалось там раньше снять, и ушел, прихрамывая и постукивая своей суковатой тростью. Помню, тогда, на дороге, я боялся не столько за себя, за больную мать, сухую, горячую ладонь которой сжимал в одной руке, волоча в другой какой-то тючок или сумку, а за этого незнакомого нам человека, заслонившего нас от своры маленьких, не знающих жалости финкарей... Ему могли проломить камнем голову, могли повалить, искалечить... Но его бесстрашие — остановило, победило...).

Женщина... Что она сделала?.. Она сдернула с головы платок, подняла и бросила перед собой. "Убейте меня! — крикнула она. — Растопчите платок! Перешагните! И тогда — идите!.."

Ее звали, эту женщину, Хураман Аббасова — Хураман-ханум.

Толпа остановилась. Ее остановил не клочок материи — обычай: платок, знак материнства, материнской чести, брошенный перед мужчинами, преградил путь безумию и ярости, предотвратил кровопролитие... В те дни в газетах можно было прочесть, что Хураман-ханум хорошо знали в этих местах, она была председателем колхоза имени Ленина, Героем Социалистического Труда... Главное, мне кажется, в другом: она была Человеком.

История, случившаяся в Аскеране-Агдаме, произошла 22 февраля.

Двадцать восьмого, шесть дней спустя, был Сумгаит.

Там не нашлось своей Хураман-ханум.

56

В Сумгаите, где проживает 250 тысяч человек, погром длился три дня. По официальным данным, во время погрома было убито 28 человек.

Милиция бездействовала. Части, подчиненные МВД, стали прибывать в город, отданный во власть потерявшей разум толпе, только к исходу третьих суток, хотя от Баку до Сумгаита — сто километров, это расстояние, не слишком торопясь, можно одолеть на машине за два часа.

От фактов, процеженных прессой сквозь зубы (не по ее, понятно, вине), от клубящихся, отравивших воздух слухов, от чудовищных рассказов очевидцев, от подробностей, сообщаемых зарубежными радиостанциями, содрогнулась вся страна.

Совещание в ЦК КПСС, происходившее 9 марта, хладнокровно констатировало: "Продолжается следствие по делам о преступлениях, имевших место в г. Сумгаите". М.С.Горбачев говорил о ленинских принципах национальной политики, дружбе народов всей страны. "Ни один из вопросов перестройки не может быть сегодня решен без учета его воздействия на национальные отношения", - так излагалось в прессе его выступление, точнее — суть его речи на совещании.

"Вопросы", "учет", "отношения"... В те дни других, более человеческих слов не нашлось.

57

В то самое время, когда для меня, как и для многих, все было связано с Закавказьем, свое же оттеснено, отодвинуто, на задний план, как-то утром раздался звонок. Деликатный, исполненный

вполне перестроечного такта голос сообщил, что звонят из ЦК КП Казахстана, а именно — инструктор отдела пропаганды Устименко Анатолий Васильевич. Затем Анатолий Васильевич поинтересовался моим здоровьем (у меня чуть трубка не выпала из рук и слезы не навернулись от умиления — еще никогда ЦК КП Казахстана не проявлял интереса к моему здоровью!) и сказал, что звонит по поручению заведующего отделом — узнать, каково мое мнение о рукописи Марины Цветаевой, которую намеревается опубликовать журнал...

После похода к Кунаеву в 1983 году я поклялся никогда больше по собственной инициативе в это заведение не обращаться. Вдобавок — у меня были свои, так сказать, отношения с нынешним заведующим пропагандой. В-третьих... Но, — сказал я себе, — ведь как-никак — перестройка же! И здравый же смысл!.. И Сумгаит!.. Может, и "наверху" дотумкали, куда ведут страну наши "ба-а-альшие знатоки национального вопроса"?..

— Мое мнение изложено в письме редактору журнала и членам редколлегии, — сказал я. — Добавлять мне нечего. Можете попросить это письмо в редакции.

— М-м-м... — застенчиво (о деликатность эпохи перестройки!) отозвался инструктор Устименко. — А нет ли у вас второго экземпляра?..

— Есть, — сказал я. — Но лучше бы вы обратились в редакцию. Официально.

— Видите ли, — сказал инструктор Устименко, — нам бы не хотелось беспокоить заранее...

Позже стало известно, что в тот день инструктор Устименко обзвонил еще несколько человек: Мориса Симашко, Жовтиса, Черноголовину, Косенко с такой же просьбой: изложить свое мнение по поводу публикации очерка Марины Цветаевой.

Через день-два наши отзывы были в ЦК, на столе у заведующего отделом пропаганды Альберта Александровича Устинова.

Как я уже заметил, у нас с ним были "свои отношения"... Хотя, собственно, какие могут быть отношения между, с одной стороны, номенклатурным работником ЦК, руководителем отдела, блюстителем идейной мощи наших средств массовой информации, а с другой - рядовым литератором, да еще и с червоточинкой в анкетных данных — неблагонадежным "пятым пунктом", к тому же не членом партии, не лауреатом никаких премий, проскрипевшим двадцать три года в журнале за правкой рукописей... Дистанция непреодолимая. Но Альберт Александрович был не только идеологом республиканского

масштаба, он еще и писал стихи, пьесы, романы, а особенно — критические статьи. В этих статьях, в зависимости от того же пятого пункта, он или преисполнялся восторгом (если имел дело с "коренной национальностью"), или стремился быть "строгим, но справедливым" (если то был писатель не "коренных кровей", тут у него имелись и свои любимцы, и прямые недруги, и авторы, возможно, небесталанные, но склонные кое в чем ошибаться, вроде Анны Ахматовой или Михаила Булгакова...).

Что же до людей подозрительных, вроде меня, то тут Альберт Александрович постоянно бывал начеку. Так, например, в свое время его очень огорчила моя сатирическая повесть "Лгунья" — и была задержана в издательстве на пятнадцать лет: немало также приложил он усилий, чтобы уничтожить — там же, в издательстве — мой роман "Ночь предопределений", увенчав свой обвинительный акт против романа лестным в моих глазах, но нелестным в глазах издателей сравнением с Александром Исаевичем Солженицыным, злопыхателем и клеветником (шел 1980-й год...). Изловчился он высказаться в мой адрес и в "Литературке"... Так что я знал, с кем имею дело.

Но знал я и другое. Не будучи высокого класса литератором, он являлся среднего класса чиновником, и если сверху скомандовали: "Перестраивайся!.." — то привычная субординация требует соответствия новейшим веяниям... Так что — чем черт не шутит? Может, и Альберт Александрович обнаружит в душе своей некие живые токи и посмотрит на национальные проблемы более широко?.. Ведь вот и Горбачев заявил впрямую, что лишь антиперестроечным силам на руку нагнетать напряженность, сталкивать народы и т. д.

Что же, может быть, может быть... "Новое мышление", так сказать...

Между прочим, "новому мышлению" стоило бы осмыслить некоторые старые факты.

В начале мая 1881 года в Одессе разразился еврейский погром. Он продолжался три дня. За весну и лето в том году от погромов пострадало свыше ста еврейских общин.

В 1905 году в Кишиневе во время погрома убили 50 человек, изувечили более 500, разрушили и разграбили сотни домов.

В 1905 году в Белостоке было убито 80 человек, в Одессе, где погром длился четыре дня, убитых насчитывалось более трехсот.

В том же году в черте оседлости произошло 660 погромов.

Вне черты оседлости погромы случились в Пскове (убит 1 человек), в Орловской губернии (убито 2 человека), в Курской губернии (убито 5 человек), в Харькове (убит 1 человек), в Воронежской губернии (убито 2 человека), в Тульской губернии (убит 1 человек), в Тверской губернии (убит 1 человек), в Ярославской губернии (убит 1 человек) и т.д., всего за год убито (включая черту оседлости) 810 человек, ранено 1770 человек, материальные потери понесли 200 тысяч хозяйств.

Победоносцев, главный идеолог эпохи Александра III, предложил свою формулу решения еврейского вопроса в России: "Одна треть должна креститься, другая — эмигрировать, третья — сдохнуть с голоду"[9].

[9] *У Победоносцева имелись предшественники, столь же решительно подходившие к проблемам еврейской ассимиляции. Например, Иван Васильевич Грозный на вопрос о том, как поступить с евреями, взятыми в плен при завоевании Полоцка, ответил: "Согласных креститься — крестить! А несогласных утопить в реке Полоте". Впрочем, оба куда гуманней нынешних расистов, которым что крещеный, что не крещеный — все равно еврей...*

В погромные годы еврейская эмиграция из России достигала следующих цифр:

В 1891 году в США переселилось 111 000 человек.

В 1892 году в США переселилось 137 000 человек.

В тяжелейший погромный год (с середины 1905 по середину 1906-го) из России эмигрировало свыше 200 000 человек, из них в США — 154 000.

В 1907 году в США прибыло из России 114 900 человек.

В 1908 году — 71 900 человек.

В 1909 году — 39 000 человек.
В 1910 году — 59 000 человек.
("Еврейская энциклопедия". т. 16, стр. 266)

Кто в первую очередь эмигрировал в США? Еврейская беднота, которую не могли защитить от антисемитской политики, проводимой правительством, ни капиталы, ни образовательный ценз, ни апелляция к общественному мнению. Известно, что среди иммигрантов по количеству денежных средств, ввозимых в США, последнее место занимали евреи.

59

"Сейчас идет все усиливающийся поток русской эмиграции в Америку... Несомненно, первые пути были проложены в Америку русским евреями. Гонения и погромы, разорения и стеснения заставили их двинуться тысячами семей в Новый Свет. Здесь, в Америке, особенно ярко видно, какую огромную творческую созидательную силу потеряла Россия в безумной политике антисемитизма в его диких формах, которые нашли себе место у нас. Мы привыкли читать в истории об экономических потерях — к выгоде соседних стран — связанных с отменой Нантского эдикта во Франции, изгнанием евреев и мавров из Испании, выселением протестантских семей из католических стран, охваченных контрреформацией, обезлюдением Ирландии. Здесь мы прослеживаем тот же исторический процесс с теми же последствиями...

В массе евреев, прекрасно устраивающихся в Новом Свете, поднимающих его национальное богатство, мы потеряли часть того капитала, который история дала России и которым должны были уметь воспользоваться ее государственные люди. Может быть, не менее, чем чисто экономически, потеряла Россия культурно — ибо евреи принесли сюда не только руки — они принесли сюда и привычку к работе, направленной не только к созданию материального богатства. В истории умственной и художественной России, которая создала ее мировое положение, осмыслила работу ее политиков XVIII века, которая и сейчас творит наше право на равенство в мировом культурном состязании — еврейский элемент, входя в русское общество, был и есть элемент жизненный..."

Так писал академик В.И.Вернадский после поездки в Соединенные Штаты и Канаду в 1913 году в статье "Мысли за океаном".

"...Я отклонил совершенно категорически мысль о переезде в

Петербург. Причины? Их несколько. Во-первых, мне недавно минуло 68 лет. В эти годы вообще поздно становиться на новые рельсы и брать на свои плечи ту усиленную работу, которая связана с подобной переменой.

Имеются, во-вторых, специальные причины, мешающие мне стать именно на русские рельсы... Начать с того, что я бы не был бы, как здесь, свободен в выборе моих товарищей и учеников. Здесь, в Париже, у меня составился круг учеников и товарищей по работе, вместе с которыми мы трудимся над решением ряда вопросов. Между тем я не могу рассчитывать на то, чтобы, например, докторам Безродка и Вольману были предоставлены места в институте, так как доктор Безродка и доктор Вольман — евреи. Оба они даровитые ученые, пользующиеся известностью вследствие своих работ, своих несомненных заслуг, но они — евреи, и потому двери института были бы для них закрыты, как оказывались они закрытыми для другого моего ученика, доктора Бардаха, тоже еврея. Я рекомендовал доктора Бардаха в институт в то время, когда подбирался первый контингент профессоров. Рекомендация моя успеха не имела, и наука потеряла даровитого работника... С меня довольно и этого опыта.

Да дело и не в одной национальной политике. У нас можно быть и не евреем, можно быть даровитым ученым и остаться за флагом... В Париже мы работаем в условиях полной автономии; единственный критерий, признаваемый нами, это научная ценность работника. Вот почему я и считаю за лучшее остаться в Париже, где моя лаборатория открыта для всех русских ученых, желающих работать и способных работать. Здесь они — у себя. В Петербурге я этих условий им дать бы не мог".

Так отвечал И.И.Мечников на вопросы корреспондента журнала "Вестник Европы" в 1913 году[10], (т.е. в том же году, которым помечены и приведенные выше размышления В. И. Вернадского). За пять лет до этого, в 1908 году, И.И.Мечников был награжден Нобелевской премией. Он так и умер — в Париже, в 1916 году.

Кстати, красноречивая деталь: отец И.И.Мечникова был офицером гвардии и помещиком, что же до матери, то она, урожденная Невахович, была еврейского происхождения. Каков пассаж для ревнителей чистоты крови!

60

Нет ничего соблазнительней простейших законов логики. На них я и понадеялся (б который раз!) после звонка из ЦК. В конце

концов, кому не ясно, как сложны и опасны национальные проблемы, как трудно распутать затянутые в прошлом узлы... К чему же завязывать новые?.. Но там, в ЦК, обладают реальной властью, чтобы вырвать спички у тех, кому взбрело в голову играть с огнем, способным дома, города, страны превращать в пепелища... Разве не расизм, первоначально, в интеллектуальных играх профессоров-теоретиков забавлявший почтеннейшую публику на манер бенгальского огня, — разве не он изобрел затем газовые камеры, не он отконвоировал целые народы в специально созданные для них резервации, не он превратил в такую резервацию наш Казахстан?.. Тут не теория, с которой всегда можно — и даже заманчиво — поспорить, тут практика... Даже Альберт Александрович Устинов и тот, наверное, способен кое-что понять, а главное — почувствовать... Ведь и его, должно быть, хоть раз в жизни обожгла какая-нибудь не вычитанная из книг, а живая, дымящаяся болью история — к примеру, такая...

У нас в Караганде, отчасти даже прямо у меня на глазах, разматывался год за годом, пока не закончился катастрофой, один сюжет... Первую половину его я рассказал в строгом соответствии с действительными фактами в своих воспоминаниях о людях шестидесятых годов, что же до второй...

В целом сюжет, из которого я беру лишь самые жесткие, грубые линии, таков. В московской семье, вполне разнородной по национальному составу, что было так характерно для тридцатых годов, два брата-погодка, не придавая тому особого значения, ради торжества равноправия между родителями подбросили монетку - и тот, кому выпал "орел", записался в паспорте немцем, а второй, кому выпала "решка" — евреем. Или наоборот... Дело не в этом. А в том, что Роберт[11], у которого в паспорте значилось "немец", в начале войны был отозван из народного ополчения, посажен в эшелон, идущий на восток, и направлен в трудармию.

[11] *Имя изменено.*

Взяли его из Подмосковья, где ополченцы рыли окопы, укрепляли оборону. В столице осталась молодая жена Роберта, как и он, учившаяся в полиграфическом институте, и с нею — полуторагодовалый их сын. Далее — лесоповал, оставшиеся без ответа заявления в различные инстанции — с просьбой отправить на фронт... И наконец в 44-м Роберт — мешок, в котором при передвижении кости постукивали одна о другую: высокого роста, он весил 44 килограмма — по причине дистрофии списан, комиссован, отпущен на все четыре стороны — не столько жить, сколько умирать... Впрочем, так это лишь говорится, про четыре стороны. Предписано было добраться до Осокаровки — села в 100 километрах от Караганды, где жили раскулаченные в тридцатых

годах русские и вывезенные из России немцы, причисленные в начале войны к врагам. Добираясь до Осокаровки, Роберт, едва ворочавший от слабости языком, приметил у старушки, соседки по вагону, в узелке буханку хлеба — и, стащив ее, сошел с поезда... Он рассказывал об этом, сидя однажды вечером у нас дома, на кухне, и мы, несколько человек, из которых он был самым старым, то есть лет сорока, смотрели на рослого, стройного, седоватого человека с голубыми глазами и благородно-мужественным, из прямых линий профилем — не то Зигфрида, не то Лоэнгрина, и у всех нас ком застревал в горле и слезы вскипали на веках, когда мы представляли, как он тянется среди ночи, в темноте, к этому проклятому, благословенному, неотразимому свертку, к узелку с хлебом, и бредет, покачиваясь, к выходу, и потом, под насыпью, с урчанием глодает, жрет этот хлеб...

В Осокаровке Роберта выходила, вынянчила высланная из Ленинграда немка, пианистка, красавица, похожая на звезду эпохи немого кино — я увидел ее уже в Караганде, пожилой, прихрамывающей, с палочкой, но еще хранившей в живых карих глазах, в крупных, смелых чертах лица, в энергии движений сходство с включенными в семейный альбом фотографиями. Она была старше Роберта на двенадцать лет. В судьбе истощенного, завшивевшего, покрытого фурункулами доходяги Эвелине[12] выпала роль спасительницы..

[12] *Имя изменено.*

Стоит заметить при этом, что в Осокаровке своими тонкими, прекрасно разработанными музыкальными пальцами она не играла прелюды Шопена, а полола на колхозном поле свеклу и копала картошку. Мужа ее, полковника Гуревича, убили в Ленинграде во время блокады. Жена Роберта с тех пор, как они разлучились, ни разу не дала о себе знать. Возможно, она боялась, что тень, упавшая на отца, накроет впоследствии сына... Как бы там ни было, случилось то, что должно было случиться: Роберт и Эвелина стали мужем и женой. Кончилась война, им было позволено перебраться в Караганду, она преподавала в музыкальной школе, он закончил горный техникум и, когда мы встретились, работал главным геологом в институте Гипрошахт. Мы с женой бывали у них в маленьком, аккуратном, окруженном цветущим садиком доме. Вдоль дорожки, проложенной от калитки до крыльца, пылали оранжевым огнем роскошные тигровые лилии, невиданные на каменно-твердой карагандинской земле.

И на этом бы можно поставить точку. На домике. На рыже-золотых тигровых лилиях. На "Марше Красного Веддинга"

("Колонны, шагайте! Шеренги смыкайте! На битву шагайте, шагайте, шагайте!"), который пел Роберт, когда собиралась наша молодая компания, друзья-приятели по литобъединению. Всех нас объединяли одни и те же надежды, ненависть к сталинщине, стихи Евтушенко и - властители наших дум - Ремарк и Хемингуэй. Но "Марш Красного Веддинга" знал и пел только Роберт, в нем была его довоенная, московская, давно отлетевшая юность, "Рот-Фронт!", "Но пасаран!". Мы слушали, подпевали ему, где-то на старой пленке сохранился его негромкий, рвущийся, как бы прохваченный морозом голос...

Можно, можно, хотелось бы на том и закончить... Ах, если бы так! Но тут начинается вторая часть, накрепко связанная, спаянная с первой. Не начало, нет - продолжение, с отчаянной попыткой — все вернуть, все начать!

Однажды Роберт получает письмо... от сына, которого в последний раз видел, когда тому было год-полтора. Он живет в Москве, он женится, он приглашает отца на свадьбу. К письму приложено формальное приглашение, торжество имеет быть тогда-то в только что открытом в столице Дворце бракосочетаний... Роберт едет: единственный ребенок, сын, хочет его видеть... Как отказаться? Тем более, у них с Эвелиной детей не было... И вот - знаменитая свадебный марш, цветы, черные костюмы, белая фата на невесте. Гости. Друзья. Приглашенные. Впереди — молодые, то есть - она, прелестная, как и все невесты, и об руку с ней — он, его сын. Высокий, стройный, с прямым носом Зигфрида и голубыми глазами Лоэнгрина — такой же, точка в точку, красавец, как некогда его отец... А позади, следом за молодыми, вторая пара: он, Роберт, рука об руку... Да, с матерью жениха, то есть — своей женой... Спустя четверть века — они рядом, его плечо касается ее плеча, уголок глаза ловит — ее лоб в паутинке тщательно запудренных морщинок, ее завитой, блестящий от лака локон... Ловит столь знакомую складочку в уголках губ... И этот не то счастливый, не то горький, не то загоревшийся, не то погасший, не то просветленный, не то затуманенный взгляд его можно читать, как многотомный роман... И потом — бокалы, шампанское, хлопья пень! на паркете... И — дом: та самая квартира, старомосковская, с большой передней, с громоздким, никогда не раскрываемым кофром в углу, с обшитым жестью горбатым прадедовским сундуком, о который, помнится, он когда-то, спеша в темноте на звонок — троекратный, свой у каждого жильца — он, Роберт, расшиб колено... "А еще — помнишь?.." — “Как же, конечно! А ты?.. Ты помнишь, как однажды..." — "Правда? А я забыла..." — "Ну что ты, такое не забывается!" — И ночь. И утро. И самолет —

иллюминатор, вата облаков, клочковатые, дымящиеся их края... Все кончено. Все осталось позади. Было или не было?.. Вот сейчас — "Но смокинг! Пристегнуть ремни! Самолет пошел на снижение..." Что дальше? Караганда. Тигровые лилии. Эвелина, палочка, вечная благодарность ей — за все, за все, что сделано ею ради него. Благодарность. Не любовь...

Он был оглушен тем, что случилось. Так, уже выйдя из самолета, люди еще несут в себе забившую уши глухоту. Она не кончалась, не проходила — он жил с нею, закупоренный воспоминаниями, отсеченный от всего мира противоестественно воскресшим, ожившим чувством. И, как глухой, напрягался, чтобы различить едва пробивающиеся сквозь барабанные перепонки голоса...

Потом была еще одна поездка в Москву. Как-то — мы шли по вечерней, морозной Караганде с хрустевшим под ногами снегом — он сказал:

— Я дал себе срок: две недели. За эти две недели я должен все объяснить Эвелине и уехать, вернуться...

Куда?.. К кому?.. В Москву, в юность. В прежнюю, до мелочей знакомую квартиру. К сыну, с которым успел познакомиться, сблизиться, которому — ощутил Роберт — он так же необходим, как и сын — ему. К женщине, чей запах, оказалось, все эти годы носил он с собой — единственный, навсегда пронзивший, сжимающий судорогой сердце запах...

Зная Роберта, его щепетильную порядочность, я усомнился в том, что он осуществит свое намерение. Сможет осуществить... Да, конечно: Москва... И, помимо всего уже сказанного, помимо жилья - работа, он узнавал, его согласны взять в Министерство геологии. Помню, это меня удивило тогда: он оказался куда более практичным, чем я ожидал... Да, да, да. И выбраться, вырваться, наконец, из угольной, пыльной, продутой ветрами Караганды, из ссылки, где — за что?.. — полжизни назад он оказался и где обречен прожить до самой смерти... Да, и тысячу раз — да, по человеческой и божьей правде — он может, он должен, ведь есть же на свете справедливость — есть или должна быть! Одно только требуется доя ее торжества: переступить... Перешагнуть через Эвелину... Старуху с палочкой, хромоножку... Которую, может, он никогда и не любил, но которая — когда-то — спасла ему жизнь...

Всю волю, всю жестокость — жестокость! — на которые был он способен, собрал, сосредоточил в сердце своем Роберт. Он вел машину — старенький, мышастый "Москвичек" первого выпуска, дорога была долгой, шоссе впереди летело стрелой. Он рассказал ей все. Она ничего не сказала, даже "а я?.. А что же со мной?.." Она только плакала весь остаток пути, по сморщенным, увядшим

щекам катились, капали слезы. Может быть, она что-то уже подозревала, о чем-то догадывалась. Не знаю, не знаю. Все, о чем попросила она — подождать немного, дать ей привыкнуть...

В то самое время — так получилось — мы с женой переезжали в Алма-Ату. Немного спустя Роберт оказался в Алма-Ате в командировке, заглянул в новую нашу квартиру. Он и всегда был неразговорчив, на этот же раз — особенно: сидел в кресле, молчал, улыбался — тихо, неизвестно чему, и будто не месяц, не два, связанные с переездом, нас уже разделяли, а — годы и годы...

Через несколько дней мне позвонили друзья из Караганды: Роберт покончил с собой. Если бы кто-то, подкравшись, всадил мне в затылок топор — эффект был бы примерно такой же, как от этой вести.

Подробности стали известны потом. Вот как они запомнились мне. В воскресенье, оставшись в доме один, Роберт прикрепил к входной двери записку: "Пошел прогуляться по хорошей погоде", зашел в сваренный из железа гараж, где стоял его "Москвич", и удавился, захлестнув ремнем скобу на открытой передней дверце.

...Через год Эзелина прислала нам "Одиссею" в переводе Жуковского — в память о Роберте. Что было в этой старой, прекрасно изданной книге, в этом горьком подарке — намек на Итаку, на Пенелопу?..

Гомер, Одиссей, Телемак, Пенелопа... Я не о том. Какие боги разбили, сломали судьбу Роберта — в самом начале? И — боги ли? Или всего-навсего — все изменившая монетка, упавшая "решкой" или "орлом" вверх? А брат Роберта — с ним что случилось? Погиб на фронте — или вернулся, пережил кампанию против космополитов, "врачей-отравителей"? И — уже стариком — живет-доживает жизнь где-то в Союзе, а может — в Израиле?.. Монетка, монетка... Но что за жизнь, в которой все решает — "орел" или "решка"? Не свойства души и характера, не совесть и порядочность, не трудолюбие и знания, употребляемые во благо людям — а "пятый пункт"... Все тот же "пятый пункт", из-за которого... Поистине, если бы его не было, этого пятого пункта, его, перефразируя Вольтера, пришлось бы выдумать. И выдумали бы его те, у кого явный недостаток — способностей, трудолюбия, знаний, порядочности, ведь надо же чем-то компенсировать их отсутствие...

Когда я слышу горячие, страстные споры о духе нации, о корнях, о традициях, об истории и поступи столетий, я многое пропускаю мимо ушей. Я думаю: "пятый пункт". И вижу до яви четко ремень, на котором повесился Роберт...

13 марта (дело астрологов — объяснить, отчего именно тринадцатого) в "Советской России" появилось "письмо в редакцию" никому до того не ведомой Нины Андреевой. Газету эту мало читали у нас в Казахстане, но теперь она сразу привлекла внимание. "Не могу поступаться..." Хорошо знакомые, зловещие интонации звучали в статье. "Идеалы", "принципы", "чистота великих идей" и т.д. — прекрасными этими словами была пересыпана она, словами-масками, которые натягивали на себя палачи перед тем, как подняться на эшафот и приняться за милую сердцу работу. Ни в чем сами по себе не повинные слова, которыми начинал играть Хрущев, унимая взалкавшую свободы интеллигенцию. Слова, в которых слышалось позвякивание солдатских подковок по мостовым Праги 1968 года. Испоганенные, обесчещенные, священные некогда слова...

— Похоже, это конец перестройки, — говорили друзья. Сталинисты вновь победили...

Я зашел в редакцию "Огней Алатау".

— От нас требуют, чтобы мы перепечатали статью у себя в газете, — сказали мне в отделе культуры.

Редактор газеты Гарифуллина подтвердила:

— Нам дважды звонили из ЦК, советовали напечатать.

Я не стал досаждать расспросами — кто звонил, советовал... Но в том и не было надобности: глаза ее смотрели достаточно многозначительно.

Первым секретарем ЦК был сменивший Кунаева Колбин. На встрече с работниками Комитета по печати он выразил неодобрение роману Рыбакова "Дети Арбата" — и роман, который хотели выпустить массовым тиражом, тут же выбросили из плана.

— Так вы... — заговорил было я.

— Пока я редактор, — сказала Гарифуллина, — этого не будет.

Через две недели, 6 апреля, в "Правде" была напечатана статья "Принципы перестройки: революционность мышления и действий". В ней говорилось о статье в "Советской России": "Пожалуй, впервые читатели увидели в столь концентрированной форме неприятие самой идеи обновления, жесткое изложение весьма определенной позиции, позиции по существу консервативной и догматической". Подробно разбирая положения, выдвинутые Ниной Андреевой, "Правда" характеризовала их как идейную платформу, манифест антиперестроечных сил . Редакторы должны чувствовать ответственность за статьи и публикации. В данном случае газета "Советская Россия"... отошла от этого принципа".

Статья в "Правде" шла без подписи, как редакционная.

Говорили, ее автор — А.Н.Яковлев. Спустя некоторое время обозначился человек, стоящий за возникшей из пустоты Ниной Андреевой: Лигачев.

Две недели душевной смуты и тревог закончились. Перестройка вроде бы возвращалась на круги своя...

62

Любопытно вот что: для идеологов "Памяти" Октябрьская революция — величайшее зло, ее причина — тайный сговор евреев-революционеров. Для Нины Андреевой Октябрь — несомненное благо, евреи же являлись контрреволюционерами, мешавшими благу осуществиться. Во взглядах на нынешний этап в жизни страны "Память" и Нина Андреева сходятся: все зло — от евреев. При этом Нина Андреева, пренебрегая общепринятой терминологией ("масоны", "жидо-масоны", сионисты , слуги сатаны), поднимается до концептуального обобщения: "контрреволюционная нация".

Оно, конечно, звучит выразительно: "контрреволюционная нация"... Рука невольно начинает искать маузер... Хотя встарь говорили куда проще и доступней: "Бей жидов - спасай Россию!"

О необходимости спасать Россию от евреев, кстати, было известно давно — задолго до изобретения приведенного выше лапидарного лозунга и, тем более, задолго до появления "Памяти" и Нины Андреевой...

63

Российское законодательство о евреях (некоторые сведения)

Право жительства евреев ограничивалось так называемой чертой оседлости. Первые указы об изгнании евреев из России относятся ко времени Екатерины I и Елизаветы Петровны. С присоединением польских областей (разделы Польши) в пределах России оказывается значительное еврейское население. В Указе Екатерины II от 23 декабря 1791 г. впервые упоминается о черте оседлости (Белоруссия, Екатеринославская и Таврическая области). В конце XIX века в черту еврейской оседлости входили губернии: Бессарабская, Виленская, Витебская, Волынская, Гродненская, Екатеринославская, Ковенская, Минская, Могилевская, Подольская, Полтавская, Таврическая (кроме г.Ялты), Херсонская, Черниговская и Киевская (кроме г.Киева, где евреи могли жить только в определенных частях города). В

некоторых местностях право жительства евреев обусловливалось долговременным пребыванием их в данной местности (Курляндия) или наличностью евреев в момент присоединения к России (Кавказ и Туркестан).

В 1859 — 1879 годах евреи получили право жить вне черты оседлости, если они являются:

1) купцами первой гильдии;

2) лицами с высшим образованием (отсюда — совершенно особая роль, которую имело высшее образование для евреев;

3) аптекарскими помощниками, дантистами, фельдшерами, фармацевтами; 4) ремесленниками — без права жительства в Москве и Московской губернии; 5) отставным нижним чинам — отслужившим 25 лет "николаевским солдатам" (оба моих прадеда по отцовской и материнской линии были "николаевскими солдатами", отчего и жили не в черте оседлости, а в Астрахани).

Евреям не разрешалось покупать землю даже в пределах черты оседлости.

В 1887 году была принята процентная норма для поступающих в средние и высшие учебные заведения: в черте оседлости — 10% от числа поступающих, 5% — вне черты оседлости, 3% — в Москве и СПб. В некоторые учебные заведения доступ для евреев был закрыт совсем: в военно-медицинскую академию, в театральные училища в Москве и СПб и др.

Практически евреи не имели права на государственную службу. По положению 1870 года, число гласных и членов городских управ не могло превышать одной трети — из нехристиан; городской голова должен был избираться только из христиан. По положению 1890 года, евреи не допускались до участия в земских избирательных собраниях и съездах.

По уставу 26 августа 1827 года евреев брали в рекруты с 12-летнего возраста. В кантонистских школах их готовили к военной службе. В действительности нередко хватали даже 8-и 9-летних детей. В кантонистских школах обращали от трети до половины детей в христианство. В 40-х годах Святейший синод издал новое наставление священникам военных заведений с целью ускорить "подготовку" еврейских детей к крещению. Крестили целые отделения — поголовно, силком. Во многих случаях кантонисты предпочитали покончить с собой, но не менять веры. Известен рассказ одного из кантонистов о том, что во всей его роте в 1845 году остались лишь два еврея -остальные, отказавшись креститься, наложили на себя руки: трое перерезали себе горло, двое повесились, некоторые утопились в реке.

В конце 1840 года Николай I учредил комитет "для коренного преобразования" евреев в России". Были учреждены еврейские

училища "в духе, противном нынешнему талмудическому учению; уничтожены кагалы; запрещено ношение особой еврейской одежды; евреи разделены на полезных[13], т.е. купцов, ремесленников и земледельцев, и прочих..." Эти меры просуществовали до 1855 года, т.е. до смерти Николая I. Евреи сопротивлялись, но закончившие такие училища были первыми, в совершенстве усвоившими русский язык и впитавшими русскую культуру.

По требованию самого Николая I в 1844 г. был введен налог за ношение длиннополого сюртука, в 1848 г. — за ношение ермолки, а в 1850 г. еврейская одежда запрещается полностью.

Летом 1856 года правительство отменило положение о кантонистах, по отношению к воинской службе евреи уравнивались с остальными подданными.

В эпоху реформ Александра II рассматривался вопрос об отмене черты оседлости. За отмену высказывались многие высшие чиновники, в том числе министр внутренних дел. Однако комитет по еврейским делам отклонил это предложение, и Царь согласился с мнением комитета.

Черта оседлости существовала в России до 1917 года. Декларация Временного правительства от 20 марта 1917 года отменила все антиеврейские законы, в том числе и черту оседлости. Евреи получили наконец те же права, что и другие жители страны[14].

Вот когда в качестве официального появляется в России термин "полезный еврей", впоследствии получивший саркастический смысл.

Составлено по различным источникам, в частности по "Большой энциклопедии" под ред.Южакова, т.9, ст. "Евреи", 1902 г.

64

В апреле 1988 года продолжали развиваться события в Карабахе.

В апрельском номере "Октября" заканчивалась публикация романа Василия Гроссмана "Жизнь и судьба", изъятого органами госбезопасности у автора в 1961 году и впоследствии изданного за рубежом. Помимо грандиозного эпического полотна, изображавшего события периода Отечественной войны, читатели впервые смогли составить представление о едва ли не самой запретной теме — о еврейском вопросе в нашей стране. В том же апреле "Дружба народов" напечатала записки Якова Рапопорта —

одного из участников "дела врачей" 1953 года. Мне казалось, тщательно оберегаемому невежеству, слепоте, неинформированности в "еврейской проблеме" пришел конец. И там, в журнале, одумаются...

Ничуть не бывало. Вышел апрельский номер — и в нем "Вольный проезд".

Единственное, что меня радовало, это — что номер вышел без меня...

65

Между прочим, несколько месяцев спустя в Алма-Ату приехал из США профессор Карлинский, специалист по творчеству Марины Цветаевой. При встрече с Жовтисом он рассказал, что им и его коллегами публикация "Вольного проезда" у нас в журнале воспринята была крайне отрицательно, и присовокупил к этому следующую историю.

Когда в 1924 году Марина Цветаева предложила "Современным запискам" свой очерк, редакция эмигрантского журнала (между прочим, в Париже его издавали эсеры) пришла в смущение. Марине Ивановне было сказано, что редакция бы и рада, но... Поскольку такая публикация может дать повод для упреков в антисемитизме... Тут пришел черед смутиться Марине Ивановне, которая отнюдь не рассчитывала на подобный эффект. Она сослалась... Она сослалась на многое, в том числе — на свое стихотворение "Евреям", написанное в 1916 году. В результате было решено: предварить очерк стихотворением (см. выше: "Кто не топтал тебя..."). Что и было сделано.

Из сказанного следует: во-первых, эмигрантский журнал смутило то, что отнюдь не смутило журнал алма-атинский. Во-вторых, приславшая очерк в Алма-Ату проф. Козлова не могла не знать о публикации названного стихотворения *вместе* с очерком, но предпочла о стихах умолчать. В-третьих, впоследствии оказалось, что редакция осведомлена о стихотворении "Евреям", но... предоставить ему свои страницы не желает (это при всей своей любви к Цветаевой!..). Недавно оно было напечатано в кишиневской *еврейской* газете "Наш голос".

66

Лето 1988 года выдалось для нас с женой необычным. Сделавшись "вольным человеком", я мог располагать своим

временем. И вот мы без особых хлопот купили путевки в Чехословакию и в начале июля прогуливались по Карлову мосту. Это был первый в нашей жизни зарубежный вояж. Широченная Влтава, похожая на полноводную Оку, блестела, золотилась под ярким, но не горячим, каким-то комфортным пражским солнцем. Вереница святых и королей по обе стороны моста казалась высеченной не из камня, а из глыб сгущенного, спрессованного Времени. Готика взлетающих к небу соборов взламывала спокойные, плавные линии берегов, создавая ощущение задержанного миг и готового вот-вот вырваться из груди дыхания. Не роскошные (по нашим понятиям) витрины магазинов поражали нас, не обилие столь притягательных маленьких кафе, не великолепная, хотя и странно пустоватая для летней Праги Вацлавская площадь, не безмерная мощь собора святого Витта, и даже не Золотая улица, где в домишке, похожем на средних размеров чуланчик, проживал когда-то кумир нашей молодости Франц Кафка, а — то, что мы ходим здесь, видим собственными глазами все, что можно увидеть, щупаем все, что можно пощупать... Вот что было сногсшибательно!

Из четырех дней, отведенных на Прагу, день мы решили посвятить достопримечательности, о которой слышали давно, а именно — Государственному еврейскому музею.

Мы без труда нашли его — и не в каком-то укромном уголке, на задворках города, а — в центральной его части. Утро было свежее, небо - высокое, голубое, ровные, плотно пригнанные плиты мостовой глянцевито поблескивали, будто смазанные маслом... В начале девятого мы уже подходили к музею. И обнаружили здесь немало людей из нашей экскурсионной группы. Из них только двое, кроме нас, были евреями, остальные - русские, казахи. Всей группой отправились мы побродить по кварталу, отведенному под музей и состоящему из шести синагог, а когда вернулись к открытию кассы, уже вся улочка кишела туристами: шорты, матерчатые цветастые шапочки с узкими гусиными козырьками, спортивного вида старики и старухи, долговязые парни, девицы в мятых "бананах" и майках с выпирающими бугорками сосков. Судя по речи, в основном — немцы. Мы и потом, в поездках по Чехословакии, видели немало немецких туристов, но здесь — впервые в таком количестве... И я, честно говоря, хотя и старался возможно больше сберечь в памяти — старинное, стиснутое на маленькой площадке кладбище с надгробьями, похожими на листы каменной книги, обращенную вниз корешком: Староновую синагогу, ее косую черепичную крышу, будто рдеющую угольным жаром; белую, нарядную, как яблоня, Майзелеву синагогу; ажурную резьбу и утонченный

орнамент Испанской синагоги, от которой веет мавританской Альгамброй; ритуальные подсвечники; украшенные изречениями из Талмуда керамические сосуды; бархатные, шитые золотом покрывала для Торы, — хоть я и рассматривал все это, и дивился на каждом шагу тому, что вижу, поскольку история, культура, быт еврейского народа — *моего* народа — мне ведомы примерно так же, как и остальным спутникам по экскурсии, но в душе у меня все время червячком извивался вопрос: а немцы?.. Да, те самые туристы, которые вместе с нами разгуливают по этим залам, — что они чувствуют, о чем думают... К примеру, когда входят в эти вот помещения, залы — и видят на стенах не копии, а подлинные рисунки детей, которые в Терезина, превращенном в гетто, жили, дожидаясь, пока их погрузят в вагоны и отвезут в Освенцим. 15 тысяч детей прошли через уютный зеленый городок Терезин, прежде чем превратиться в дым и пепел. 4500 рисунков (цветные карандаши, акварель) — вот все, что оставили они. Рисовать их учила Фридл Диккер-Брандейсова. Два года жила она с ними, два года спасала от безнадежности, отчаяния... Пока и сама не стала дымом и пеплом. В соседнем зале — выставка картин, написанных Фридл: она была профессиональным художником, училась в Баухаузе, картины ее — пейзажи, портреты — хранятся в Праге, Брно, Вене. Когда за нею закрылись дверь газовой камеры, ей было сорок шесть лет.

Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной, рядом с машинкой, лежит ее портрет. На нем она — за восемь лет до гибели. Какое нежное, какое горькое, какое гордое лицо... Какие глаза... Такие могли быть у Марии, если бы ее Иисуса вели на казнь — не в тридцать три года, а — в пять, в семь, в одиннадцать лет... Мы мало знаем о Фридл, но что знаем о детях, авторах этих рисунков?

...И что знал я о людях, которые стоили перед этими сбереженными кем-то акварельками?.. Что думали они, что чувствовали?.. Почему — в Праге, обильной влекущими туристов местами, — пришли они именно сюда?.. Какими пришли — и какими уйдут отсюда?..

Не знаю, не знаю... Но сам я уходил уже не совсем таким, как пришел.

67

В то лето - такое уж свалилось на нас везенье! — из Праги мы прямиком приехали в Ригу, а точнее — в Дубулты, в писательский Дом творчества. После того, как, отлученный от редакционной

суетни, я прожил уединенно полгода, впечатлений хватало с избытком. Я сторонился, избегал новых, чтобы разобраться в уже накопившихся. Но — не я искал их, они — похоже — меня искали...

Год назад наш друг, ленинградец, человек уникальной эрудиции и не менее уникального интереса к людям, настойчиво посоветовал нам: "Будете в Риге — непременно постарайтесь повидать Клеймана. Необыкновенная личность, необыкновенная судьба... Он вам понравится". Наш друг никогда не ошибался в своих прогнозах... Но тут кое-что меня смущало. А именно: то, что Исаак Лемехович Клейман — адвентист седьмого дня. И мало того — глава местной общины... Я ничего не имел против адвентистов седьмого дня, тем более, что и знал о них крайне мало, почти ничего. Но, с юности застряв в области веры (или неверия) на агностицизме, я так и не сдвинулся с этой точки до сих пор. И боялся, что, зайди между нами разговор на религиозную тему, какой-нибудь неуклюжестью раздосадую вполне, должно быть, достойного человека... Но, с другой стороны, Клейман — один из немногих рижских евреев, узников гетто, избежавших смерти... И вот мы позвонили в городок, расположенный в ста километрах от Риги, представились — и в назначенный день, под проливным, зарядившим с ночи дождем, забрались в рейсовый автобус — "коробочку". Вдвоем — если не считать шофера — мы и ехали всю дорогу, вдвоем и приехали, вышли на автостанции, где нас уже дожидался Клейман.

Странное дело — как, отчего возникают наши душевные симпатии — или антипатии?.. Но едва мы выбрались из автобуса, едва я увидел движущуюся к нам худощавую, энергичную фигуру человека лет шестидесяти, его иссеченное складками лицо с пристальным взглядом голубых, мягко сияющих глаз, едва с характерным латышским акцентом он поздоровался с нами и распахнул дверцу своего далеко не последнего выпуска, но аккуратного, заботливо ухоженного "Москвича", как отчего-то у меня возникло ощущение не *нового,* а словно бы *возобновленного* знакомства. И с этой минуты близость между нами, особенная, греющая сердце теплота в дальнейшем лишь возрастали.

В ту первую нашу встречу Исаак Лемехович рассказал нам свою историю — охотно, без упрашиваний. Вот как она запомнилась мне.

Их семья, жившая в Риге, после прихода немцев была, как и все другие еврейские семьи, переселена в гетто. Первое время никто не догадывался о недалеком конце... Клейману было семнадцать лет, когда погибла вся его семья. Ему с приятелем удалось бежать. Две-три недели они скрывались, пользуясь

полученными в гетто адресами. Но вскоре Клейман оказался один. В городе, помимо оккупантов, за введенным немцами "порядком" бдительно наблюдали "свои": под контролем находились каждый дом, каждая щелка. У Клеймана оставался последний адрес, последняя надежда. Он пришел в "коммунальную", как сказали бы мы, квартиру, где одну из трех комнат занимали две немолодые женщины, две сестры. Они накормили его, чем смогли, но в дальнейшей помощи отказали. У них на руках уже побывал еврейский ребенок — спасая его, сестры не только себя — малыша тоже подвергали смертельному риску: соседки по квартире относились к ним с подозрением, что-то чуяли... Клейман собрался уходить. "Куда же ты?.." Идти ему — в родном городе — было не к кому. Он что-то ответил. Одна из сестер положила на стол Библию. Раскрыла — не глядя. И, не глядя, провела по странице пальцем... Обе были верующими, адвентистками седьмого дня, — русскими, коренными жительницами Риги. Строка из Библии для них явилась указанием свыше, они спрятали Клеймана у себя.

Два года он прожил у сестер. Когда они отправлялись на работу, его запирали в комнате на ключ. Как-то раз, оставшись один, он нарезал капусты и принялся варить щи. Соседки забеспокоились: откуда идет запах?.. Другой раз одна из сестер заболела, не вышла на работу, на утро за нею притопали два немецких солдата. Перешагни они порог... Они не перешагнули, остановились в дверях: устыдились загородившей им дорогу женщины в ночной рубашке, с горячечньм, полыхающим жаром лицом...

И были еще случаи, когда все, казалось, на волоске. Кто им помог? И кто — в таких обстоятельствах — в силах помочь, кроме бога?..

Так Исаак Лемехович поверил, стал адвентистом седьмого дня, поскольку в окружении сестер тоже были адвентисты, которые, подтверждая делами свою преданность вере, спасали в те отчаянные годы людей. "Своя история, в чем-то похожая на историю мужа, привела к той же вере жену Клеймана, по происхождению — русскую дворянку, с примесью польской крови. В ее истории — внешне драматизм иного рода: война, брат-партизан, предательство, гестапо, в котором оказалась вся семья, включая и грудничка, новорожденного сына брата... И снова: что спасло их всех, кроме брата, которого гестаповцы расстреляли?.. Бог? Или то, что гестаповский офицер однажды увидел, как мать застирывает под краном пеленки — и вспомнилось ему нечто такое, что жило в глубине сердца, замурованное в жестокость, верность приказу?.. Такие же пеленки в кашице младенческого

кала, и женские руки, полоскавшие их, и розовое, орущее существо, болтающее ручками и ножками в перевязочках?.. Во всяком случае, взгляд тот, брошенный немецким офицером, остался в памяти у Лидии Ивановны, сопровождавшей золовку, когда под конвоем солдат шла она к умывальнику, и в нем, в этом взгляде, полагает она, ключ к тому, что кроме брата-партизана всех их выпустили...

По пути к Клейманам и я, и жена пытались представить, не слишком ли "светской" для хозяев окажется предстоящая наша с ними беседа, но как быть, на иную мы не способны... Однако в пасторском доме жили теми же проблемами, что и все вокруг: перестройка, Горбачев, латвийский Народный фронт, договор Молотова-Риббентропа... Правда, перед тем, как сесть за стол, Исаак Лемехович прочел молитву, то есть коротко возблагодарил бога за то, что мы — живы, что встретились, что пища, которая перед нами, насытит наше тело, а любовь к ближним — душу, и выразил надежду на то, что каждый из нас будет здоров, и здоровы и счастливы — наши друзья и родные, и прощены - грехи наши и грехи наших врагов... И пока он все это говорил — не затверженными формулами, а тихими, тут же рождающимися словами, и мы, трое, слушали его стоя, мне сделалось отчего-то светлей на душе, и не пустым ритуалом показался обряд, исполненный с моим молчаливым участием, напротив — попросту сожрать лежащее на тарелках выглядело сейчас чем-то недостойным, животным, дочеловеческим...

И вот мы сидели в светлой, на латышский вкус убранной комнате — керамика, цветы, картины, удобные глубокие кресла, толстый ворсистый ковер — и говорили о рижском гетто, о гестаповском офицере, о Жанисе Липке, докере, который во время оккупации спас 55 евреев, — он являлся почетным гражданином Израиля, в Иерусалиме, в аллее Праведников, растет посаженное им дерево... В газетах писали, что рижане намерены открыть музей в доме, где он жил, где до сих пор живет его вдова Иоганна... Однако — разве только Липке? — думал я. — В Берлине — да, да, в самом Берлине! — в конце войны уцелело более четырех тысяч евреев, и несколько тысяч — в Нидерландах, и десятки тысяч в Польше. В оккупированной Европе смелыми, благородными людьми разных наций были спасены более 100 000 евреев... И "нет меры, чтобы измерить, нет числа, чтобы исчислить" мужество, нравственную силу тех, кто спасал. Конечно же, в сравнении с шестью миллионами погибших сто тысяч — это так мало... Но чтобы губить, умерщвлять в таких масштабах, не требуется ни мужества, ни благородства — один лишь организаторский талант... Но где они, где их имена, кому

известны обстоятельства, в которых Человеческое в сердцах спасителей побеждало — трусость, лукавые уговоры совести, естественное чувство самосохранения, наконец?.. Мы задыхаемся в тяжелом, кровавом, ядовитом тумане жестокости, смерти, убийства, он окружает нас, кажется непроглядным — но разве мало огней, пронизывающих угнетающую нас тьму? Обращайся мы к ним чаще — не прибавит ли это а наших сумерках света?..

Перед тем, как сесть в электричку, до которой Клейманы нас проводили, я задал Исааку Лемеховичу вопрос, по журналисткой дотошности сверливший меня все время:

— Какие строки в Библии спасли вам жизнь?

— Книга Притчей Соломоновых, глава 24, стих II, — был ответ.

По приезде домой я нашел это место, перечел и раз, и два, и пять...

СПАСАЙ ВЗЯТЫХ НА СМЕРТЬ, И НЕУЖЕЛИ ОТКАЖЕШЬСЯ ОТ ОБРЕЧЕННЫХ НА УБИЕНИЕ?

Если бы каждый из нас ежедневно повторял, просыпаясь по утрам, эти слова, сочиненные тысячи лет назад, но как будто предназначенные для нашего времени... Если бы... Если бы...

68

За столиком, расположенным рядом с нашим, в столовой Дома творчества сидела Маро Маркарян. Потом уже узнали мы, что это известная поэтесса, когда-то ее переводила сама Ахматова, печатал Твардовский... А вначале перед нами была просто маленькая, черненькая, весьма немолодая женщина, с темным — чуть светлее ржаного хлеба — лицом и глубоко упрятанными под брови большими тазами, напоминавшими ночное небо, в котором — ни месяца, ни звезд. Но такая в то лето была рассеяна в воздухе боль за Армению, так походила боль эта на принесенную ветром издалека тревожную, горькую гарь, что маленькую женщину из Еревана словно бы облако окутывала — облако сочувствия, скорби и какой-то всеобщей вины. За что?.. Да за тот же Сумгаит. За то, что мы — жили, ели, спали, ссорились-мирились из-за какой-нибудь ерунды, когда там — убивали... И за убийства те никто до сих пор не ответил. Хотя на недавней XIX партконференции столько слов говорилось о перестройке, о правовом государстве... Каверин — то было последнее лето в его жизни — худой, немощный, с трудом передвигающий ноги по дороге в столовую, поддерживаемый под руку своей секретаршей, у всех на виду обнял Маро и расцеловал — не как принято при

встрече или прощанье, а как случается, когда у людей общее горе.

Маро почти ежедневно звонила домой, в Ереван, и в ответ на осторожные наши расспросы произносила: "Там плохо..." В баре, на пляже, во время неторопливых променадов по нижнему вестибюлю только и речи было, что о Баку, Ереване, Карабахе, и все толпились у телевизоров, когда под председательством Горбачева в Москве шло обсуждение конфликта в Закавказье. Ждали взаимопримиряющих решений, справедливых и мудрых, надеялись на авторитет третейского суда — и было тягостное ощущение, что и со стороны никто ничего не решит, поскольку — "и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет..."

В День провозглашения Латвийской ССР мы с женой отправились в Ригу. Нам запомнились в прежние годы толпы народа на площади Свободы в этот день, обрывки доносимых ветром речей, милиция — и в финале тугие струи воды, бьющие из брандспойтов... На этот раз мы увидели поблизости от вокзала будто приумороженные к рельсам трамвайные вагоны, вереница тянулась к набережной, к мосту через Даугаву. Наперерез им непрерывным потоком шли празднично одетые люди, в глазах рябило от флагов, знамен, транспарантов... Но наряду с красным было немало — фифти-фифти — черного цвета: черные банты и ленточки, окантовка нагрудных значков. Это было непривычно для нас. И непривычны лозунги, написанные по-русски и по-латышски: "1940 год — начало сталинизма в Латвии", "Пакт Молотова-Риббентропа проложил путь к оккупации Прибалтики", "1940 год — нет хлеба и работы, 1988 год — нет воздуха и воды!" Или, скажем, такое: "Где-то в поселке родном кто-то грустит о тебе..." На Комсомольской набережной, рядом с Домским собором, с трибуны выступали ораторы — партработники, делегаты XIX партконференции, рабочие, артисты, представители экологического общества — по-русски, по-латышски, площадь отзывалась - то возгласами одобрения, то водопадом аплодисментов, глушивших даже динамики. Мигранты, оккупанты... Мы не все понимали, но реакция площади помогала нам — одно почувствовать, о другом догадаться. Залитая солнцем Рига, широкая, слепящая бликами река, многоцветье знамен, одушевленные, будто проснувшиеся лица вокруг... Мы любили Латвию, маленькую и гордую, каждый раз, приезжая сюда, мы бывали благодарны ей — за покой, который она сообщала душе, за ее ласковую, требующую сосредоточенности красоту. Что-то щемяще-близкое заключалось в ее истории, в том, как она, униженная, поставленная на колени, всегда сохраняла свое достоинство. Мы и сейчас были с нею, с Латвией, вышедшей на площадь... Но в какой-то миг здесь, на площади, я увидел не

черные, а зеленые знамена... И желтый, с заостренными концами полумесяц... И палки с гвоздями на концах, чащу из этих палок — перед Союзом писателей, тогда, в декабре 1986-го...

Любая медаль имеет лицевую и оборотную стороны. Но что — медаль, отлитая даже из самого дорогого металла?.. В сравнении с живой и такой непрочной человеческой плотью?.. Мы заглянули после митинга в расположенное невдалеке кафе, наскоро перекусили у стойки ароматным бульоном и похрустывающими слоеными пирожками, а когда вышли, рядом с нами оказалась немолодая, просто и строго одетая женщина средних лет, лицо у нее было порядком растерянное:

— Я заметила вас — там, на митинге... Как он вам?.. — Но ей не столько хотелось выслушать наше мнение, сколько высказаться, облегчить сердце: — Выходит, не сталинщина во всем виновата, а — мы — русские?.. Я тут живу с двенадцати лет, больше двадцати — в школе работаю, детей учу, и вдруг — на тебе — мигрантка! Оккупантка!.. Это я — оккупантка?..

Судя по всему, она была потрясена — тем, что и мы видели с нею вместе и что еще не поняли, не торопились понимать...

В то лето 1988 года уже позади были — Алма-Ата в декабре 1986-го, Карабах, Сумгаит... И впереди — Кишинев, Фергана, Тбилиси, Абхазия, Осетия, Баку, Душанбе... Все умещалось на узенькой полоске размером в какие-то несколько лет: пробуждение, проклятия прошлому, рывки к свободе, свету, духовному возрождению — и тут же: кровь, смерть, беженцы... Мутные от всесокрушающей ярости глаза... Как будто мало было этого в прошлом?..

Нас волнуют события столетней, а то и тысячелетней давности, чему тут удивляться: все мы — как атомы проволоки, по которой пущен электрический ток... Но вот парадокс: временами прошлое говорит нам больше, чем происходящее у нас на глазах... Наш друг-ленинградец предложил Исааку Лемеховичу Клейману рассказать в письмах к нему о прожитом и пережитом — так, без всякой практической цели, не рассчитывая на публикацию, просто для себя... Я попросил присылать мне копии. Вот два из этих писем — мне показалось уместным включить их, с разрешения автора, в мою книгу.

69

Письмо первое.

"Дорогой Н.Н.!

Оглядываясь нынешними глазами на былое, не хочется

называть его прошлым: более правильным представляется определить его как — продолжающееся настоящее.

Ранним утром я лежал на своем диване и сосредоточенно думал. За темным крестом оконного переплета висел большой прямоугольник голубого летнего неба. Было одно из первых чисел июля 1941 года. Рига жила спокойной, размеренной, почти мирной жизнью. Позади был кошмар депортаций и суматоха первой недели войны. Шум войны откатился далеко на восток. В городе разрушений практически не было. Все время без перебоев работал телефон, ходил трамвай, работали все городские службы. Продовольственные магазины были открыты. О карточках еще не было слышно, о возможном призыве молодежи на войну — тоже. В полицию вернулась большая часть прежних чинов. В учреждения возвращались служащие, на предприятия — прежние хозяева. Люди занимались огородами, многие отправлялись к родным в деревню, чтобы запастись на зиму продуктами — все же время военное.

Да, были немцы. Дисциплинированные, аккуратные и занятые: они шли на Москву. Свободных помещений — казарм, общественных зданий и пустых квартир для размещения частей хватало. Жителей никто не стеснял.

Но существовала еще другая Рига, к которой принадлежал я. Еврейская Рига жила страхом и наихудшими опасениями. Я уже упоминал, что опасались повальных погромов в период междувластия. Это, пожалуй, было единственное опасение, которое оказалось напрасным. Все остальное стало постепенно сбываться. Петля затягивалась медленно и неумолимо. Свода еврейского законодательства не было. Новые распоряжения объявлялись по одному и почти каждый день — новое. Второго июля ночью арестовали, якобы для допроса, евреев-мужчин. Затем последовала регистрация остальных евреев, затем — желтая звезда на левой стороне груди; через день-два — звезда и на спине: запрет ходить по тротуару; запрет ходить по центру города... Что последует дальше? Этого никто не знал.

Между той и другой Ригой не было видимого барьера. Другая Рига — это наши соседи, сослуживцы, соученики, сокурсники. Мы с ними пользовались одним языком, читали ту же литературу, смотрели то же кино, играли и слушали одну и ту же музыку. По политическим взглядам мы в общем тоже не различались. Религиозные традиции у нас, правда, были разные, но большинство из нас относились к религии не слишком всерьез. И в этом тоже мы были одинаковы.

Отчего, откуда эта бездна между нами?

Небо за окном было безмолвно и неумолимо.

Я начал вспоминать.

С тех пор, как помню себя, я знал, что мир разделяется на "мы" и "они". Самым первым моим иностранным словом наверное было слово "антисемит". "Они" разделялись на два класса по одному-единственному признаку: антисемиты и неантисемиты. Другими критериями пользовались евреи, имевшие нееврев близкими друзьями, вращавшиеся в нееврейской среде, но таких было сравнительно немного. "Обыденные" евреи, близко знавшие лишь считанных людей другой национальности, считали их антисемитами или "не-" в зависимости от того, как складывались их отношения.

Нужно оговориться. Среди нас не так уж много было темных людей, не понимавших, что в любой нации встречаются разные люди — по-разному хорошие и по-разному плохие. Мы это понимали и посмеивались над схематичностью своего же подхода. Были распространены еврейские анекдоты, полуафоризмы, "хохмы" по этому поводу. Трудно сказать, было ли это самокритикой или просто иронической констатацией естественного и, в общем, неизбежного факта. Приведу два примера, сохранившиеся в памяти.

Еврей, прочитав в газете о землетрясении в Южной Америке, спрашивает у соседа: "Извините, а для нас, евреев, это лучше или хуже?" Другой еврей попытался обмануть билетный автомат на Рижском вокзале. Когда автомат в ответ на меньшую монету билета не выдал, еврей "доплатил" разницу. И это не помогло, т.к. автомат был рассчитан только на одну монету в 10 сантимов. Когда опущенный в автомат лишний сантим тоже не подействовал, еврей уверенно определил: "Это не автомат, а антисемит".

Мы смеялись над собственной мнительностью, но наполовину всерьез пользовались вульгарным еврейским лексиконом, обозначавшим нееврев презрительными названиями "гой", "шейгец" и т. п. Мы считали, что ненависть возникла на нееврейской стороне и что мы, лишенные возможности адекватного противодействия, имеем право хотя бы презирать виновную сторону.

Когда и с чего это началось? Об этом никто толком не знал. Мы знали о многочисленных гонениях, но не знали первопричину их. Мы знали, что еврейская знать предала Христа на распятие; на само событие и на личность Христа мы смотрели по-разному, но все понимали, что в любом случае более поздние поколения не могут отвечать за деяния своих далеких предков. Кстати, для местных нееврев религиозная мотивация антисемитизма тоже не имела большого значения.

Во время оккупации многие местные жители искренне и даже сочувственно задавали нам вопрос: почему немцы гонят евреев? Мы пытались объяснить, что гонения на евреев были каким-то тактическим средством в борьбе Гитлера за захват власти, но наши объяснения не убеждали ни спрашивающих, ни нас самих.

Между нами и окружающим нас миром существовала бездна таинственного происхождения и характера. Бездна эта была реальна и страшна. Чувствовалось, что ее тайна восходит к более общей тайне всего человеческого бытия: откуда берутся войны? Почему ненависть людей между собою воспринимается как нечто естественное?

Небо за окном таинственно молчало.

Каков был латвийский антисемитизм в действии? О делах убийц и погромщиков будет рассказано впереди. Может быть, страшнее, чем кровавые дела кучки палачей, было отношение к евреям общества в целом.

В самом начале оккупации латыши выступали с проектами, которые пользовались всеобщим вниманием. Евреев надо отстранить от интеллигентного труда, принудить зарабатывать свой хлеб "с лопатой в руках и с мешком на спине", определить черту оседлости и тому подобное. Предложений было много, и все в таком ключе.

Когда начались массовые расстрелы, евреев стали жалеть, — конечно, только в народе. Официальная знать никоим образом не выразила своего несогласия с тем, что делалось.

Народ же нас жалел. Говорили, что так с евреями нельзя поступать. Говорили, что евреи тоже люди, но почти никто не говорил, что евреи такие же люди, как все другие.

Бездна разрасталась.

Мои рассуждения нельзя принимать за описание или, тем более, оценку антисемитизма вообще. Даже в соседних прибалтийских странах евреи были в несколько иных отношениях с коренных населением. В Латвии же таинственной власти непонимания и отчуждения было суждено проявиться особенно ярко и чудовищно.

С сердечным приветом

Ваш Исаак Клейман".

70

Письмо второе.

"Дорогой Н.Н.!

Попытаюсь описать главные события с начала оккупации

Риги до изоляции евреев в гетто.

В день оккупации Риги была организована вспомогательная полиция. Рассказывали, что возле Пороховой башни была свалена куча трофейного оружия и его раздавали всем желающим вместе с красно-бело-красной нарукавной повязкой.

Второго июля ночью новая полиция ходила по еврейским домам и арестовывала всех мужчин якобы для допроса. Мне было 17 лет, и я тоже оделся, чтобы идти. Мать солгала, сказав, что мне только 14. Полицай оставил меня дома. Большинство из мальчиков моего класса погибли с этой группой.

В последующие дни полицейские по утрам ходили по домам и выгоняли евреев, мужчин и женщин, на работу. В первые дни особенно чувствовалась ярая враждебность населения. Когда мы проходили небольшой колонной, какая-то женщина с тротуара крикнула, показывая на мою сестру: "Выцарапать ей глаза!" Другой раз я шел один, как полагалось, по краю проезжей части улицы. Проходивший мимо мужчина окликнул: "Снимай, гад, фуражку латышского гимназиста!" Фуражка в то время как раз была общая для всех гимназий, еврейские гимназисты носили точно такие же, как латыши, но человека, видимо, душила злоба. В один из первых дней оккупации я видел, как к небольшой очереди у продовольственного магазина подошел латвийский офицер в форме и объявил: "Жиды, вон из очереди!" Несколько евреек вышло, а очередь зааплодировала.

Это мне довелось видеть лично. Слышать пришлось об эксцессах похуже. Были убитые, в том числе из круга моих знакомых. Рассказывали о сожжении синагог и о том, что в некоторых были сожжены живые люди, в том числе второй раввин города Килов — красивый, статный, еще не старый мужчина.

Было слышно о зверствах, чинимых молодчиками из "Перконкруста" в провинции. На одном из сохранившихся голубых дизельных автобусов, курсировавших по Риге, они объезжали еврейские местечки в Латгалии и Курляндии, где истребляли еврейское население поголовно. Насколько мне известно, гетто кроме Риги было организовано только в Даугавпилсе. О Елгаве рассказывали, что евреев загнали в реку Лиелупе по горло и затем стреляли по головам, после чего вывесили на въезде в город надпись: "Юденфрай штадт".

С перемещением евреев в гетто не спешили. Отдельные квартиры евреев реквизировали, кое-что из вещей позабирали, но вообще евреи продолжали жить по всей Риге около трех месяцев.

Был организован "еврейский комитет" из семи человек, с весьма неопределенными правами и полномочиями. Видно, через этот комитет стало известно, какой район предназначен для

гетто. Это был довольно большой район на так называемом Московском форштадте. В район гетто входили еврейский родильный дом по улице Лудзас (где, кстати, родилась и Лидия Ивановна[15]) большая еврейская школа по улице Дзирнаву, много мастерских, магазинов, жилых домов — как индивидуальных, так и многоэтажных.

[15] *Жена Исаака Лемеховича.*

Моей маме удалось снять квартиру из двух довольно больших комнат и кухни по улице Московской 131. Ближе к осени многие семьи подолгу ходили в поисках пристанища.

К нашему удивлению, власти разрешили нанимать повозки или тележки и увозить в гетто все вещи, включая мебель. Мы еще плохо знали немецкую расчетливость, да и не предвидели своей участи.

В ту пору началась организаторская деятельность комитета. В здании школы развернулись отделы комитета — технический, транспортный и другие. Организовали сеть небольших мастерских. В подвале школы собирали книги для библиотеки. Мне довелось присутствовать на секретном совещании учителей, где было решено просить разрешения на открытие школы, однако им в этом отказали...

Организована была полиция. Она носила темно-синие пилотки и нарукавные повязки "Сеттополиция". В ней "служили" некоторые мои знаковые, гимназисты и студенты. Возглавлял полицию господин Кельман, прежний председатель родительского комитета в нашей гимназии.

В мостовую по периметру гетто были врыты невысокие, метра в полтора-два деревянные столбы для двух рядов проволоки. На месте нынешнего скверика на перекрестке улиц Садовникова (теперь Фрунзе) и Дзирнаву соорудили довольно внушительного размера ворота и караульное помещение. Заграждение из колючей проволоки и охрана появились, насколько помню, лишь к концу сентября или даже в начале октября.

В хорошую погоду многие, особенно молодежь, выходили на прогулку по улице Лудзас. Эта прямая, в то время хорошо мощеная, улица некоторое время служила нам бульваром.

Семьи продолжали ждать возвращения арестованных мужчин: о том, что они уже расстреляны в Бикерниекском лесу, мы еще не знали. Мысли наши были заняты главных образом двумя вопросами: как пойдут дела на фронте и что нас ожидает в гетто.

Итак, следующая тема - закрытие гетто и жизнь в нем до его ликвидации.

С сердечным приветом

Ваш Исаак Клейман".

71

Дальнейшее известно: почти триста тысяч евреев прошло через рижское гетто. Из трехсот тысяч погибших - семьдесят тысяч детей. Из семидесяти тысяч детей — семь тысяч грудных младенцев. Отыщутся документы, свидетельства, найдутся люди, которые все это в полном объеме опишут... Мне же хотелось остановиться только на срединной, пограничной части трагедии: будущее представляется еще смутным, неопределенным, еще жива надежда, еще можно не вслушиваться в ползущие со всех сторон слухи, не придавать им значения, не знать - того, что уже свершилось (в Бикерниекском лесу...)... Когда я перепечатывал тексты писем Исаака Лемеховича Клеймана, я думал не о празднично оживленной, раскрепощенной Риге, набирающей в легкие чистый воздух свободы, и не о митингующих на ее улицах — тех самых улицах, по которым пятьдесят лет назад гнали на смерть евреев, и не о том, не было ли среди ныне митингующих — тогдашних палачей...

Я думал об армянах в Сумгаите и Баку, о турках-месхетинцах в пылающей Фергане, о русских женщинах, насилуемых в опьяненном погромным безумием Душанбе... О том, что всякий раз, пока не обагрились кровью ножи, не запылали дома, пока не ударили автоматные очереди, пока еще можно остановить близящееся злодейство — все мы надеемся: авось пронесет... И успокаиваем друг друга: "не станем преувеличивать, ведь пока это всего-навсего — слова, разговоры..." И твердим про себя: *меня* это не касается... *Нас* это не касается... Это *их* касается — ну и пусть, главное, что — *не нас*...

Но кто может поручиться, что завтра опять *их* загонят в гетто, а послезавтра *их* живьем закопают в землю — *их,* а не его *самого!*..

72

Если бы знать... Если бы предвидеть... Но что мы в силах знать и предвидеть?.. Уезжая тогда, в конце августа, из Дубултов, можно ли было предвидеть, что ровно через год, тоже в августе, мы будем провожать в Шереметьево-2 наших ребят?..

73

После не столь долгого, насыщенного множеством

впечатлений отсутствия мы вернулись в Алма-Ату. XIX партконференция, разноречивые оценки ее итогов... Прага, Рига, Москва... Гул благотворных перемен, прокатывающийся над страной... И первое, что я услышал в разговоре с Морисом Симашко по телефону:

— Из ЦК передали материалы по Цветаевой в русскую секцию Союза писателей, предложили обсудить...

— Какие материалы?..

— Ну, как какие... Они же просили нас написать...

Известно, что наша память бережет в надежных своих тайниках слова, впечатления, образы, которые кажутся забытыми, напрочь вытесненными из сознания — и вдруг всплывают на поверхность, да не, всплывают — ударяют фонтаном! Так в моей памяти сохраняется немалый запас отборных выражений, тридцать лет назад усвоенных мной в солдатской казарме. Меня самого порой ставят в тупик их колоритность, их мощь и яркость... Впрочем, на сей раз богатство продемонстрированного мной словаря ошеломило даже Мориса.

— Ты так считаешь?.. — отозвался он задумчиво.

— А как прикажешь это еще считать? — сказал я. — Это они позвонили мне, тебе, Жовтису, Нерноголовиной, Косенко — они!.. А теперь решили нас же и проучить! "Русская секция" — громко звучит! А фактически это все тот же Толмачев, тот же Петров, тот же Карпенко — та же веселая компания!

— Пожалуй, ты прав...

— Сейчас я позвоню Устинову и скажу все, что по этому поводу думаю!

— Лучше уж я сам с ним поговорю, — сказал Морис. Видно, он понял, что я не намерен вытягиваться перед начальством в струнку. А мне вдруг стыдно стало за себя, за постоянное стремление со всеми — деликатничать, всем уступать, всех понимать... Пускай и меня поймут хотя бы раз, черт побери!

Но Морис настоял на своем.

— Скажи ему, что ни на какие судилища в лице Толмачева и К° мы придем! И напомни, что сейчас не 48, а 88 год!..

В самом деле, я заявил, что я против линии журнала, проработал положенный срок и ушел... И меня же судить? За что? За то, что посмел иметь свое мнение, не согласное с мнением большинства? И не хотел потворствовать тому, что для других — торжество гласности, а на мой взгляд — разжигание антисемитских настроений?.. Ну, нет! Как говаривал в старом анекдоте петух лисе: "Ешь, только не издевайся!"

"Судный день" — так бы назвал я тот день в августе, когда мы, пятеро, явились в Союз писателей, приглашенные на заседание секретариата...

По словам Мориса Симашко, он звонил Устинову, в ЦК, и тот, как положено ученику Понтия Пилата, умыл руки, объявив, будто бы он здесь ни при чем, не такое это дело, чтобы вмешиваться ЦК, вот и передали все "документы" в Союз писателей, чтобы там разобрались. Ну, а в Союзе писателей не так, видно, поняли и передали "дело" в русскую секцию... Но Морис прав, не русская секция должна тут разбираться, и об этом немедленно будет сказано Олжасу Сулейменову...

"Дело", "документы", "разобраться"... Кислой канцелярской вонью несло от этих слов. Достаточно им возникнуть, чтобы живая жизнь превратилась в мертвечину, человек - в эксгумированный труп. Какие "документы"? Какое "дело"? Кто их просил?.. Я снова повторил уже описанный выше набор подходящих к ситуации выражений. Но через несколько дней мне позвонил из Союза литконсультант и дрянненьким, извивающимся, как червяк, голосом известил, что через два часа — секретариат, меня приглашают... "Что за секретариат?.." — "А вы же в ЦК жалобу писали..." — "Чьей информацией вы пользуетесь?.." — спросил я, поскольку с тем консультантом был давно знаком... — "Ну, как же, — заизгибался, закрутил он кольчатым хвостиком, — все знают..."

— Ну что же, — произнес Жовтис невозмутимо, — они свое скажут, мы свою точку зрения изложим, и пусть попробуют ее опровергнуть... Нет, я считаю - нужно идти.

Того же мнения были Галина Васильевна Черноголовина, Павел Косенко, да и Морис...

Я побрился, глотнул "на дорожку" одну или две таблетки мезепама и поехал в Союз...

И вот мы сидели в огромном кабинете Олжаса Сулейменова — пятеро. Хозяина кабинета, первого секретаря Союза писателей, не было видно — вероятно, и он хотел сохранить руки чистыми. За столом — круглощекий второй секретарь, автор известных в республике повестей и романов, и другие секретари — все мы хорошо знали друг друга, долгие годы связали нас или взаимной приязнью или, по меньшей мере, достаточно взаимоуважительным равнодушием. Был здесь и Леонид К., "русский секретарь", как официально именовалась его должность, — когда-то — фронтовик, награжденный тремя орденами Красной Звезды, с чем никак не вязался его всегда поддакивающий начальству характер, его лукавая изворотливость, маскируемая широкими, ко всем в равной мере

обращенными улыбками. Вот и теперь он сидел, рябоватый, с маленькими, тревожно бегающими глазками, с широкой улыбкой на узких, как лезвие, губах. И, разумеется, там же, за длинным, предназначенным для заседаний столом, в напряженной позе, упершись острием локтей в полированную столешницу, примостился Ростислав Петров, смиреннейшим, отчасти даже скорбным ликом напоминая икону псевдовизантийского письма, и — Геннадий Иванович Толмачев, несколько раздобревший, одутловатый, но — с темно-русым, простодушным чубчиком-челочкой, очень его молодящим, и в белой — сама свежесть — рубашке с короткими рукавами — "в белой рубашоночке, хорошенький такой..." От обоих отличался высящейся над столом Иван Щеголихин — широкое, потемневшее лицо его с упрятанными под набухшие веки глазами походило на чугунный утюг, черный, с красными, раскаленными прорезями, в которых виднеется угольный жар... Вдоль стены с высокими, выходящими на Коммунистический проспект окнами располагались в ряд стулья, на них, словно на скамье подсудимых, разместились четверо; я радом с Морисом, слева от меня — рыхловатый, с меланхолической усмешкой на лице Павел Косенко, за ним — Жовтис, маленький, бледный, напоминающий взведенный курок. Галина Васильевна Черноголовина, невозмутимая, излучающая спокойствие, тщательно причесанная, скромно одетая, живые темно-вишневые глаза ее смотрели, как всегда, прямо перед собой, однако — с глубоко упрятанным юмором... По правую руку от Мориса с наигранным благодушием скалил желтые, редко расставленные зубы Рожицын — заменив меня в редакции, он теперь заведовал прозой. Вполоборота к нам четверым, на стоящем особняком стуле, расслабленно отваливался к спинке мой давний друг Валерий Антонов...

Нужны ли подробности?..

Сценарий был написан, роли разучены, спектакль отрепетирован. Беда лишь в том, что режиссер переоценил свои возможности — отнюдь не все согласились исполнять им предложенное, т.е. бить себя в грудь и произносить покаянные речи. Тут вышла осечка. Хотя остальные участники спектакля, именуемого секретариатом, справились со своими ролями — ну, не самым превосходным образом, но — справились.

Впрочем, должен сознаться: был момент, когда я повел себя предельно глупо. А именно: после того, как второй секретарь пошелестел перед собой листочками, пересланными из ЦК, и объявил, что секретариат хочет во всем разобраться, поскольку группа товарищей обратилась с жалобой... и т.д., и я возразил, что в ЦК никто из нас не обращался, ЦК обратился к нам с

просьбой, чтобы каждый из нас изложил свое мнение по поводу публикации — и только, а уж что до секретариата Союза писателей, то он тут совершенно ни при чем, и Второй, отвечая на это, изменил свою формулировку, придал ей более деликатное звучание: ЦК просил... И секретариат просит... И вышло, что все крайне вежливо друг друга просят, и как же можно отказать тем, кто просит... После всего этого я сказал себе, что — в конце-то концов — собрались здесь давно знающие друг друга люди, и прежде всего — люди, а раз так, то — при желании — они всегда смогут понять один другого, ну — было, ну — прошло, ну — извлечем из этого некий урок и не станем точить ножи и ненавидеть друг друга... Я заговорил, более всего обращаясь к Валерию Антонову, попытался объяснить, что же, по моему, разумению, произошло... То есть я напомнил ему старую историю с Моргуном — разве не мы оба тогда искали справедливости, не оба протестовали против антисемитизма, не были оба обвинены черт-те в чем — в том, что льем воду на мельницу наших врагов?.. Я напомнил, как в шестидесятые известная всем журналистка писала в ЦК Казахстана, требуя покончить с еврейским засильем, — и как всех возмутило ее письмо... Напомнил, как недавно он, Антонов, дал мне прочесть свою поэму "Анти", сказав, что мое мнение для него — решающее, и я был за публикацию... Значит, еще недавно мы верили друг другу?.. Что же случилось? Будем считать, что сделанного не переделаешь, но извлечем необходимые уроки, будем в дальнейшем больше всего остерегаться оскорбить, уязвить друг друга, национальные отношения — страшно болезненная область, чреватая гибельными для всех взрывами...

Я говорил мягко, мягче, чем мне хотелось... Было тихо, пока я договорил до конца. И Валерий Антонов, глядя на меня своими разноцветными — зеленым и голубым — глазами, казалось, меня понял, чувства, владевшие нами в молодости, воскресли, устремились навстречу друг другу... Мне отнюдь не хотелось выглядеть мстительным иудеем, "простим друг друга и обнимемся, братие", мерцало у меня в голове, пока я говорил... Однако сценарий диктовал другое.

Обиженно, зло заговорил Толмачев. К Герту всегда хорошо относились в журнале, а он?.. На кого поднял руку — на гордость нашей литературы, на жертву культа личности — Марину Цветаеву!..

— Позвольте мне, — сказал Морис, — По-моему, Герт ни на кого не поднимал руки. У вас, Геннадий Иванович, свое мнение об очерке, у него — свое, и он имеет на это полное право. Кстати, чтобы его отстоять, Герту пришлось уйти из редакции... Но я о

другом. Если уж вы, Геннадий Иванович, такой завзятый плюралист, почему вам было не напечатать очерк целиком, без купюр, снабдив авторитетным комментарием?.. Вместо этого в добрых старых традициях вы препарировали очерк на свой лад, выбросили из него, скажем, упоминание о Каннегиссере и Фанни Каплан, к которым Цветаева относилась с явной симпатией, и оставили только те места, где евреи представлены негативно... Такую Цветаеву вы и преподнесли читателю. Кто и на кого, стало быть, поднял руку на самом деле?..

Примерно о том же, но в ином, академическом стиле говорил Жовтис: компетентность публикации, принятые в мировой практике правила, искажения текста... Необходимость квалифицированного комментария...

— Да ведь мы же дали комментарий!.. — выкрикнул Слава Киктенко, черноволосый, с заросшим черной щетиной лицом, взблескивая черными, самолюбиво-раздраженными глазами. — Прислала материал и прокомментировала его профессор Козлова, из Москвы!

— Кто такая это Козлова? Среди специалистов по творчеству Марины Цветаевой такой не значится. Профессор?.. Да мало ли кто становился у нас профессором — в годы застоя! И малограмотная врезка к публикации, которую вы называете комментарием, лучше всего это подтверждает...

— А разве профессор Жовтис стал профессором не в годы застоя? — ухмыляясь, выкрикнул Валерий Антонов. Раздался смех.

— Уважаемый Александр Лазаревич, студентом которого я был, читал нам курс по фольклору, — через плечо бросил сидевший к Жовтису спиной Толмачев. — Какое отношение имеет он к советской литературе?

— Отчего же?.. Я читал двадцать лет назад курс по фольклору, а кроме того — и девятнадцатый век, и стиховедение, и советскую литературу, и не только читал — мои книги выходили в разных странах...

Толмачев угрюмо воркотнул что-то себе под нос. Молодой — а, точнее, лет десять-двенадцать назад числившийся среди молодых, а ныне вполне зрелый поэт Ш., приятель Киктенко, принялся выкрикивать в адрес Жовтиса упреки в том роде, что и он, и такие, как он, в прежние времена не давали дороги молодым, а теперь покушаются на память Марины Цветаевой... С горестным укором на постном лице, как бы силясь подавить в себе праведный гнев, потек словами Ростислав Петров: плюрализм... перестройка... гордость русской литературы...

Был момент, когда Жовтис сорвался. Вернее, сорвался его

голос, в тот день у него болело горло и на секретариате он говорил с трудом, ко когда на него накинулись с разных сторон, он оскорбленно повысил тон, за басовыми нотами следовали петушиные всхлипы, он пылал негодованием и одновременно морщился от боли...

Попыталась придать осмысленное направление ходу секретариата Галина Васильевна:

— Я коммунист, член партбюро, у меня было поручение — поддерживать связь с журналом, и когда я читала "Вольный проезд", я свою позицию изложила Геннадию Ивановичу сначала в разговоре с ним и затем — письменно... Когда мне позвонили из ЦК и попросили сообщить свое мнение о публикации, я не стала его скрывать и повторила то, что уже было известно Толмачеву. Я и сейчас считаю, что межнациональные конфликты у нас в стране грозят большими осложнениями, чему пример — Карабах... И в том виде, в котором Марина Цветаева опубликована в журнале, она, эта публикация, вполне может быть использована антисемитами, "Памятью"...

Все-таки она была единственная женщина среди нас, ее не перебивали, не прерывали. Но едва она кончила, как Слава Карпенко, захлебываясь бегущей изо рта слюной, принялся выкрикивать: "Это донос! Донос!.. Доносчики!..", его басовито поддерживал Валерий Антонов, и когда молчаливый, понурый Павел Косенко что-то возразил, тот же поэт Ш., наседавший прежде на Жовтиса, ринулся на него:

— Пока вы были замредактора в журнале, вы не пропускали ничего подобного! (Павел кивнул: "И правильно делал".) Вы глушили всякую свободную мысль!.. (Сам он в то время ничего, кроме гладеньких стишков, не сочинял, да и в последние годы сохранял усвоенную в ту пору осторожность).

Но главный номер исполнил Иван Щеголихин. Когда он поднялся, навис над столом, жар, исходивший теперь от его монументальной фигуры, был так опаляющ, что я ощутил его всей кожей лица, яблоками глаз.

— Вот они здесь, перед нами, еврейские экстремисты!.. Если когда-либо и возникал антисемитизм, то только как ответ еврейскому экстремизму!.. Они могут говорить о русском народе все, что им захочется, мазать его прошлое дегтем, но только затронь их самих!..

Он говорил о Снегине, панфиловце, большом писателе, достойном человеке: разве его не убрали в шестидесятых годах с поста редактора журнала — якобы за антисемитизм, которого у него никогда не было?.. И разве не он, Морис Симашко, приклеивает ему, Щеголихину, тот же ярлык — за последний

роман о карагандинском "меховом деле"?.. Кто как не евреи стояли во главе этого дела — и разве не он, Щеголихин, жалея, заменил их фамилии?.. А жаль!..

Я не читал романа, знал только, что в издательстве настаивали на замене ряда фамилий, Щеголихин под нажимом кое-как согласился на уступки... Как бы там ни было, снова во всем оказались виноваты евреи...

Теперь он, Морис Симашко, расплывшийся, грузный, шестидесятичетырехлетний, чьи книги переведены на добрых двадцать языков, разошлись в двадцати странах, Морис, о котором писали в "Монд", "Унite", "Юманите", в московской же "Литгазете" посвящали не более ста строк, — он сидел, оглушенно моргая, беззащитный, как малый ребенок, растерявшись от глыб дерьма, которые швырял в него яростный, праведный, исполненный патриотического пафоса Иван Щеголихин...

Морис поднялся, круглая голова его была вжата, вдавлена в плечи, губы дрожали... Он вышел из кабинета, ничего не сказав.

Леонид Кривощеков огорченно всплеснул руками ему вслед...

Секунду поколебавшись, я вышел за Морисом.

75

Кстати, об экстремизме[16].

См. примечание в конце книги.

В известного толка течениях общественной мысли принято ныне считать, аксиомой, что евреи, погубившие с помощью революции русский народ, сами при этом выиграли. Губили же они, во-первых, физически, путем геноцида, и, во-вторых, духовно, нравственно, разрушая основы русской культуры, начиная с запрета православной религии, разрушения церквей и храмов — и вплоть до уродования русского языка, некогда "великого и могучего", а ныне...

Что касается геноцида, который якобы проводили евреи, то уровень разговоров и писаний на эту тему не позволяет относиться к ним серьезней, чем к обвинениям в ритуальных убийствах, протоколам сионских мудрецов и т.д. Зато по поводу злонамеренного уничтожения русской культуры и выгод, полученных при этом, полагаю любопытными следующие факты.

После февральской революции, уравнявшей евреев в правах с остальным населением, возникли многочисленные еврейские газеты, издательства, выпускалась литература на иврите и идиш. В городах и местечках было открыто 250 воспитательных учреждений — детские сады, школы, педагогические институты с

преподаванием на иврите. Состоялись выборы на Всероссийскую конференцию, на выборах в Учредительное собрание различные еврейские организации выдвинули объединенный список, чтобы представлять в Учредительном собрании интересы еврейского народа (в то время — более пяти миллионов).

Произошла Октябрьская революция. Всероссийская конференция не состоялась. Учредительное собрание было разогнано.

Во время гражданской войны (Петлюра, Деникин, польская армия и т.д.) в результате погромов и резки погибло триста тысяч евреев.

В 1918 году в Москве было созвано совещание еврейских общин, оно избрало Центральное бюро. Через несколько дней все делегаты, кроме коммунистов, были отстранены от выборных должностей, идея защиты национальных интересов путем создания самостоятельной организации — отвергнута. В 1920 году в Москве состоялась Всероссийская сионистская конференция — все ее делегаты были арестованы.

В годы революции в Москве существовал театр "Габима", игравший на иврите. В его работе активно участвовал Вахтангов. Но многие еврейские писатели вместе с крупнейшим из них — Хаимом Бяликом уехали в 1921 году в Палестину (через год, в 1922 году, Бердяев и значительнейшие деятели русской культуры *были* выпровождены на Запад), "Габима" в 1925 году перебирается в Палестину, где здравствует и по сию пору. Иврит в СССР запрещается. Деятели культуры, пользующиеся этим языком, оказываются в тюрьмах.

Евреи, в прошлом не имевшие права владеть землей, получают возможность заниматься земледелием — в Белоруссии и на Украине, а также в Северном Крыму. В декабре 1926 года перепись зарегистрировала 155 400 евреев-земледельцев, что составило около 6% еврейского населения в стране. В 1928 году эти цифры достигли 220 000 человек, т.е. 8%.

В Белоруссии идиш признается одним из четырех официальных языков. На Украине имелось три автономных еврейских района. В 1031 году на Украине в 46 судах, в Белоруссии — в 10 судах, в РСФСР — в 11 судах разбирались дела на идиш. На Украине и в Белоруссии в школах на идиш обучалось 120 000 детей. На идиш писали Давид Бергельсон, Перец Маркиш, Дер Нистер, Давид Гофштейн, Мойше Кульбак, Лев Квитко, Изи Харик, Ицик Фефер. В Москве работал театр Михоэлса, в Киеве и Минске имелись театральные студии на идиш. Функционировали два научных института: "Институт еврейской пролетарской культуры" при Украинской АН и

еврейский отдел Белорусской АН. Продолжали издаваться журналы "Еврейская старина", "Еврейская летопись" и др.

В конце двадцатых — начале тридцатых годов, когда национальное самосознание, национальные культуры под лозунгом "борьбы с националистическими уклонами" начинают подавляться, когда сталинский террор переживает расцвет, одной из первых его жертв оказывается еврейство. Закрываются все национальные организации, научно-культурные учреждения. Культурно-историческое наследие еврейского народа полностью игнорируется, будь то даже еврейская школа. Впрочем, еврейские школы закрываются. Еврейские молитвенные дома и синагоги постигает та же участь, что и православные храмы или мусульманские мечети: нет ни средств, ни свободного отправления религиозного культа, ни возможности подготовки раввинов, ни печатания молитвенников, библии и талмуда. У меня до сих пор сохранилась Библия, принадлежавшая деду: изданная в Вене в 1897 году "Британским и иностранным библейским обществом" на иврите и на русском языке, в отличном, не поддающемся времени переплете, она существует уже почти сто лет...

В те же тридцатые годы были репрессированы многие деятели еврейской культуры, почти прекратилось издание книг и журналов на идиш. В те годы почти целиком "очистился" от евреев высший партаппарат. Наркомат иностранных дел и другие управленческие структуры также подверглись "чистке". Это совпало с заключением пакта Молотова-Риббентропа. В связи с дружескими отношениями, соединившими СССР и Германию, критика фашизма запрещалась, равно как и упоминание об антисемитизме, возведенном Гитлером в ранг государственной политики.

В результате форсированной ассимиляции, по сути, полностью исчезли из употребления как запрещенный ранее иврит, так и оставшийся "не у дел" идиш. Несколько лет назад в книге воспоминаний об Эммануиле Казакевиче я неожиданно обнаружил, что в двадцатые годы в Киеве выходила республиканская газета "Коммунистише фон" ("Коммунистическое знамя"), в Харькове — республиканская же газета "Дер штерн" ("Звезда"), литературный журнал "Ди ройте велт" ("Красный мир"), молодежная газета "Юнге гвардие" ("Молодая гвардия"), там же существовал еврейский театр, директором ко торого работал одно время отец Казакевича, переводивший на идиш Ленина "Развитие капитализма в России", Энгельса "Анти-Дюринг", составлявший русско-украинско-еврейские словари, редактировавший учебники для вузов, изданные на идиш... Я читал обо всем этом примерно

так же, как статьи о культуре народа майя, исследуемой с помощью археологических раскопок, хотя сам-то родился в 1931 году, т. е. когда еврейская культура у нас в стране еще не была умерщвлена. Ее исчезновение — результат сложного процесса, однако как бы там ни было, факт есть факт: ее не стало. Еврейские литераторы в большинстве осознавали себя частью русской культуры. Даже явись им совершенно фантастическая мысль — стать еврейскими, т.е. пишущими на еврейском языке писателями (как, скажем, для казахского писателя естественно желание писать на казахском языке, для грузинского — на грузинском, для якута — на якутском, тем более, что еврейская литературно-письменная традиция насчитывает ни много ни мало — три с половиной тысячи лет), — где могли бы они печататься? И — кто бы их читал, если русский сделался для всех нас родным — и едва ли не единственным...

Так возник феномен, причиняющий столько досады "истинным патриотам" — "русскоязычные" писатели-инородцы: Маршак и Багрицкий, Светлов и Уткин, Бабель и Каверин, Эренбург и Гроссман, Слуцкий и Бродский... Во благо или во зло — для русской литературы?.. Не нам, как говорится, судить.

Бесспорно другое: судьба еврейской культуры в нашей стране была ничуть не менее трагичной, чем любая иная, такой не пожелаешь ни другу, ни врагу...

76

Итак, возвращаясь от макрокосма к нашему микрокосму, напомню, что после XIX Партконференции, где провозгласили дальнейшее развитие и укрепление демократии, но при этом едва не согнали с трибуны Григория Бакланова[17], заведующий отделом пропаганды ЦК КП Казахстана Эдуард Александрович Уваров "предложил" дело о возмутителях спокойствия "рассмотреть" в Союзе писателей, что и было со всей ответственностью проделано.

17 *Григорий Бакланов ошеломил яростно "аплодировавших" ему "демократов", сказав: "Люди за свою историю не раз боролись за свое порабощение с такой энергией и страстью, с какой позволительно бороться только за свободу".*

Тем, однако, не кончилось. Для дальнейшего понадобились дополнительные силы. А именно: журнал ЦК КП Казахстана "Партийная жизнь Казахстана". Сыскался и подручный — писатель Н.

Я не называю его фамилию, поскольку, во-первых, он стар и

болен, этого достаточно, чтобы жалость перекрыла все прочие чувства; во-вторых, утаивай — не утаивай его фамилию, те, кому он знаком, все равно его узнают: в-третьих, это не столько человек, сколько явление, и явление столь типичное, что подлинное имя только помешало бы ощутить его масштаб.

Я знал его много лет — и столько лет, сколько знал, мне говорили: как ты можешь с ним находиться в добрых отношениях? Ведь он... Так я ведь и сам понимал, что он такое. В первые послевоенные годы с ним дружен был молодой преподаватель университета, знаток поэзии, эрудит. И Н. тоже был знаток поэзии, эрудит, это их сближало. Прогуливаясь отрадно прохладными после дневного зноя вечерами по алма-атинским улицам, напоминавшим парковые аллеи, они читали друг другу стихи. Были среди них и такие переходившие в те годы из рук в руки строчки Маргариты Алигер:

"Нас сотни тысяч, жизни не жалея,
Прошли бои, достойные легенд.
Чтоб после слышать: "Это кто — евреи?..
Они в тылу сражались за Ташкент!.."

Через некоторое время в "Казахстанской правде", где работал Н., появилась статья "Буржуазные космополиты на университетской кафедре", в которой среди "буржуазных космополитов" поминался и молодой преподаватель, а среди трех авторов статьи был и Н. Спустя четыре дня в той же газете была опубликована статья: "Выше идейность на идеологическом фронте!", в которой изобличалось антисоветское подполье во главе в Юрием Домбровским, молодой же преподаватель фигурировал в качестве распространителя националистических стихов. Когда он явился в редакцию и в кабинете зам. главного редактора газеты попросил объяснений, тот вызвал Н.

— Как же, Саша, — произнес Н., потупляя глаза, — разве вы не помните: однажды, прогуливаясь, вы читали мне стихи... Те самые...

Молодой преподаватель не стал ни возражать, ни лукавить: привезенные из Москвы стихи Алигер он прочел единственному человеку, которого считал своим другом.

Впоследствии Н. строил козни журналу, когда возглавлял его Шухов, делал подлости — то покрупней, то помельче, и всегда состоял на подхвате у властей. Тем не менее однажды он пересолил, и в конце "оттепельного периода" ему изрядно вломили на собрании в Союзе писателей. Помимо напечатанного им верноподданнического пасквиля, предмета обсуждений, в

лицо Н. было сказано многое из того, что он заслужил. В ответ прозвучало:

— Я беспартийный, но я всегда делал то, что мне приказывала партия...

Вскоре после публикации в "Казахстанской правде" Юрий Домбровский угодил на Колыму, преподаватель ожидал ареста, но отделался по тем временам не слишком крупными неприятностями.

— Каждое время находит своих палачей! — выкрикнули из зала на том собрании. Н. не нашелся, чем ответить.

И однако, думаю я, он отнюдь не был в душе палачом. Как-то раз, чуть ли не шепотом, хотя кроме нас никого в комнате не было, Н. рассказал мне о том, что его отец был не то меньшевиком, не то эсером. Всю жизнь Н. скрывал это и постоянно ждал разоблачения... Мне представляется, именно страх, владевший им, требовал, чтобы Н. всемерно усердствовал, доказывая свою лояльность и преданность режиму, каким бы он ни был — сталинским, хрущевским, брежневским... Постепенно подлость перестала быть насилием над собой, вошла в привычку, быть цепным псом власти значило в чем-то ею, властью, и обладать. Так, сформированная страхом, родилась неодолимая, почти сладострастная тяга к предательству, и тут еще вопрос, кем, по высшему счету, всю свою долгую жизнь был Н. — палачом или жертвой?.. Впрочем, разве то и другое — не стороны одной медали?

Как бы там ни было, последние годы он казался мне просто старым, больным, сожалеющим о прошлых грехах... Правда, последнее время мы не встречались, какая-то стена вновь разгородила нас и не возникало охоты ее раздвигать... И вот — старая, загустевшая кровь заиграла. Н. снова сделался нужен, как в приснопамятные годы... И в самом деле, теперь, в эпоху всеобщей демократизации и гласности, кто как не Н. послужит перестройке?

"Вдыхая целительный воздух" — называлась его статья[18].

18 *"Партийная жизнь Казахстана" 11, 1988 г.*

"Это были не только три последних июньских дня и первый день июля — календарный срок XIX партконференции", — так начиналось лиро-эпическое бряцание на сладчайших перестроечных гуслях. И далее: "Книгу ее стенографического отчета можно представлять как Азбуку перестройки. Азбуку нашей демократии. Азбуку возрождения ленинских норм". И далее: "Где бы ты ни работал — решения конференции — это твой компас и опора". И далее, с употреблением священных заклинаний: "по-ленински ясно", "по-ленински прямо", — те же

слова, что и когда-то, но с расчетом на нового хозяина.

Далее, умилясь "добрыми переменами" в жизни казахстанских литераторов, Н. переходит к исполнению социального заказа, дабы преградить путь "злым силам", противникам "добрых перемен".

"Однако групповые страсти ("групповые страсти", "групповое нападение", "групповое изнасилование"... — Ю.Г.) дают о себе знать самым неожиданным образом. К примеру, опубликовал журнал из литературного наследия замечательного поэта Марины Цветаевой документальный жесткий рассказ о поездке из голодной Москвы 1919 года (второпях Н. путает 1919 и 1918 годы. — Ю.Г.) в деревню за продуктами. В высокие инстанции последовали протестующие заявления некоторых писателей, похожие одно на другое, как водяные капли. Заявления, написанные как бы (!) по личному почину. Дескать, не коллективное письмо, не групповщина, помилуй бог, а только личные мнения, совпадающие самым удивительным образом (Заговор! Будьте бдительны!.. — Ю.Г.) в попытке бросить тень не только на журнал (!), но и на саму Марину Цветаеву с ее трагической судьбой".

Какая картина! Маленький, подслеповатый, согбенный годами Н. из последних сил бросается заслонить Марину Цветаеву! От кого?.. От тех, кто действует "как бы по личному почину", на самом же деле... Тут бы надо тряхнуть стариной и "по-ленински прямо" назвать силы, чьими агентами являются... Но времена все же не те.

Как бы то ни было, "верный ленинец" Н. выполнил еще одно задание. Статью его напечатал другой, и уже с партийным билетом, "верный ленинец" — Г.Шестаков, главный редактор журнала. И сделал он это в свою очередь по прямому указанию "верного ленинца" Устинова. Все трое — крупные, разумеется, авторитеты — хоть в литературе, хоть в национальной политике. Так же, как Толмачев, Снегин, Щеголихин. Впрочем, все они, понятно, мелкие сошки в сравнении с теми "самыми-самыми-самыми верными ленинцами" повыше, что раскладывают, и весьма умело, огонь, на котором уже заваривается кровавая каша в Карабахе, Баку, Ереване... Где еще?..

77

Так бегут дни, так идет жизнь... Украина, Молдавия, Грузия... Миллионы — там, миллионы — здесь... Можно представить отдельных людей, их лица, голос, походку... Можно вообразить —

одного, трех, пятерых, но миллионы?.. И потом, это так далеко... И газеты, газеты, телевизионные новости, журнальная полемика, высокая политика, "упустим ли мы последний исторический шанс?.." Это затягивает, захватывает, и уже кажется — все главное там, в газетах, на телеэкране, остальное — привесок...

Но вот в один далеко не самый прекрасный, а в общем-то — самый обыкновенный день, в том-то и дело, что в обыкновенный, самый что ни на есть обыкновенный, обыкновенней некуда! — приходят к вам ваши дети, присаживаются на диван... И говорят... Говорят обо всем, о чем говорят обычно... И только после вы вспоминаете, что слишком уж... слишком уж много было сказано о том и о сем, и о том и об этом, и ни о том ни о сем... слишком много... И затем, как бы между прочим, где-то в серединке, между тем и этим, а может — между этим и тем, как бы вскользь: "все едут, и мы тоже подаем заявление, собираем документы..."

Вы на минутку выходите на кухню, где что-то жарится и варится к их приходу, и звякаете ложкой, и открываете кран с холодной водой и зачем-то подставляете под струю большой палец... Вы совершаете какие-то ненужные, нелепые действия, абсолютно бессмысленные, поскольку и то, что вы сейчас услышали — бессмысленно, то есть не имеет смысла... Но если это не имеет смысла, то может быть этого и нет? Может, это вам только послышалось?.. И тут к вам на кухню выходит жена, она улыбается, мертвая улыбка дрожит на ее губах, нет — не мертвая, а похожая на приникшую к земле голодную бездомную кошку, которая ждет пинка... "Ничего не говори... Молчи... Пока — молчи", — шепчет она и поворачивается к плите, спиной к вам, и тоже чем-то звякает, что-то переставляет... Значит, не послышалось, — думаете вы. — "Мы подаем заявление... Мы уезжаем..." Ну, подлецы. Ну, мерзавцы. Ну, сукины дети... Вы чувствуете себя вдруг маленьким, жалким, беззащитным, вы будто поменялись местами с вашими детьми. Они — взрослые, решительные, уверенные в себе... Они уезжают, собирают документы... "А я?.." — хочется крикнуть вам. — "А я?.."

Внезапно вы ощущаете себя старым и дряхлым — куда более старым и дряхлым, чем это есть на самом деле... Ах, сукины дети!.. — повторяете вы, но уже без прежнего азарта, потому что понимаете — нет, это — ваши дети... И они — уезжают.

И вы возвращаетесь в комнату. Вы еще не знаете, как себя вести. Как, о чем говорить — теперь... Чтобы окончательно все не испортить. "Ну, что ж, — вырывается из вас как бы само собой, — давайте поговорим теперь о чем-нибудь более веселом... Так что нового слышно о холере в Одессе?.." И всем смешно. И все смеются, закатываются — и благодарно поглядывают на вас,

благодарно — поскольку вы все-все поняли, и все обошлось...

Не обошлось, нет! В груди у вас все бурлит, все ходит ходуном — море расплавленного свинца бушует там, бьются, сшибаются тяжелые, встающие на дыбы волны!.. "А я?.. А мама?.. А мы все?.. А все, что для вас, ради вас, связано с вами?.. А эта земля, наконец?.." Но все глохнет, пропадает, ложатся, смиряются свинцовые валы, когда поперек всех этих яростных "А?.." встает одно-единственное: "А Сашка?.."

И больше нет вопросов. Они отпадают сами собой. Потому что Сашку, Сашеньку, Сашулю надо спасать. Потому что в институте Бакулева в Москве, где он на учете, все тянут и тянут с операцией: привозите через год... а лучше через три... а лучше через пять лет... Но время не терпит, болезнь торопит. А в Штатах такие операции делают и в два года, и в шесть месяцев!.. Ваши дети это поняли. Поняли — и решились. Кто же взрослый — они или вы?.. Они спасают Сашку, Сашеньку, вашего внука... И еще благодарят вас за то, что вы не противитесь этому... Но увидим ли мы его когда-нибудь? Да, да, все так, все правильно, но как-то слишком все сразу... Нельзя же, чтобы все так сразу... Надо привыкнуть... А пока — в самом деле, не поговорить ли о чем-то более веселом?..

— О холере в Одессе?..

— Хотя бы...

Пока они едят жаркое с картошкой (господи, что они будут есть там, в Америке!..), вы смотрите на обоих иными, новыми глазами: они действительно взрослые, наши ребята... Вот они съели жаркое, а теперь щиплют виноград (какой там у них в Америке виноград?..), и по некоторым, как бы между прочим, высказываниям становится ясно: все заранее ими уже изучено, такая информация про "там", какая вам и не снилась... И все толково, по-деловому. И где-то под самый конец — осторожный вопрос:

— А вы — не думаете?.. Тоже?..

И — корежит, передергивает от этого вопроса. Бежать, спасаться — от кого? От себя?.. Ни-ког-да!..

Но вот какая штука: гордые, полные пафоса и негодования слова отчего-то застревают в горле. "Это моя земля!.." — хочется мне сказать, а вспоминается: Альберт Александрович Устинов. А вспоминается: секретариат. А вспоминается: "Вдыхая целительный воздух" — статья, полная зловонного дыхания вечно живого прошлого. "Здесь моя работа!.." — А вспоминается журнал, в котором я больше не мог работать. "Здесь мои друзья!.." — А вспоминается Валерий Антонов.

Слова, готовые сорваться с языка, застревают у меня в горле.

Как тонкие рыбьи косточки, впиваются они в нежную кожу гортани. Жар стыда охватывает меня. Того самого, который когда-то втолкнул меня в кабинет Моргуна... Сам я не бегу, но почему должны бежать мои дети, мой внук? Почему там, в Америке, которая ничего не должна ни моим детям, ни мне, должны спасти жизнь моему внуку, там, а не здесь? А малышам с такой же тетрадой Фалло, которые никуда не уедут отсюда, — им как?.. Если здесь многих волнует не их судьба, а обличение жидомасонов и спасение чистоты крови от инородческих примесей?..

Неужели можно еще на что-то надеяться?.. Верить?.. Они не хотят жить верой, жить надеждой, как жили все мы. Не хотят за обещание рая земного расплачиваться бесконечными жертвами, унижением, смирением... Мы расплачивались — они не хотят. Не хотят приспосабливаться к условиям игры, в которой для них заранее уготован проигрыш. Мы проигрывали, но мы боролись. Боролись, потому что любили землю, на которой родились и вместе с которой прожили жизнь... Мы боролись, но они не хотят борьбы. Они хотят того, чего мы дать им не в силах, о чем сами мечтали всю жизнь... Они хотят свободы...

О, Вольность, Вольность, дар бесценный!

Позволь, чтоб раб тебя воспел!.. — не мы ли сами учили их Радищеву?

А может быть... Может быть... Может быть... В сердце моем еще трепыхалась надежда, что химеры, вынырнув снова из мрака, в нем же и скроются, ослепленные новым светом, пролившимся над новой землей... Нужно только не уступать им ни пяди этой земли... Единый гигантский узел связал — судьбу страны, судьбу перестройки, Сашкину судьбу, судьбу ребят, судьбу Горбачева и Ельцина, Сумгаита и формирующейся в Москве "черной сотни"...

Мы с женой не оценили всей серьезности услышанных нами в тот день слов. Мы еще на что-то надеялись, хотя трудно было бы уяснить — на что...

Спустя полгода после того, как наши ребята уехали, в печати появилась следующая таблица, в которой по регионам распределены ответы делегатов и гостей первого съезда еврейских общин (декабрь 1989 г.), которым предложено было ответить на вопрос: "Как вы считаете, возможна ли в вашем населенном пункте в ближайшее время вспышка антисемитизма, сопровождаемая актами вандализма, жестокости, насилия?" (Ответы даны в % от числа опрошенных в каждом регионе).

Регион	В ближайшее время возможна	В ближайшее время невозможна	Затрудняюсь ответить	Нет ответа
Москва	72	12	14	2
Ленинград	94	6	0	0
РСФСР (Без Москвы и Ленинграда)	35	31	3	3
Украина	48	26	26	0
Белоруссия	67	22	0	11
Молдавия	54	15	31	0
Латвия, Литва, Эстония	24	60	16	0
Кавказ и Ср.Азия	29	36	35	0
В целом по всем опрош.	52	25	20	3

Мы проштудировали эту таблицу. Мы порадовались единственному — тому, что штудируем ее уже в отсутствие ребят...

78

Была ли она для нас неожиданностью?.. И да, и нет. Да — поскольку любое обобщение, да еще и статистическое, а в данном случае вдобавок подкрепленное авторитетом академика Татьяны Заславской[1], придало нашим частным наблюдениям неутешительную степень достоверности... Нет — поскольку кое-какие наблюдения, хотя и частные, у нас уже имелись... Таблица не давала ответов — она ставила новые вопросы, отвечать на которые предстояло самим.

[1] *Еврейский научный центр, проводивший опрос, на основе которого составлена таблица, создан при Советской социологической ассоциации АН СССР, руководимой академиком Т. Заславской.*

Пока мы с женой вчитывались в приведенные таблицей цифры, в голове у меня роились факты, имена, исторические, всем известные аналогии, и о чем бы я ни думал, одна строчка, один афоризм, приписываемый Юлиану Тувиму, не покидал меня... Афоризм из четырех слов: "Антисемитизм — международный язык фашизма".

КРОНА И КОРНИ

Наисильнейшую противоположность арийцу представляет собой еврей. В то время как этот народец кричит о "свободе", "просвещении", "прогрессе", "правах человека" и проч., он на самом деле защищает и сохраняет свою расу... Именно наше движение стоит перед огромнейшей задачей: оно должно открыть народу глаза на истинного врага сегодняшнего мира.

Адольф Гитлер

В мире всегда были и есть две расы, и это деление рас важнее остальных делений. Есть распинающие и распинаемые, угнетающие и угнетенные, ненавидящие и ненавидимые, причиняющие страдание и страдающие, гонители и гонимые.

Николай Бердяев

1

"Весной 1988 года меня пригласили в одну из алма-атинских школ — встретиться со старшеклассниками.

Поначалу все шло привычным чередом: вопросы, ответы, записки, реплики... Но чьи-то слова меня удивили. Я не поверил, решил, что ослышался. Переспросил. Потом, поняв, что — нет, не ослышался, переспросил снова, уже обращаясь ко всему залу... И в ответ — рванулось, зашумело, перенеслось по рядам:

— Мы за Сталина!..

И это был не один голос, не два, не три... Не знаю, большая или меньшая часть зала, во всяком случае — их было много, этих голосов.

— Почему же — за? — спросил я. Встала девушка, голос ее звучал мягко, застенчиво:

— Моя мама жила в то время, она говорит — все было дешево, и цены каждый год снижались.

Поднялся юноша, он сказал — напористо, с вызовом: — Фронтовики говорят, мы без него войну бы не выиграли..."

Так начиналась моя статья, опубликованная в молодежной газете вскоре после той встречи. Меня ошеломило, что я увидел на ней не чудом уцелевших монстров прошлых времен, не поседелых энкаведешников-кагебешников, не вальяжных партократов, а полных жизни, румянощеких юношей и девушек,

облаченных в джинсовку и варенку, в яркие, модно-импортные курточки, увидел старательно начерченные реснички, перламутровые губки... Но — "Мы за Сталина!.." Вот так фокус!

Предположим, школа захудалая, — думал я по дороге домой, хотя школа, откуда я шел, была как школа, даром что не в центре города. — Ну, положим, родители — озлобленные, негодующие на завязнувшую на месте перестройку: от недовольства настоящим только шаг до идеализации прошлого... Все так. Да ведь какую газету, какой журнал ни возьми — столько всюду об этом прошлом?.. Или ученики ничего не читают помимо программы?.. Быть не может. Но почему тогда они так жадно, глазом не моргнув, слушали, когда я рассказывал — о себе, о своей семье, о КарЛАГе, о тех, кого знал, видел — о Чижевском, Домбровском, Шухове, Худенко?..

"Я шел домой по майским, благоуханным алма-атинским улицам, цвели яблони, островками уцелевшие здесь, в районе новостроек, но и этих бело-розовых, бело-зеленых, белопенных островов, кишащих пчелами, хватало, чтобы медовый их аромат поглотил запахи цемента и пыли. Пригревало солнце, тенькал на перекрестке трамвай, медленно, важно ворочали жирафьими шеями краны... Чем дальше уходил я от школы, прыгая через рытвины, строительные траншеи и арыки, тем незначительней казались оглушившие было меня впечатления...

Но когда меня попросили выступить в газете, я написал статью, не предполагая резонанса, который она вызвала. Видно, какую-то существенную струнку я зацепил... Издательство "Казахстан" — чудеса в решете! — предложило мне заключить договор на книгу на ту же тему. Я подумал-подумал и согласился, решив сосредоточиться не на ужасах сталинщины, а на людях, которые до самого трагического финала ей сопротивлялись. И пока я работал над книгой, передо мной был школьный зал, ребячьи глаза — недоверчивые, тронутые ледочком, то удивленные, жадно распахнутые, то по-взрослому равнодушно-насмешливые...

Но, берясь за работу, я и не предполагал, какие открытия вскоре меня ожидают. Школьная встреча была первым, слабым колебанием почвы — всего лишь толчком. Не толчком. Толчки начались дальше...

2

Однажды — не то в конце лета, не то в начале осени — Александр Лазаревич Жовтис, позвонил мне:

— Юрий Михайлович, — сказал он (хотя разница в возрасте у нас всего пять-шесть лет, а знакомы друг с другом мы более четверти века, все равно мы - только на "вы" и только по отчеству...), — уже несколько человек обращались ко мне с вопросом: журнал печатает роман "Тайный советник вождя", а Герт — член его редколлегии: стало быть, он согласен с этой публикацией?..

Ну, Жовтис! Ну, педант!.. Да вышел же я, вышел из редколлегии, заявление у Толмачева уже полгода лежит!.. Даже больше!

— Но позвольте, Юрий Михайлович, имя-то ваше в журнале по-прежнему значится?

— А я тут при чем?

— Вы должны позвонить в редакцию и потребовать...

— Ладно,— сказал я, про себя чертыхаясь, — как-нибудь позвоню...

Да так и не позвонил. Противно было. Да и кокетством каким-то отдавало бы. Что я, прима-балерина, чтобы без конца привлекать к себе внимание?.. Перед своей совестью я чист, а прочее меня не касается.

Прошла еще неделя-другая. Уже не Жовтис — кто-то еще мне звонил, возмущался, спрашивал, какое у меня мнение о романе...

— Никакого. Не читал, И не собираюсь...

И опять звонок. Опять непреклонный Жовтис:

— Я думаю, — сказал он, выслушав мои вяловатые объяснения, — вам незачем звонить Толмачеву. Надо написать всего несколько строк: "Прошу довести до сведения читателей журнала, что еще в конце прошлого года я подал заявление о выходе из его редколлегии и с тех пор не считаю себя ответственным за публикации на журнальных страницах..." — и отнести это в "Казахстанскую правду", пускай напечатают.

Он произнес эти слова таким уверенных тоном, что я вспомнил, как мой покойный друг писатель Алексей Белянинов острил в подобных случаях: "Конечно, вы только недавно приехали из штата Массачусетс и еще не успели освоиться с нашими порядками..." Не знаю почему, но всем штатам он предпочитал Массачусетс.

— Александр Лазаревич, — съехидничал я, — вы только недавно приехали из штата Массачусетс?.. Вы когда-нибудь видели, чтобы республиканская партийная газета публиковала подобные заявления?..

— Позвольте. — сказал Жовтис по-прежнему непреклонно, — во-первых, вы не частное лицо и, во-вторых, у нас перестройка...

Я постарался переключить наш разговор на другую тему.

Однако спустя несколько дней мы с женой — по-моему, совершенно случайно — наткнулись по местному каналу на телепередачу, которая еще недавно не могла мне ни присниться, ни прибредиться.

3

...Их было пятеро, помимо миловидной, обычно уверенной в себе ведущей, которая на сей раз чувствовала себя до странного скованно со столичными гостями, а под конец и вовсе растерялась и занервничала. Гостями были столичный литератор Николай Кузьмин и автор "Тайного советника вождя" Владимир Успенский. Принимали их, преданно поддакивая каждому столичному слову, трое "наших": Толмачев, Щеголихин и Рожицын. Сыгранная была компания, дружная, первую скрипку в ней вел Владимир Успенский — человек пожилой, несколько расплывшийся, с добродушно-лукавым лицом, в котором на деле не было ни добродушия, ни лукавства, понять это мог бы и самый младший из семерых козлят... После того, как четверо его коллег из слов "бестселлер года", “самый большой успех", "привлек внимание широкого читателя" с шумом и грохотом сколотили подобие золоченой рамы, Успенский разместился в ее центре и принялся повествовать о том, как Михаил Александрович (так запросто называл он Шолохова), покоренный первыми вещами фронтовика-писателя, в задушевных беседах с ним печалился, что не сумел достойно воплотить образ Иосифа Виссарионовича (так и только так называл он, Успенский, Сталина) и просил его, Успенского, в будущем сделать это, выполнить как бы самой судьбой возложенный на его, Успенского, плечи завет... В ласкательносемейном тоне, как жонглер крутящиеся кольца или булавы, он бросал и ловил, низал и связывал слова: Михаил Александрович и Иосиф Виссарионович, Михаил Иванович и Клемент Ефремович, Андрей Андреевич и Георгий Константинович[1], а поскольку за столом шла вроде бы непринужденная беседа, то к упомянутым именам присоединялись, вплетались между ними другие — Владимир Дмитриевич, Геннадий Иванович, Николай Павлович, Иван Павлович[2], и с телеэкрана так и веяло душевно-родственным теплом, будто в самом легком, никак не чрезмерном подпитии собрались кумовья, шуряки, дядья и братаны, равно расположенные друг к другу и меж собою нимало не чинящиеся.

[1]*Т.е. Шолохов и Сталин, Калинин и Ворошилов, Андреев и Жуков.*

[2]*Т.е. Успенский, Толмачев, Кузьмин, Щеголихин.*

И дальше, все с той же добродушнолукавой ухмылочкой, Владимир Дмитриевич принялся рассказывать, что Иосиф Виссарионович был человеком сложным, и не надо бы мазать его лишь черной краской, надо разобраться, что к чему, и, не приписывая лишнего, написать о нем, как положено в настоящей литературе, а не в таких поделках, как у Рыбакова...

И при этом, то есть при упоминании о Рыбакове, вся дружная пятерка понимающе переглянулась и ухмыльнулась. И, чтобы уж совершенно все расставить по своим местам, Николай Павлович заметил, что дойдя до такого... такого... такого приема, чтобы в уста Иосифа Виссарионовича вкладывать *прямую речь* или же излагать его *мысли* — откуда известны *автору,* т.е. Рыбакову, его мысли?.. — это... это... — И все вновь дружно кивали, обращаясь лицами друг к другу, и облако возмущения парило над столом, и а горестных вздохах слышалось: "Святотатство!.."

Вначале, глядя на незатейливый этот спектакль, в особенности же наблюдая за скромно-величавым Успенским, на чью голову час или полтора один за другим возлагались пышные лавровые венки всеобщего признания и умиленной благодарности за наконец-то изреченные правдивые слова о великом человеке, мы с женой хохотали. Потом нам сделалось тошно. Чувство брезгливости, омерзения требовало немедленно крутануть ручку телевизора, переключить программу... Но вскоре мне стало страшно. Ведь люди, находившиеся сейчас там, в телецентре, передача шла в прямой эфир, были для меня не чужаками, не пришельцами с других планет — лишь Владимира Успенского видел я в первый раз. Но Рожицын-то, фронтовик, ярый антисталинист, одаренный подлинным талантом писатель?.. А Иван Щеголихин?.. Радеть заодно с этим "наследником Шолохова" о "человеческом" в чудовище и палаче, когда пролитая им кровь еще не высохла - течет, дымится?.. А Толмачев?.. Да ведь нужно героем быть, чтоб отважиться на такое, а уж чем-чем, но геройством не отличался он ни в какую пору... Николай Кузьмин?.. Этот на многое способен, когда-то, еще до меня, работал в журнале, при Шухове, потом за пьяную драку и скандал его выставили из редакции... Ну, бог с ним, и с той скверностью, которой он начинен — какая-то изуверская, садистская злобность, физиологическая ненависть — к евреям, казахам, о чем известно у нас многим, однако — словом владеет умело, глаз точен, ум ядовито-пронзителен... И слизывать патоку, которой так и сочится этот Успенский, явный, до потрохов сталинист?.. Что-то ненормальное, патологичное происходило на экране: третий год перестройки, поток обличений, изобличений, разоблачений — и

вдруг из него, из этого потока выныривает этот вот благоговейный почитатель Вождя... И где?.. В Алма-Ате, столице многострадальной казахской земли, в Казахстане, полууничтоженным голодом 30-х годов, потерявшем национальную интеллигенцию в накатывавших одна за другой волнах сталинского террора, перенасыщенного лагерями, колючей проволокой, до сих пор не вскрытыми рвами с десятками, сотнями тысяч тел... Да смотрит ли кто-нибудь помимо нас эту передачу? Или в самом деле — все это накрутка, бред, существующий только в моей голове? Этого нет, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!.. Но — звонки, вопросы телезрителей, которые ведущая с застывшей улыбкой на завораживающе-милом личике сообщает гостю из Москвы... Растерянные глаза жены...

Я накручиваю, рву телефонный диск:

— Смотрели?.. Нам звонят:

— Вы видели?..

— Надо прочитать, — говорит мне жена. — Надо знать, что такое этот "Тайный советник" на самом деле...

— К чертям! — рычу я. — Чтобы я к нему хоть пальцем притронулся?.. Да я...

— Надо знать, где и в какое время мы живем, — говорит жена, и в ее чистом, трепетно модулирующем голосе отчетливо проступают металлические интонации Жовтиса.

4

... я добываю номера журнала с "Тайным советником" и приступаю к чтению. Я читаю его и не могу дочитать до конца.. Блевотина неудержимо ползет, подступает к глотке, ударяет в голову — кажется, весь я, с ног до макушки, ею начинен... И это — журнал, которым руководил Шухов? Где печатался Домбровский? Где сияли, как звезды, упавшие с неба на его страницы, имена Платонова и Пастернака?.. Да что журнал — бог с ним, с журналом! Это печатается в моей стране! Где — не знаю, осколком или пулей убитый или заколотый штыком — лежит в земле мой отец! Где в Магадане сгнил его брат! Где миллионы, миллионы людей, которые могли жить, дышать, любить, рожать детей — зарыты, закопаны — с раскроенными черепами, со свинцом в затылках, сожраны цингой, голодом, утоплены в северных болотах!.. Миллионы!.. И после этого...

Пьяный от ярости, от стыда, хватаюсь я за телефонную трубку:

— Это вы, Александр Лазаревич?.. — говорю я, после нескольких неудачных попыток скачущей рукой набрать нужный номер. И срываюсь, не выдержав тона: — Я читаю, читаю!.. — ору я. — Я не хочу больше читать эту гадость! Я не хочу, не могу!.. Не могу, не хочу больше жить в этой стране! В этой подлой, сучьей, холуйской стране! Не могу и не хочу! Не могу и не хочу!.. - Это все, что запомнилось мне из моего оглушительного, слышного, должно быть, на все четыре этажа ора. Я не дал Жовтису произнести ни слова — бросил трубку и тут же набрал номер Берденникова. Он был дома, его густой, бодрый, ничего не подозревающий баритончик плеснул мне в лицо кипятком.

— Ты сука!.. — орал я — уже на него, отчетливо сознавая, что совершаю что-то непоправимое, ужасное — и не в силах удержать себя, остановиться. — И ты, и все вы!.. Все!.. Когда печатался "Вольный проезд", придуривались, будто не понимаете, о чем речь! А про себя думали: нас это не касается, это их, еврейские проблемы! Ну, ну, сиди, сочиняй свою хреновину, свои романы, чеши задницу! Только помни — когда штурмовики у тебя под окном затянут "Хорста Весселя", завопят: "Хайль Сталин!" — будет поздно!..

— Подожди, подожди... — пытался перебить меня обалдевший Берденников. — Ты о чем?..

— О чем?.. О "Тайном советнике"!..

Он не читал, не собирался его читать, как и я... Хотя слышал что-то такое краем уха...

Бедный Жовтис! Бедный Володя!.. Что я им наговорил? Все, что скопилось у меня в душе за это год — год одиночества, бессилия, отчаяния — обрушил я на своих ни в чем не повинных друзей!.. Но разве он, Жовтис, не помнит, как мы с женой примчались к нему после обыска?.. А Володя — как в те же дни мы с ним сматывали с бабин и кромсали пленку с Галичем — у нас дома?.. И как ночью, тайком, сносили в контейнер для мусора в углу двора охапки собранного по страничке, по тетрадочке самиздата — и жгли, жгли, жгли?.. На магнитофоне "Днепр-11", нашем верном товарище тех лет, на его полированной крышке стоял у меня портрет Солженицына — переснятая, увеличенная фотография... Володя бережно взял ее, приложил к груди, глаза его блестели, полные слез, "Прости нас, Александр Исаевич" — сказал он (а уж как в те поры мы, воспитанные на Хемингуэе, чуждались мелодраматических эффектов!..). — Мы запомним... Навсегда, на всю жизнь запомним эту ночь!..." Куда дели мы тогда это фото? Наверное, тоже порвали, сожгли. Ну, нет, — думали мы, — на этих пустяках мы попадаться не будем! Уж если гореть, так по крупному!.." И мы горели... Горела бумага, горела, сгорала

наша жизнь... Выходит, ради того, чтобы все вернулось?.. И роман о Вожде и Гении Всех Времен и т.д. сделался бестселлером, переходящим из рук в руки?..

Я представил, как читают "Советника" в Караганде... Читают доживающие свой исковерканный, искалеченный век бывшие узники КарЛАГа... Их дети, внуки... Как читают его бывшие стражники, верой-правдой служившие Иосифу Виссарионовичу, о котором с таким благоговением повествует Успенский...

Я по автомату набрал Караганду, Михаила Бродского, моего друга. Он был дома. Он тоже ничего не знал, не слышал... Впрочем, слышал: в журнале печатают какую-то вещь, номера в киосках — нарасхват...

— Так вот, — сказал я ему после всего, что сорвалось у меня с языка в ответ на эти слова, — добудь все три номера, прочти и позвони мне. Или я окончательно спятил, или наступили времена, похожие на октябрь 64-го. Только гораздо хуже...

— Если ты так считаешь... — В трубке слышалось его недоверчивое, растерянное, обиженное сопенье. — Я прочту... Но думаю, ты перебарщиваешь... — Он был невысок ростом, толстяк, любитель поесть, лохматая седая борода и улыбка от уха до уха делали его похожим на добродушного бога Саваофа с рисунков Эффеля. Его отца как троцкиста когда-то выслали в Каркараликск, его самого "за сокрытие" этого факта после войны лишили офицерского звания (он был летчиком). Остальную жизнь, сделавшись горняком, он прожил в Караганде - столице КарЛАГа... Там, в Караганде, в пору нашей молодости мы познакомились и стали друзьями — Володя, Михаил и я. Караганда навсегда осталась для нас не словом, не местом проживания — паролем. Кстати, Роберт был среди нас — четвертым...

5

Спустя час после нашего разговора позвонил — дозвонился! — Жовтис:

— Не реагируйте так бурно, — с неожиданно мягкой для него, даже сердечной интонацией произнес он. — Будем реалистами. Просто в нашем обществе существуют силы разного порядка, они выплеснулись в "Памяти", в письме Нины Андреевой, теперь — в романе Успенского, и наше дело — не впадая в панику, дать им отпор. Все равно - "зима не даром злится, прошла ее пора..."

— Отпор? Где и как? — Мне уже стыдно было за свою

истерику.

— Я думаю, первым делом вы должны обратиться в газету с письмом, о котором я говорил. А дальше — подумаем...

6

На другой день утром я позвонил главному редактору "Казахстанской правды" и попросил о встрече.

Мы с ним разговаривали единственный раз — лет 10-12 назад, оказавшись рядом на одном обеде... Я не был уверен, что он помнит меня, мою фамилию. Но по широко-распевной, радушной интонации выходило — помнит.

— А по какому вопросу?..

— Личному, хотя — не совсем... Но об этом — когда увидимся.

Я знаю, выучен: позвони куда-нибудь наверх да изложи причину — тут же отфуболят: "А вы напишите туда-то и передайте такому-то... Я буду держать на контроле..." Нет, надо так: расскажу при встрече...

В назначенный час я сидел в приемной, перед редакторским кабинетом, секретарша косила на меня недовольным глазом: "Я же сказала - *там* совещание..." Ее прямые деревянные плечи, высясь над свирепо трещавшей машинкой, дышали презрением и отвагой: "Только через мой труп!"

За окнами желтела, шуршала первыми палыми листьями осень. Паркетный пол жирно лоснился на спелом сентябрьском солнце. Ни звука не излетало сквозь двойную кабинетную дверь — партийная республиканская газета, незапланированное совещание, государственные вопросы... И тут — я, со своим письмом в полторы строки...

Но вот отворилась массивная, с вершок толщиной дверь, гуськом потянулись озабоченные сотрудники. Последним вышел "сам": высокий, крепко сложенный, с открытым, простым лицом, широкими, уверенными жестами... Я успел порядком подзабыть его, а он, поискав меня глазами, тут же заметил, улыбнулся, извинился ("пришлось... неожиданно..."), распахнул дверь, пропустил вперед... Все сразу сделалось не столь жестким, официальным, как я представлял.

...Тогда, лет десять-двенадцать назад, бывший алмаатинец, журналист, человек порядочный и смелый, однако — чего не случается в жизни! — сделавший некоторую карьеру и перебравшийся в Москву, отмечал выход своей книжки в алма-атинском издательстве и по этой причине сочинил "дружеский

обед", на котором я как сотрудник журнала, где он иногда печатался, оказался среди приглашенных. Тут мы с Игнатовым и познакомились. Он возглавлял республиканскую молодежную газету, и в тот самый день (или накануне) в ней была опубликована огромная и погромная статья, бьющая наповал известного в Казахстане академика Букетова. Впоследствии говорили, что Букетов согласился баллотироваться в президенты Академии, чем вызвал гнев Кунаева, который проектировал на этот пост своего бездарного пьянчужку-братца. Разумеется, в конце концов братец и воцарился в Академии, Букетов же был возвращен туда, откуда и вышел: в Караганду. Дабы скомпрометировать Букетова и была напечатана упомянутая статья: подписал ее некий "кандидат исторических наук", обретающийся в Москве, но все знали, что это всего лишь псевдоним помощника Кунаева — Владислава Владимирова. Собственно, что за статьей стоит сам Кунаев — это было известно, как понял я позже, всем, кроме меня. И вот, возмущенный гнусной статьей, я защищал Букетова и вопрошал главного редактора: "Как могли вы это напечатать?.." Он же смотрел на меня даже не с сожалением, а с умилением, как на окончательного, на всю оставшуюся жизнь идиота, и только кивал, не считая возможным все объяснить... Потом, на обеде, мы сидели рядом, пили, выдавали прочувствованные тосты и восхищались уральским казачеством — в то время меня интересовал Уральск, история казачества, его порывы к воле, поиски Страны Беловодии... Федор Федорович же то ли прожил долгое время в Уральске, то ли там и родился и чувствовал себя вполне казаком — не помню, но помню, что разговор, да еще и после выпитого под хорошую закусь, шел — душа в душу.

И вот через столько лет я оказался в его кабинете, передо мной сидел человек, знающий всю изнанку эпохи застоя... Ему тоже, должно быть, хотелось — провозглашенных перемен, чистого воздуха, справедливости...

— Федор Федорович, — сказал я, — у меня необычная просьба, да ведь и перестройка — дело необычное... Я бы просил вас напечатать это коротенькое письмецо. — И положил на стол перед ним листок: "Считаю необходимым посредством вашей газеты довести до сведения читателей журнала, что еще в декабре 1987 года я заявил о выходе из его редколлегии. Однако мое имя по непонятным причинам до сих пор продолжает фигурировать в журнале.

Тем не менее я не стал бы обращаться с этим письмом в вашу газету, если бы не появление в последних номерах журнала романа В.Успенского "Тайный советник вождя": к публикации

этого произведения, во всех отношениях для меня неприемлемого , я ни в коей мере не причастен".

Игнатов пробежал текст, но, видно, не понял, о чем идет речь, снова пробежал, вернее — прощупал каждое слово, понял еще меньше и вскинул на меня обескураженные глаза:

— Может быть, вы поясните?..

— Нет, — сказал я, — ничего пояснять я не стану, мое мнение может оказаться субъективным. И не в нем суть. Суть в том, что я давно не член редколлегии, но мое имя продолжает значиться в журнале, я обязан рассеять недоумения на сей счет. Думаю, что имею на это право...

— Конечно, конечно... А что, роман в самом деле плохой?.. Я его не читал.

— Прочтите, я никак не хочу вас настраивать.

— Обязательно прочту. — Он вызвал секретаршу и велел сегодня же раздобыть для него номера журнала с "Тайным советником".

7

Прошло несколько дней.

— Ты был прав, — сказал мне Володя Берденникоа, простивший мою бешеную эскападу. — Я прочитал "Тайного советника" - и знаешь, какое у меня ощущение? Будто мы сидим по своим домам, квартирам, занимаемся своими делами — а в город уже ворвались танки, грохочут по улицам, и на каждом - свастика...

— Может быть, мы преувеличиваем? — вдруг усомнился я.

— И если ты думаешь, — как будто не слыша моих слов, продолжал он, — что я собираюсь на все это спокойненько смотреть... Ну, нет, дорогой мой, я вырос рядом с КарЛАГом, знаю, что такое колюча» проволока, и не хочу, чтоб вернулись те самые времена!..

Не ярость, которая требует мгновенного выплеска, а твердая, выношенная под сердцем непримиримость звенела в его голосе.

— Я напишу о "Тайном советнике" все, что думаю, и отнесу в "Казахстанскую правду" — пусть попробуют не напечатать!..

Володя сел за статью.

Звонил Жовтис, звонили Морис Симашко, Николай Ровенский, Галина Васильевна Черноголовина, звонили друзья и знакомые — тоже негодовали, сокрушалась, у всех было одинаковое чувство — коричневая тень легла на землю..." Что они делают с журналом?! — свирепо кричал Бродский, и телефонная

трубка накалялась у меня в руке. — Я все выскажу Толмачеву! Я обращусь в "Литгазету"! В "Мемориал"!..

8

Между тем я работал над заказом издательства "Казахстан". Политическое, сугубо партийное заведение: "Советский народ на вахте мира", "Дорогой побед" и т.д. И чтобы по собственному почину вдруг адресоваться ко мне с предложением написать книгу о перестройке, о сталинщине, репрессиях — и при этом не ставить никаких предварительных условий?.. Возможно ли такое?.. Выходит, возможно! А вскоре я познакомился поближе с работниками издательства и обнаружил: ба, да мы же единомышленники! Радикалы в издательстве?.. Когда я рассказывал об этом, мне никто не верил.

Но вот в кармане у меня лежит подписанный директором договор. И — мало того! — по ходу разговора в кабинете то ли главного редактора, то ли его заместителя рождается заворожившая нас всех троих мысль, попервоначалу даже не мысль, а эдакое маниловское мечтание — составить сборник острой, современной писательской публицистики, от которой по инерции — впрочем, только ли по инерции?.. — все еще открещиваются в богоспасаемых наших краях, и запустить его хорошим тиражом... И вот уже возникают азартные проекты: сборники, появляющиеся периодически... Альманах, выходящий при изда тельстве... И при издательстве же — писательский клуб "Апрель-85" или, скажем, "Публицист"... В республике "непуганых сталинистов" — прямая, открытая борьба со сталинщиной в общесоюзном и местном вариантах. Здесь, где межнациональные противоречия так обострены после декабря-86, поиск соединения, согласия, поиск не имперско-колониальных, а человеческих, нравственных связей... Николай Сетько — подтянутый, внешне холодноватый, по-английски сдержанный, с высоким, отчетливо обрисованным лбом и рыжими усиками, Владимир Шабалин — маленький, с цепкими, зоркими птичьими глазами, стремительный, вихревой — мы втроем толкуем и час, и другой, перехватывая мысли друг у друга и ни в чем не обнаруживая несогласия... Мне порой кажется: не розыгрыш ли?.. Но и на себе я чувствую порой недоверчивые взгляды: мол, трепачи эти литераторы, тут нужна черная работа, и немалая, а гонорар — мизерный... Пойдут ли на это?

Но расходимся мы, расположенные друг к другу, полные идей, о которых я сообщаю своим друзьям...

9

А вскоре мы с женой — в зале Дома кино, где собирается "Мемориал", т.е. не "Мемориал" еще, а желающие в нем участвовать, приглашенные инициативной группой, двести-триста человек, среди них — репрессированные в сталинские времена, и дети репрессированных, и сочувствующие движению — казахи, русские, немцы, корейцы, евреи, татары... Выступавшие говорили - о погибших, о жертвах и палачах, говорили о страшном — но было и горько, и радостно, и тяжко, и светло... Наверное, соединение людей даже в горести и в тяжком способно зажечь в душах огонек, и так же, как не горят поленья порознь, а вспыхивают живым пламенем, сложенные в костер, люди стремятся в иные моменты ощутить себя единым человечеством... Таким вот маленьким человечеством ощущали себя собравшиеся в зале — исстрадавшимся, кровоточащим, жаждущим надежды и взаимоподдержки на тягостном своем пути... И когда отрадное это чувство кто-то попытался нарушить ("Наша земля... Наши жертвы... Наше право..."), поднялась женщина, казашка, доктор наук, дочь погибшего в годы сталинщины, и несколько исполненных достоинства слов сбили пену...

Под конец стали выкликать имена тех, кто мог бы войти в оргкомитет по созыву убедительной конференции республиканского "Мемориала", кто-то назвал меня. Я счел, что после публикации "Тайного советника" было бы нечестно отказываться...

... Нет, думал я, что ни говори, а мы уже не те мальчики, которых так запросто обвели вокруг пальца в шестидесятых. И опыт, и силы у нас - иные. И время, и страна — все, все иное. Сталинисты думают о реванше?.. Ну, что ж!..

10

К нам приехала журналистка из редакции "Огней Алатау", молодая, красивая, резкая, с узким декадентским лицом во вкусе Модильяни, с маленьким капризным ртом, с большущими глазами, поблескивающими, как пронизанные солнцем прозрачные льдинки... Ее скепсис — в сущности, не ее, а всего ее поколения не щадил никого, а уж наше поколение — тем более.. Она взяла у меня интервью для праздничного номера газеты, близилось седьмое ноября... Согласно стандарту, в таких номерах всегда говорят только о вещах "просто приятных или приятных во всех отношениях". Я рассказал о недавней встрече с Жаиком

Бектуровым — 25 лет назад мы работали в Караганде, в отделении Союза писателей, он секретарем, я литконсультантом, сидели в одной комнате,, разговоры наши вращались вокруг проблем, связанных с "культом личности", как это в ту пору называлось... Он писал мемуарный роман "Клеймо" — о лагере, годах заключения, которыми заменен был приговор иного порядка — расстрел, я — писал-дописывал роман "Кто, если не ты?.." Мне удалось напечататься, ему — нет: оттепель кончалась, да и в казахской литературе тех лет привыкли больше к одам, чем к инвективам... Но теперь "Клеймо" сдают в набор.

Я рассказал о Бектурове, о близком появлении его романа: "добрая примета времени..." Потом — о том, в каких условиях работали писатели прежде; вспомнил, как всю редакцию нашего журнала мобилизовали на то, чтобы из уже готового номера — двадцать тысяч номеров — таким тиражом выходил журнал — зыркать страницу со стихами Андрея Вознесенского и вклеить другую. В моем изображении получилось это, пожалуй и резковато, но в сочетании с первым эпизодом даже, пожалуй, и празднично: вот, мол, как скверно у нас было и как прекрасно стало... Разрешенная, поощряемая смелость... Я вполне удовлетворился собой, но просвеченные солнцем ледышки смотрели на меня, не принимая игры.

Им, тридцатилетним, наша осторожность кажется трусостью, наша деликатность — предательством, наша дальновидность — готовностью к сделке с совестью на любых условиях. А может быть, они правы?.. Им не до тонкостей. Мы оставляем в наследство им не страну — развалину, и что для них за важность — кто и в чем виноват?..

Но не так-то просто впервые решиться выступить против того, что столько лет старался беречь, защищать... Против своего — *моего* журнала... Впрочем, это уже не тот журнал, напротив — *этот* враждебен тому... Я решаюсь.

Через два дня газета выходит с моим интервью, в нем есть и такие строки:

"Меня огорчило и встревожило появление в журнале романа В.Успенского "Тайный советник вождя". В то время, когда по всей стране разворачивается очистительный процесс реабилитации жертв сталинских репрессий, когда вырисовывается, наконец, представление об истинных масштабах трагедии, В.Успенский стремится всячески реабилитировать Сталина — "вождя народов". Или, по крайней мере, объяснить его кровавые преступления плохим характером, неудачами в семейной жизни. И помогает ему в этом журнал, который в самые трудные времена имел мужество отстаивать передовые позиции, в литературном

процессе. Я убежден, что публикация эта противоречит традициям, связанным в журнале с именем Ивана Шухова".

Первым на "Советника" две недели назад в тех же "Огнях" откликнулся Жовтис. Мой отклик был вторым.

Схватка началась.

11

Чудеса в решете...

"Огни" осмеливаются подать голос — "Казахстанская правда" помалкивает. Редактор "Огней" — маленькая, изящная женщина, с первого взгляда похожая на фарфоровую статуэтку — Надежда Халиловна Гарифуллина (все называют ее Надя Гарифуллина — только так). Редактор "Казахстанской правды" Федор Федорович Игнатов... Я уже описывал его: грандиозного роста мужчина, крепкий, уверенный в себе... А вот поди ж!

Ай да Надя!.. Вот тебе и фарфоровая статуэтка!

Я позвонил ей, прочитал стихи Некрасова-Коржавина — про ту женщину, которая "коня остановит", и про избы, которые все "горят и горят"... Мы посмеялись.

А через день-другой приходит "Огонек" — как обычно, запаздывая, пока доберется до Алма-Аты, — и в нем, среди писем в редакцию, такое:

"Глубокоуважаемый литературный критик Татьяна Иванова![19]

[19]*Популярный в те годы обозреватель "Огонька".*

Обязательно прочтите в журнале "Простор" в № 7-9 за нынешний год роман московского писателя Владимира Успенского "Тайный советник вождя", который, как сообщил по казахстанскому телевидению автор, не принял к публикации даже "Наш современник".

Такой апологетики Сталина, сталинизма мы еще нигде не читали. Видимо, не случайно этот роман был привезен именно в Казахстан, где так сильна кунаевщина, а с нею и сталинщина...

Т.Я.Ильина, И.И.Голяк, врачи, и еще пять подписей, Алма-Ата
".

Ну, вот и "Огонек" откликнулся!.. Забавно, правда, что и на сей раз храбрецами оказались женщины. Феминизация нашей общественной жизни — налицо...

12

Десятого ноября вышел номер "Казахстанской правды" с

откликами на "Советника". На полосе, озаглавленной "Кто есть кто", кирпичом внушительных размеров размещалась статья Володи Берденникова, ради которой он две недели читал, полосовал роман карандашом, грохотал на машинке... Статья называлась довольно старомодно: “Время определить позицию", но начиналась в совершенно не подобающем для органа ЦК тоне:

"Уже ползут, ползут слушки:

— Читали? Надежда-то Аллилуева спала, говорят, с Яковом Джугашвили, сыночком Сталина от первого брака...

— Да что вы! Это где же написано?

— Да то ли в "Известиях", то ли в "Правде" даже...

Но напрасно, уважаемые читатели, вы будете искать в "Правде" или в "Известиях" такого рода "клубничку". О ней с аппетитом рассказывает московский романист В.Успенский в литературном журнале, издающемся в нашей республике. И эти сенсационные открытия из области семейного быта Вождя и Учителя нужны В.Успенскому, конечно же, не сами по себе, а для куда более важных "открытий" в истории нашей страны. "Трудно, невозможно понять и объяснить перелом в психике Иосифа Виссарионовича, начавшийся к концу двадцатых годов и обострившийся самые скверные черты его характера, если не учитывать те неприятности, которые обрушились на Сталина в личной жизни", — сообщается в романе.

Блистательно усвоив концепцию "Краткого курса", В.Успенский не может, однако, обойти кое-какие досадные мелочи, имевшие место при жизни "великого человека". Эти мелочи наконец-то нашли объяснение: оказывается, изничтожение крестьянства в конце двадцатых — начале тридцатых годов, страшная мясорубка тридцать седьмого, дальнейшие почти не прекращавшиеся репрессии — все объясняется повышенной сексуальностью Надежды Аллилуевой и Якова Джугашвили, а также характером сталинской тещи, начисто лишенной какого-либо понимания своего зятя...

Отдадим должное Б.Успенскому: он понимает, что в подобную трактовку истории, особенно в свете фактов, количество которых растет день ото дня, не поверит даже замшелая старуха из медвежьего угла, а потому в повествовании, кроме описанных выше морально неустойчивых фигур, сыгравших зловещую роль в жизни народов нашей страны, возникает сатанинская фигура Троцкого..."

Когда Володя писал свою статью, о Троцком еще не было принято говорить, его имя с опаской поминалось то там то сям в лучшем случае в нейтральном контексте. Швыряние же камней в него почиталось делом достойным и поощряемым сверху. Однако

поощряемым-то поощряемым, а времена уже были не те, драгоценные для тайных и не тайных советников...

"В борьбе со Сталиным он не гнушался никакими средствами. Сегодня он мог вылить на Иосифа Виссарионовича ушат демагогических помоев, а завтра всенародно раскаяться, взять свои слова обратно... Это еще один из его грязных приемов ведения войны. И в этом отношении Сталин выглядел несравненно чище и принципиальней".

Тут, как и во многих других местах романа, автор рассчитывает на простодушного читателя, заглатывающего все, что ему не поднесут... Но к оценке политических деятелей мы стали теперь подходить куда осмотрительней. А потому возникают вопросы. Какие именно "демагогические помои" лил на Сталина Троцкий, какие слова брал обратно, какими средствами не гнушался? Кто кого в конце концов выставил за пределы страны, кто кого убил в далекой Мексике с помощью своих агентов, кто расстрелял ленинский ЦК, кто убил Кирова, а если вести речь о нашей республике, где появился роман, то кто истребил цвет нации, кто погубил сотни тысяч казахов во время сталинской коллективизации? Если все это было достигнуто чистыми средствами, как думает В.Успенский, то какие же средства, по его мнению, "грязные"?...

...Но порой автор отбрасывает маскировку... "Считаю, если бы республики объединились так, как предлагал Иосиф Виссарионович, мы бы избежали потом многих трудностей"... Речь идет о пресловутом плане автономизации, предложенном Сталиным, но отвергнутым Лениным. План этот предполагал вхождение национальных республик в состав РСФСР на правах автономных, с жесткой централизацией власти в Москве. Ленин исходил из того, что все республики равноправны, все входят в Союз добровольно и по своему желанию выходят из него.

Однако впоследствии провозглашенная в нашей стране национальная политика была совершенно извращена Сталиным.

О каком равноправии можно было говорить, когда одного движения его бровей было достаточно, чтобы высылать и репрессировать не людей — целые народы?..

...И все-таки — какова сверхзадача романа В.Успенского, его генеральная идея?... Поначалу в романе раз-другой мелькает фраза о единой и неделимой России. И — не настораживает: ведь слова эти вложены в уста повествователя, а он — дворянин, бывший царский офицер, приближенный к генсеку. Потом В.Успенский, как бы рассердись на самого себя за нерешительность, заявляет напрямик: "Очень обидно, что лозунг "За единую и неделимую!" был выдвинут не Советской властью, а

белогвардейцами".

С этого момента становится ясно, почему, помимо всего прочего, сердцу В.Успенского так любезен Сталин. И почему он гневается по поводу того, что "румынские бояре отрезали Бессарабию", что "отделилась Польша", что "не смогли удержать (а может не особенно старались?!) Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию", что и в Средней Азии "вообще не поймешь что"... Его до глубины души возмущает, что "будущее нашего Российского государства по иронии судьбы пытались решать эти двое: еврей и грузин" (речь идет о Троцком и Сталине). И "он[1] гордился славным наследием россиян и с конца тридцатых годов говорил с любой,трибуны, и внутренней, и международной, не иначе как "мы русские", подчеркивая тем самым непосредственную связь с прошлым, преемственность... И это делает ему честь!"

[1] *Т.е. Сталин.*

Заканчивалась статья Берденникова словами: "Хочется задать вопрос редколлегии журнала, отдавшего три номера роману "Тайный советник вождя": публикация таких произведений — это и есть, на ваш взгляд, гласность, которую принесла нам перестройка? Это и есть — не на словах, а на деле — осуществление резолюции XIX Всесоюзной партконференции, в которой сказано: "Недопустимо использование гласности в ущерб интересам Советского государства, общества, правам личности, для проповеди войны и насилия, расизма, национальной и религиозной нетерпимости..."?

13

Не пройдет и года, как на пещерный вопль — "зов крови" — прозвучавший в Москве, откликнутся весьма сходного тембра завывания в совсем иных градах и весях, вспыхнет дымное, чадное пламя Ферганы, загремят по тбилисскому проспекту Руставели траки армейских танков, забьется в конвульсиях Молдавия, а там — трехдневным погромом армян взорвется Баку, неистовые толпы, грабя и насилуя, захлестнут Душанбе — и шестисоттысячный вал беженцев хлынет в Россию... Много ли ума требовалось, чтобы все это предвидеть? И такое ли уж изощренное чутье необходимо было, чтобы почуять зловещую гарь?.. Мы еще не понимали, кому и зачем понадобилось второпях собирать сухой валежник, и складывать горкой, и дуть, дуть, дуть на сухой, тлеющий мох, пока не вспыхнут над ним белые язычки, не забегают по сушняку... Мы не догадывались об истинных масштабах начинающегося пожара, но... Володя

Берденников сидел за машинкой и бил, бил, бил по клавишам, объяснялся с редактором газеты Ф.Ф.Игнатовым, доказывал, упрашивал, грозил, умолял... Не помню теперь, кто именно позвонил спозаранок десятого ноября и сообщил, что газета продается в киосках...

14

В том же номере было напечатано мое "Письмо в редакцию" и еще три материала: письмо М.Исаева, преподавателя алма-атинского института иностранных языков, кандидата филологических наук ("В.Успенский буквально курит фимиам Иосифу Виссарионовичу, лишь время от времени вспоминая, в какое время публикуется его произведение... Мне кажется, писатель или глух и нем от чрезмерной любви и преданности Сталину, или до сих пор боится его"), письмо Л.Шефера, профессора, зав. отделом Казахского института туберкулеза, и В.Волковой, врача-бактериолога, кандидата медицинских наук ("Автор устами Сталина обвиняет Троцкого в сионизме. Очевидно, версия о сионизме Троцкого принадлежит не Сталину, а автору романа, и здесь проявляется известная у многих современных антисемитов тенденция отождествлять с сионистами весь еврейский народ"), а также пространная статья К.Гайворонского: "Хотелось бы обратить внимание на художественную убедительность произведения... В произведении представлены живые, искрометные детали гражданской войны... Читая роман, не раз удивимся: как много "белых пятен" в нашей новейшей истории".

15

Телефон в тот день и в последующие дни трещал беспрерывно.

Морис Симашко, собкор "ЛГ" Саша Самойленко, Виктор Мироглов, Галина Васильевна Черноголовина, Руфь, друзья нашего дома, друзья наших друзей, знакомые литераторы, Александр Лазаревич Жовтис, — кто только не звонил! Мало того — Олжас Сулейменов обнял в своем кабинете Володю Берденникова и чуть не расцеловал, во всяком случае долго жал ему руку и повторял: "Спасибо, старик... Спасибо..." И все, кто держал нашу сторону, тоже изнемогали от звонков, разговоров о журнале, о сталинистах, о том, что те отнюдь не сдали позиций и

рано, рано успокаиваться...

Мы это знали.

Втроем — Володя Берденников, Саша Самойленко и я — зашли мы к директору издательства "Казахстан", заранее договорившись о нашем визите, и были приняты не просто, как говорят в дипломатических кругах, "с пониманием", но словно желанные гости. "Два номера альманаха в год?.. Мы даем вам четыре!" - сказал директор. - "Сколько времени на производство?.. С момента сдачи — три месяца!.." Крупнотелый, массивный, неторопливый в движениях, разделяющий протяжными паузами наши вопросы и свои ответы, он вызывал доверие. Разговор был короток, деловит. Борьба с наследием сталинщины?.. Очень хорошая, современная идея, как раз то, с чем слабовато у нас в республике...

Пожимая на прощанье руку директору, мы обещали: в начале декабря наш первый сборник будет лежать у него на столе. Через несколько дней в небольшом кабинете зам. главного редактора кое-как разместилось человек двадцать, среди них — Черноголовина, Жовтис, Тамарина, Косенко, Герольд Бельгер, Татьяна Квятковская, Женя Дацук, Леонид Вайсберг, Берденников, я... Половина собравшихся - журналисты, юрист, переводчик, половина (десять человек) — члены СП. Впервые — без начальства: все равны, нет "ответственных" и "не ответственных", все вольны писать как и о чем хотят, лишь бы — ярко, смело, в "перестроечном" духе. Название?.. "Альтернатива"... "Личное мнение"... "От первого лица"... Выбрали редколлегию первого номера. Прикинули — что у кого уже написано, что и когда будет готово. Под конец сбросились по десятке: на машинистку. И когда червонцы наши, без задержки вынутые из кошельков и карманов, легли кучкой посреди стола, все как-то успокоенно переглянулись: дело будет!..

Расходились все с маленьким праздником в сердце...

16

И — как продолжение этого праздника — "Мемориал".

Собственно, пока еще только первый к нему шажок: в Доме кино, в уютном просмотровом залике заседает оргкомитет под председательством кинодокументалиста Габитова: оргкомитет должен созвать учредительную конференцию "Мемориала" у нас в республике. Габитов — квадратный, седоватый, с мягкими, расплывшимися чертами лица и немного растерянными глазами... В нем привлекает интеллигентность, искренность (он

из семьи репрессированных), но не слишком ли он многоречив?.. Ему бы побольше деловитости. А впрочем — кто из нас, тех, кто тут собрался, знает, как создаются — общество, партия, организация?.. Мы привыкли к начальству, команде, "взвод, равняйсь... На первый-второй рассчитайсь..." И потому три-четыре часа в неделю, которые мы здесь проводим, наполнены скорее всплесками эмоций, чем конкретным продвижением к цели, ради которой мы собрались, точнее — ради которой нас выбрали.

Вот самый, видимо, близкий к Габитову среди нас человек — пожилой, с недобрым, дергающимся лицом: он постоянно рвется распоряжаться, кричит, багровеет, напирает на Габитова, бог знает отчего взвинчиваясь и распаляясь. Вот известная мне по собраниям в Союзе писателей поэтесса — как-то раз ее пылкая, гневная речь, произносимая с трибуны, держала в напряжении весь непривычный к вниманию и сосредоточенности зал — даже русскоязычная часть, не понимая, чувствовала искренность, силу и боль ее слов... Три-четыре журналиста, инженер, историк, неожиданно вспыхивают споры. Перечислять ли деньги на памятник жертвам сталинских репрессий в Москве или следует открыть собственный счет?.. Ведь здесь, в Казахстане, во время голода 30-х гг. погибли миллионы?..' И уже обидой вспыхивают глаза, дрожит голос, любое слово поперек — покушение на святая святых: на память погибших, на достоинство нации... Люди, до того во всем солидарные между собой, разделяются на две враждующие стороны, в просмотровый залик врывается эхо давних, не остывших страстей... Мне вспоминается Чехословакия, черные Чумные столбы, многофигурные памятники, воздвигнутые в каждом городе и сельце в память о поразившем Европу море в XVI веке... И когда я говорю о сталинщине как чуме, поразившей, не разбирая, все народы, и о том, что и в Москве, и в Алма-Ате, и в любой деревеньке или ауле должен бы стоять большой или маленький памятник погибшим, и так оно, несомненно, и будет когда-нибудь, если реанимированный сталинизм не построит на месте прежних новые карлаги, но разве не ради того, чтобы не допустить этого, создан "Мемориал"?.. — когда я говорю об этом, лица проясняются, ко мне подходят, благодарят...

17

"СТРАННАЯ ПОЗИЦИЯ.

Уважаемый товарищ редактор!

Обратиться к Вам меня заставили обстоятельства, связанные

с публикацией в журнале первой книги романа Владимира Успенского "Тайный советник вождя".

Печатно и устно писатели Юрий Герт, Александр Жовтис, Владимир Берденников, Морис Симашко, Галина Черноголовина подвергают этот роман, на мой взгляд, облыжной критике.

Например, в интервью "Кто, если не мы?" ("Огни Алатау", 7 ноября с.г.) Юрий Герт пишет, что он огорчен и встревожен появлением в журнале романа В.Успенского. Разделяет эту точку зрения и А.Жовтис ("Огни Алатау", 23 октября с.г.), который высокомерно поучает журнал и его сотрудников. "Нет уж, давайте обойдемся, — пишет А.Жовтис, — без сталинской "диалектики", приспосабливающей гуманизм к концлагерям, а интернационализм к практике слецпереселений".

Я солидарен с автором, он выписывает Сталина не как человека, который родился с топором в руках, а как многогранную личность со своим достоинствами и пороками. Чтобы сократить цитату из путаной статьи В.Берденникова ("Казахстанская правда", 10 ноября с.г.), перескажу смысл одного абзаца: "Сталин выглядел несравненно чище и принципиальнее Троцкого"... Лев Давидович Троцкий и не мечтал, конечно, что найдет в лице Берденникова столь велеречивого адвоката. Неужели не знал В.Берденников, что из политических деятелей самой позорной клички XX века удостоился Троцкий. "Иудушкой" назвал его Ленин. Со всеми вытекающими отсюда эпитетами.

Думаю, что в очень неловкое положение поставили себя "критики" романа... Доводы всем известны: кто расстрелял ленинский ЦК, убил Кирова, "а если вести речь о нашей республике, где появился роман, кто истребил цвет нации?" Отвечаю: Сталин и созданная им система. И в свою очередь хочу задать вопрос: зачем же вы, уважаемые оппоненты, торопитесь поперед батьки в пекло? Массовые, страшные репрессии начались после 1 декабря 1934 года[1], дня убийства Кирова. А первая книга романа заканчивается событиями 7 ноября 1932 года...

[1]*Видимо, Г.Толмачев вслед за В.Успенским коллективизацию 1929-30 гг. считает достижением "Сталина и созданной им системы".*

В конце своей статьи В.Берденников задает вопрос нашей редакции: "Публикация таких произведений — это и есть, на наш взгляд, гласность, которую принесла нам перестройка?"

По поручению редакции заявляю:

— Да, публикация и *таких* произведений — это и есть, на наш взгляд, гласность, которую принесла нам перестройка.

Геннадий Толмачев, главный редактор журнала" ("Казахстанская правда", 20.11.88.)

18

В сопровождающем статью Г.Толмачева заключении от имени редакции "Казахстанской правды" слышались хорошо знакомые интонации: "В дискуссии проявилась нетерпимость к позиции журнала и скрытый призыв приструнить и редколлегию его, и Союз писателей, чьим органом является журнал..."

19

Перестройка, гласность, плюрализм... Прекрасные, вошедшие в обиход слова. Но иногда мне казалось, что это волки умильно разглагольствуют перед баранами о плюрализме. Те самые волки, которые только и знали всю жизнь, что рвать на части этих же баранов, жрать их мясо, разгрызать сахарные бараньи косточки. Волки как были, так и остались при своем исконном оружии — быстрых, мускулистых лапах, когтях, клыках. Однако едва баранье стадо застучало копытцами, заблеяло, посмело выразить недовольство собственным перманентно-жертвенным положением, как волки тут же ощерились, зарычали: "Мы за плюр-р-ализм! За свободную дискуссию между волками и овцами! За священное право для волка быть волком, для овцы оставаться овцой!.."

20

В студенческой городской газете "Горизонт" появилось объявление: журнал проводит обсуждение "Тайного советника", которое имеет быть в Союзе писателей... — Дураков нет! — сказал я себе, узнав об этом. Дискутировать с волками — значит, лишний раз подтвердить, что ты баран!..

То же самое решили Павел Косенко, Жовтис, Морис Симашко. Володя Берденников за неделю до обсуждения уехал в Караганду собирать материалы о КарЛАГе... Правда, Галина Васильевна Черноголовина заявила, что пойдет на обсуждение и выступит. За нею к тому же склонилась и Руфь Тамарина. Я понимал их: они еще верили в то. что возможен компромисс, им страшно было рвать с журналом, по сути — с Союзом писателей. Словеса о "плюрализме" они понимали всерьез и надеялись на соблюдение правил игры с обеих сторон... Я не разубеждал их. Но вот заковыка: оставаясь при своем мнении, твердя про себя "Дураков нет!.." — я представлял себе, как посреди *заранее подобранного,*

подготовленного зала (тут уж наши "плюралисты" постараются!) две эти немолодые женщины станут отбиваться от злобных, наглых наскоков — а мы, мужчины, все как на подбор, со своими скептическими ухмылками будем отсиживаться по домам... А главное: придет молодежь, студенчество — их и будут обрабатывать, при нашем неучастии... К тому же — как воспримут студенты наше отсутствие? Как трусливое дезертирство с поля боя? А как иначе?.. Короче, перед самым обсуждением для меня сделалось ясно, что никак нельзя отстраниться от него, хотя это и было бы самым мудрым...

21

И вот — Союз писателей, куда двадцать три года я входил, как входят в родной, хорошо обжитый дом: то предвкушая радость встречи с близкими тебе людьми, то досадуя на ссору с кем-то, возникшую из чистого недоразумения, то с затаенным в душе протестом против мелочных дрязг и интриг, столь далеких от вечного поиска Истины, Добра и Красоты, якобы присущего литературе... Теперь я входил сюда, как в родной дом, захваченный врагами. Хотя внешне все здесь выглядело по-прежнему: те же ковровые дорожки выстилали паркет, сыто лоснились лестницы серого мрамора, по-прежнему неспешно, замедленным шагом двигались люди... Мы с женой прошли в конференц-зал и сели поближе к сцене. Вскоре здесь же оказались Руфь Тамарина, Виктор Мироглов, Николай Ровенский. Подошла немного спустя и Галина Васильевна, рядом расположилась "группа поддержки" - наши единомышленники. Немного поодаль независимо, нога на ногу, скрестив руки на груди, сидел Саша Самойленко, еще через несколько рядов — Женя Дацук, высокая, красивая, с яблочно-свежим румянцем на щеках — член клуба "Публицист". Зал был заполнен примерно на одну треть, а то и меньше.

Наши оппоненты заняли места в первых рядах перед самой трибуной — позже я понял, с какой целью. На сцене, в суперсовременном "демократическом стиле", стояли журнальный столик со стулом, перед началом здесь появился Ростислав Петров, ответственный секретарь журнала. В руке у него, словно змеиная головка, зажат был микрофон, провод, извиваясь, кольцами ложился на пол и тянулся, сбегал с возвышения вниз... Еще до того, как Петров обратился к залу, сидевший перед нами респектабельного вида мужчина громко спросил, повернув к нам начавшую серебриться голову:

— А те, которые против, пришли?..

— ??

— Спрятались! Побоялись! — ответил сам себе. Респектабельный, снисходительно посмеиваясь и ничуть не подозревая, кто перед ним. Я заметил в первом ряду несколько человек в военной форме, среди них — двух-трех стариков, облаченных в кители защитного цвета, с множеством орденских планок на груди. Почтенные седины, как писали в старинных романах, "украшали их головы".

После того, как Петров, поглядывая на часы, несколько раз откладывал начало ("Может, подождем, кто-нибудь еще подойдет?.."), обсуждение, наконец, открылось.

Первым поднимается сидящий впереди нас Респектабельный — из разросшейся во времена Кунаева когорты уверенных в себе, властных, агрессивно прущих вперед и только вперед людей, хозяев страны и жизни.

РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ: Хотелось бы узнать: поскольку чувствуется, что роман незаконченный, намерена ли редакция публиковать его дальше? Читатели проявили к этому произведению большой интерес, и я задаю свой вопрос от их лица... Моя фамилия — (произносит неразборчиво), я доцент, преподаватель университета.

ПЕТРОВ сообщает: да, зная пожелания многочисленных читателей, журнал намерен в будущем году печатать продолжение.

ПЕРВЫЙ ВЕТЕРАН: Когда роман раскритиковали в газете, нам, читателям, захотелось, чтобы все эти товарищи, авторы рецензий, отчитались перед нами по этому поводу! Нам, например, понравилось последнее выступление товарища Толмачева по этому вопросу!..

ГОЛОСА: Они здесь! Здесь, в зале!..

Так, — думаю я, — для затравки разыгрывается "национальная карта": ветераны-аксакалы, грудь в орденах... Тут уж не Успенского критикуешь - тут покушаешься на святыни!.. Ай да Ростислав!..

ГОЛОСА: А как быть с оценкой Сталина?..

ВТОРОЙ ВЕТЕРАН: Мое мнение — Сталин не нуждается в оценках... И я против таких слов: "репрессии", "репрессированные"... Сталин показал себя, когда был Главнокомандующим: кто привел нашу страну к победе — Хрущев, Берия?.. Нет, Сталин! Говорят, Сталин виноват л убийстве Кирова. Но доводы эти впервые привел Троцкий. Это его версию использовал Хрущев на XX съезде. Еще предстоит выяснить, кто на самом депе убил...

ГОЛОС: Николаев!..

ВТОРОЙ ВЕТЕРАН: ...по чьему приказу: Сталина, Троцкого или Хрущева?.. Вы, кто в этом зале, не можете давать оценку Сталину. Его имя известно всему миру... Такие рассуждения, как у критиков романа, меня оскорбляют. Сейчас в Москве рассматривается в суде жалоба одного товарища... Шеховцов его фамилия... А я собираюсь подать в суд на киргизского писателя Айтматова за оскорбление товарища Сталина!

(оживление в зале).

ГОЛОС: На Горбачева подайте!

(аплодисменты).

На такой эффект авторы сценария не рассчитывали. Даже должность первого выступавшего — доцент, даже орденские колодки ветеранов — тоже, кажется, университетских преподавателей с кафедры марксизма - не выручили, напротив, увеличили пародийность ситуации... Я вышел к трибуне.

Вот они, мои прежние товарищи, больше — почти друзья по журнальной работе — внизу, кучкой: Антонов... Рожицын... И, понятно, - Карпенко, Киктенко, Гусляров... Мы уже схлестнулись по поводу очерка Цветаевой — и теперь так закономерно, неотвратимо антисемитизм сомкнулся с апологией сталинщины...

— Здесь были высказаны пожелания, чтобы выступили те, кто не согласен с публикацией "Тайного советника", — сказал я. Но Морис Симашко лежит в больнице, Берденников в Караганде, у Александра Лазаревича Жовтиса — лекции, он в институте, и поскольку они лишены возможности выступить, прошу прибавить мне ровно пять минут к положенным десяти по регламенту...

Сидевшие напротив трибуны перетянулись и заволновались, загудели: "Нет! Не давать!.." Ростислав Петров — у него даже ноздри дрогнули, затрепетали от плбтоядного возбуждения - напористо обратился к залу:

— Как, дадим?.. Или будем считать, что все обязаны придерживаться принятого регламента?..

(Смутный гул. Я вижу, как подскакивает, словно на раскаленных углях, Карпенко, мотает сивой, щетинистой бороденкой: "Не давать!.." И откуда-то сбоку: “Дать! Пускай говорит!..").

ПЕТРОВ *(со скромным торжеством):* Требуют соблюдения регламента!..

Что поделаешь?.. Я начинаю.

— В том же номере "Казахстанской правды", где напечатано письмо Геннадия Толмачева в редакцию, на обороте страницы рассказано тоже о Толмачеве, но — другом. Этот другой Толмачев был капитаном милиции, и его убили. Убили его же коллеги, милиционеры. Они убили его не одного: они убили еще и рабочего Поляковского — увезли за город, били ногами, гирей в 24 килограмма, потом отрезали голову, закопали, тело бросили в Ишим. Их было трое - офицеров милиции. Случай этот произошел в Целинограде.

Мог ли он послужить сюжетной основой для художественного произведения? Думаю — да, мог. Ведь написан великий русский роман о том, как один студент зарубил топором старуху, а затем и ее сестру. И другой великий русский роман -о том, как отравили пьяного купца в меблированных комнатах. Так что уголовное преступление — традиционный объект изображения в русской литературе. Весь вопрос — для чего?.. И Достоевский, и Толстой писали, грубо говоря, ради того, чтобы душа читателя содрогнулась и очистилась.

История в Целинограде могла бы заинтересовать писателя. Но при одном условии: если бы писатель задался целью рассказать историю страшного падения этих людей. Историю их расчеловечивания.

Но что такое - целиноградские преступники? Это мизер. Они убили всего двоих. А если бы сто? Тысячу? Миллион?.. Десять миллионов?.. Тогда их ранг вырос бы многократно. Они уподобились бы Чингисхану или Гитлеру... Каждый из этих величайших злодеев мировой истории имеет свой облик, свои особенности. Но художник, обращаясь к этим феноменальным характерам, видит перед собой все ту же задачу: постичь, как может человек бестрепетно, безжалостно, мало того — ставя это себе в заслугу и доблесть — уничтожить миллионы — и не испытывать ни малейшего угрызения совести?..

Такого рода интерес писателя к подобным людям, подобным выдающимся злодеям понятен. Не понятно другое: каков был замысел Успенского? Он хотел постичь трагедию Сталина? Ужаснуться глубине его падения? Или оправдать его и возвеличить?..

"Я так люблю Татьяну милую мою", — писал Пушкин, ничуть не тая, как дорога ему героиня. Успенский тоже не скрывает своего отношения к своему герою-рассказчику. Вначале он, представляя читателю Лукашова, говорит, что Лукашов — - большой друг высоко ценимого автором генерала Белова, затем говорит о Лукашове: "Я сразу почувствовал, что этот человек благороден по своей сути, он не способен искать личную выгоду".

Этого мало: сам Жуков, сообщает на тех же первых страницах Успенский, "первым уважительно поздоровался при встрече с Николаем Алексеевичем" и объявил автору, т.е. Успенскому: "Неправды от него не услышишь". Короче, Лукашов представлен автором так, что в газетах читателя он заслуживает абсолютного доверия. Это важно, т.к. дальше именно Лукашов ведет повествование, его глазами — и ничьими больше — мы наблюдаем происходящее в романе, главное же — Сталина.

Вначале несколько озадачивает этот выбор. Отчего Сталин подается нам именно через восприятие Лукашова - дворянина, белого офицера? Отчего именно он оказывается ближе кого-либо из рабочих, крестьян? Отчего именно он — переметнувшийся к красным белый офицер?.. Пока не станем пытаться ответить на этот вопрос, лучше проследим, как воспринимает Сталина Лукашов:

"Да, этот человек, с которым так случайно свела меня судьба, был достоин самого глубокого уважения. И это чув ство — чувство глубокого уважений — возникло и окрепло во мне".

И далее: "Мне нравились простота Иосифа Виссарионовича, его естественный демократизм". Да. Сталин — естественный отец русской демократии... "Сталин говорил... обычным своим голосом, и это очень нравилось мне. Проигрывать без истерики, с достоинством — это одна из отличительных черт порядочного человека". Итак, Сталин достоин уважения, он демократ, порядочный человек... Далее объясняется, что Сталин — избранник фортуны, "на котором лежит отпечаток истории". Тут же слышится стиль державинской оды... "Сталин был честным и добросовестным учеником Ленина, он видел смысл своей жизни *в* осуществлении идей марксизма-ленинизма. Курс намечен был верный, а ошибаться человек может на самом правильном пути, особенно если первым прокладывает дорогу в будущее". Здесь и в других случаях Лукашов рассуждает именно так — в стиле инструктора райкома застойного времени, когда хлебом не корми — только дай потолковать о "первопроходцах" и "верном курсе". Правда, не ясно, где Лукашов изучал марксизм-ленинизм. Уж не в кадетском ли корпусе?..

(В зале нарастает шум, сидящие напротив трибуны работники редакции вскакивают, жестикулируют, ободряюще машут руками тем, кто шумит сзади. Ростислав Петров безмолствует).

Я: Может быть, вы разрешите мне продолжить?

ГОЛОСА: "Просим! Просим!" — сквозь неразборчивый гул.

Я продолжаю: Можно увеличивать количество примеров, но боюсь утомить. Да и, в сущности, сама тема как-то не располагает

к смеху. Тем более, что автор при всем желании не может умолчать о преступлениях своего любимца, которые сегодня у всех на виду. И он говорит о них — но как?.. Он говорит о них так, что наше нравственное чувство оскорблено тем позитивным комментарием, который дается устами рассказчика на протяжении всего романа, о каких бы злодеяниях Сталина не заходила речь. Автор нигде не поправляет своего героя-рассказчика и не возражает ему, и оттого оценки Лука-шова выглядят окончательными в кругу затрагиваемых в романе проблем. Например, упоминается, что голод 1930-33 годов "унес около семи миллионов жизней плюс 750 000 уничтоженных кулаков и подкулачников". Эту беспримерную трагедию автор настойчиво называет "ошибкой" Сталина. "Ошибка!.." Путь-то намечен верный, да вот вышла кое-какая ошибка.*. Ошибка — размеров в 8 миллионов смертей?.. В русской литературе жизнь каждого человека считалась величайшей ценностью. Да что там — жизнь! Достоевский посвятил проникновеннейшие строки "слезе ребенка..." Но по Успенскому величайшее преступление Сталина — всего лишь "ошибка"!..

(Шум в зале. Возгласы: "Хватит!..")

Я: Прошу еще две минуты! Мне достаточно двух минут!..

(Шум. "Дать!.. Не давать!..” Ростислав Петров, блюдя объективность, проводит голосование: дать!..)

Вообще этот "выдающийся человек нашей эпохи", говоря словами автора, имел ангельский характер, и если бы не дура-теща, которая, как сказано в романе, не ценила своего счастья быть тещей великого человека, и если бы не истеричка-жена да вдобавок не злодей Троцкий... Вот причина того, что нрав у Сталина портился, и это порой скверно отражалось на судьбах страны, хотя в общем-то все шло "верным курсом..." Вот глубокое художественное открытие Успенского, вот смысл романа... К нему автор приходит с помощью своего героя-рассказчика. Не будь его, Успенскому пришлось бы давать оценку "вождю народов" с позиций людей восьмидесятых годов, которым известно, к чему привело то, что Лукашов мягко называет "ошибками". Но не только это определило выбор героя-рассказчика. Именно с его помощью в образе Сталина выражена любезная автору мысль о вожде как носителе великодержавного, монархического принципа, соединяющего сталинское государство с империей Романовых. Этот идеал не мог быть близок ни партийному деятелю, ни рабочему, ни крестьянину, ни интеллигенту. Для этого нужен был именно Лукашов...

Вот почему автора меньше всего интересует трагедия нашей истории — сталинщина. Между тем она не стала еще полностью

нашим прошлым — и только. Это сталинские репрессии деформировали народную нравственность, сделали нормой жестокость - она проявилась и в целиноградском убийстве. Она — сталинщина — живет в страхе, который еще сковывает людей, она — в привычке подчиняться не правде и праву, а силе, сталинщина — в национальных амбициях, в расовой ненависти, столь явной в романе — о ней сказано и в статье Берденникова, и в опубликованных "Казахстанской правдой" письмах, но на это не счел нужным ни словом ответить Толмачев. Сталинщина жива и сейчас, среди нас, во взаимном озлоблении, в желании не обрести истину, а заткнуть рот оппоненту! (Шум в зале). В осмыслении этого страшного и живучего явления — сталинщины — по-моему, важнейшая цель литературы, в осмыслении его и противодействии ему!

23

Аплодисменты. Нарастающий шум в зале. Сидящие напротив трибуны работники редакции (Антонов, мой старый друг, Ножицын, кто-то еще) привскакиваюти, лица красные, яростные. Карпенко жестикулирует длинными руками, трясет бородкой, Ростислав Петров, подбадривая взбудораженный зал, изображает беспомощность, широко разводя руками. Слышится голос: "У меня вопрос!.." К сцене выходит тот самый ветеран, с колодками орденов, который хочет подавать в суд на писателя Айтматова.

— У меня вопрос к Герту! - Голос его, несмотря на седины, звучит неожиданно звонко, слова выговаривает он с военной четкостью, разделяя их паузами, как во время произнесения приговора: — Вопрос такой: вы записались ли выезжающим из Советского Союза?

(Шум в зале. Голоса: "Не надо! Прекратить!")

ВЕТЕРАН: Второй вопрос: вы что, недовольны строительством социализма? Ведь социализм был построен?!

(Голоса: "Не надо отвечать!")

Я: Я и не собираюсь... Может быть, есть еще вопросы? Нет?.. Ну, тогда благодарю за внимание...

24

Выступила ЧЕРНОГОЛОВИНА:

...Поставьте себя на место людей столь ненавидимой Успенским национальности, людей, которые не мыслят себе иной

родины, кроме советской, которые отдают ей все силы, знания, талант, — представьте, что чувствуют они, когда наиболее экстремистские представители "Памяти" призывает к немедленной депортации евреев и всех "инородцев" в места их исторического проживания, и сравните эти призывы с теми страницами романа, где говорится, что только представитель коренного народа страны способен понимать и защищать интересы всех остальных народов...

...То, как Успенский показывает Надежду Аллилуеву, равносильно оскорблению праха, тем более, что скабрезности в ее адрес совершенно противоречат воспоминаниям современников. Академик Сахаров дал пощечину Яковлеву за оскорбление достоинства своей жены. А кто защитит прах и достоинство Надежды Аллилуевой?..

Выступил РОТНИЦКИЙ, кандидат философских наук:

...Мы говорим: "с одной стороны Сталин", "с другой стороны Сталин", "однако", "но", — стороны складываются, а целостного вывода не получается. И оценки Сталина заканчиваются тем, с чего начинались: "с одной стороны", "с другой стороны"... Это не удивительно. Известно, что сумма из ста кроликов не равна одной лошади.

ИЗ ЗАЛА: Вы о романе скажите!..

РОТНИЦКИЙ: Лукашов как раз и пытается из ста кроликов сложить одного коня: положительный образ Сталина. Именно поэтому мое отношение к роману Успенского только отрицательное!

ЕЩЕ ОДИН ВЕТЕРАН — КАЖЕТСЯ, ТОЖЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: В последнее время модно стало говорить о Сталине, что это грязное пятно в нашей истории. О Сталине мы не можем говорить, как товарищ Герт: "кому это нужно, зачем это нужно?" Сталин был вождем народа, Генеральным секретарем партии и нашего советского государства. Был вождем партии Хрущев, был вождем и Генеральным секретарем Брежнев! Вот и надо сопоставлять, чего мы достигли и при ком!

(В зале шум, аплодисменты, свист).

Среди выступающих — молодой человек лет двадцати семи — двадцати восьми, инженер-конструктор АЗТМ, рыжеватый, в очках, сдержанно-напористый, импульсивность не мешала ему холодно, расчетливо посылать слово за словом в точно выбранную цель. Зовут его Сергей ЗЛОТНИКОВ:

Публикация романа, посредственного романа, страшна тем, что привлечет среднего читателя. И что бы ни говорилось потом, какие бы ни приводились страшные факты и цифры (Антонов-Овсеенко: 50 миллионов без войны потерял наш советский народ;

Юлиан Семенов: 32 миллиона одновременно сидело в лагерях в 1952 году...) — все это не уничтожает произведенного романом впечатления...

Но почему сильны эти консервативные настроения? Потому что часть нашего населения, которая гордится Сталиным, сделала очень неплохую карьеру, получает сейчас хорошую пенсию, тогда как ветераны, большевики, которые из-за" них сидели, существуют на мизерные пенсии, а те еще и партбилеты имеют... Где, скажите, люди, которые нажимали на гашетки? Они среди нас. Они воспитали детей и внуков. В конце концов то, о чем мы сейчас говорим, это отношение не к Сталину, а отношение к жизни. Многие хотели бы повернуть вспять гласность, демократию, заткнуть рты. У нас в Казахстане пока стоит памятник, со звездами, еще долго будет стоять...

ТАТЬЯНА ФРОЛОВСКАЯ: Публикация романа хороша уже потому, что на него нападают и правые, и левые. Когда правые — это понятно, но почему левые?.. Роман совсем не реабилитирует Сталина, а показывает, как этого Сталина мы создали...

РУФЬ ТАМАРИНА: Вот сейчас ушел из зала молодой человек, который говорил, что его поколение знает о Сталине только со слов взрослых... Да, и для поколения моего сына, которому сейчас 30 лет, XX съезд — всего лишь очередной съезд, по крайней мере — был таковым до недавнего времени. Мой сын знал, чем он был, этот съезд, потому что вырос в семье, где хранятся как самые дорогие ценности четыре справки о реабилитации: две посмертные — моих родителей и две еще: моя и мужа... Этим, впрочем, сегодня никого не удивишь...

(В зале шум, возглас: "Обиженным слова не давать! Репрессированным слова не давать!..")

Семья моя — одна из миллионов, это совершенно не исключительное явление. Могу ли я не относиться однозначно к любому художественному или нехудожественному произведению, которое пытается обелить личность Сталина?.. Признаюсь: не могу. И не стыжусь этого, не считаю нужным.

25

Я почти дословно цитировал до сих пор выступавших — в моем распоряжении была магнитофонная запись обсуждения. Но не вся. И потому *документ* на этом кончается.

Для меня существеннейшим в дальнейших выступлениях было то, с какой громокипящей яростью говорил о романе Виктор Мироглов. Я помнил позицию, занятую им в связи с публикацией

Цветаевой... Но теперь мы оказались плечом к плечу. Спокойно, ядовито, убийственно выступил и Николай Ровенский. Он тоже не был солидарен со мной в оценке "Вольного проезда", хотя ни разу на эту тему мы не говорили: я знал об этом от Мориса Симашко. Но здесь позиции наши совпали.

Не подтверждает ли все это, что национальные вопросы являются все-таки вторичными, производными? Что первенство — за социальными проблемами? И я уверен, теперь, когда позиция журнала выявилась во всей полноте, когда расизм и сталинизм соединились в коричневый, отчетливо пахнущий фашизмом сгусток, Мироглов и Ровенский поняли бы меня лучше и в "цветаевском феномене"...

О том же стягивании, соединении, поляризации сил свидетельство и то, как более или менее хитроумно защищали роман Валерий Антонов и Вячеслав Карпенко...

В заключение Ростислав Петров повторил, что журнал будет печатать продолжение романа — "несмотря ни на что..."

26

Тем не менее, мы расходились после обсуждения — победителями.

Может быть, только у меня был такой настрой?.. Не думаю. Оказалось, мы способны принять открытый бой. Не имея ни журнала, ни организации, располагая только убеждениями, отстоявшимися, выстраданными — миллионами страдальцев, поддержку которых мы чуть ли не физически ощущали, мы все-таки выстояли, выдержали натиск... Значит, не все так беспросветно?

Кроме того, существует еще и клуб "Публицист". Существует — вернее, собирается в близком будущем осуществиться — "Мемориал"... А я еще сомневался, стоит ли идти на обсуждение!..

Где-то в душе мерцала у меня еще и таимая даже от себя надежда: не подействует ли наша перестройка, демократизация жизни на Марину, на Мишу, не смягчит ли ожесточенное неприятие происходящего?.. Ведь это в их возрасте я писал свой роман "Кто, если не ты?.." Но такое у меня возникло смущающее, загоняющее в тупик чувство, будто я, как пелось в "Кубанских казаках", "каким был, таким и остался" до самых седых волос, они же — со своими черными — много меня переросли...

Но, видя, как все ползет, зыбится под ногами, я хватался за каждую ниточку.

27

В те дни — да только ли в те?.. — я часто возвращался мысленно к обсуждению "Советника". Всякий раз мне открывалось что-то новое. И правда: стоило ли удивляться тому, как выступили Черноголовина, Ровенский, Тамарина, Ротницкий, которого я раньше немного знал, или Злотников, которого не знал вовсе?.. Другое было загадкой — наши оппоненты. Иных я понимал: Сталин для них накрепко соединен с молодостью, годами расцвета сил, Победой, и потому любой плевок в его сторону воспринимают они как плевок себе в душу. Понятны и те, кто всю жизнь преподавал, отработал курс, подобрал цитаты — все стройно, железобетонно... И вдруг!.. А с отработанными, утвержденными курсами связаны, между прочим, диссертации, должности, зарплата, престиж, взаимоотношения со студентами: чему же вы нас учили?.. Больше не верим!.. Понимаю кадровых военных: для армии нужны авторитет, субординация — от сержанта до маршала, и уж если даже вершина пирамиды... Как это у Достоевского: "Если бога нет, какой же я после этого капитан?" Понятны дети, внуки "вчерашних": они защищают их честь, их память... Но дальше-то, дальше?.. Неужто кормившихся именем Сталина больше, чем раздавленных им?.. И на одного тюремщика с его потомством не сыщется десять уцелевших зэков или тех, кому память о них тоже дорога?.. Неужели на каждого ветерана-сталиниста не найдется десяти солдат, которые помнят, как первую половину войны немцам пол-России отдавали, а вторую половину отбирали отданное, и стольких жизней это стоило, и сколько сотен тысяч, миллионов из немецкого плена прямиком направлялись в родимые наши лагеря?..

28

Спустя две недели после обсуждения "Тайного советника" в Союзе писателей газета "Часовой родины" Восточного пограничного округа в статье "От полемики до скандала" писала:

"...Номера журнала, в которых опубликована первая часть романа, сегодня не сыщешь в республике днем с огнем...

Представляется недопустимой попытка отдельных представителей художественной интеллигенции Казахстана превратить литературную полемику вокруг "Тайного советника" в политический скандал. Не останавливать публикацию, а публиковать и обсуждать должны мы произведение В.Успенского. Актуальнее его давно не появлялось на страницах

республиканской печати...

Думается, все сказанное в статье привлечет внимание пограничного читателя к книге В.Успенского. В первую очередь, на мой взгляд, необходимо ознакомиться с ней политработникам..."

29

Сборник решили назвать: "От первого лица". Рукописей для него собралось, что называется, "под завязку" — тесемки на папке едва сходились. После редактирования я относил их в издательство машинистке. Входя в ее комнатку, я иногда заставал здесь еще и некоторых сотрудников издательства, они посматривали на меня с интересом, а то и с опаской. Как-то раз у машинистки, показалось мне, были красные веки, заплаканные глаза, но в них, обращенных ко мне, влажнопрозрачных, теплилось что-то горькое и благодарное.

— Что с вами?.. — спросил я. — Вы опечалены чем-то?..

— Это из-за вас, ваших статей, — сказала она. — Все воскресенье мы с мамой вдвоем перепечатывали, только сейчас последнюю кончила... И страшно стало. Как жить дальше?..

Когда наша работа завершилась, рукопись сборника передали директору издательства, он прочел и пригласил нас к себе. Мы явились к нему в кабинет впятером — Косенко, Берденников, Жовтис, Вайсберг и я. Казалось, за длинным полированным столом встретились давнишние друзья-закадычники, мы любовались и не могли налюбоваться друг другом - директор нами, мы директором. Единственная просьба, робко произнесенная этим добрым и мягким, по-восточному деликатным человеком, заключалась в том, чтобы повременить с очерком Жовтиса о "космополитической компании" сороковых годов в Казахстане: в издательстве выходит книга одного из героев, точнее, антигероев этого очерка... Кроме того, не так давно у него случился инсульт... Мы поняли. Мы обещали подумать. Мы не хотели допускать и малой трещинки в прекрасном, блистающем кристалле нашей взаимной приязни, которая вскоре, без сомнения, перерастет в дружбу...

Вечером я позвонил Жовтису, воззвал к его незлобивости, к чувству милосердия по отношению к больным и страждущим, к способности прощать — и он согласился заменить фамилию ветерана борьбы с космополитизмом нейтральной буквой "Н". И день спустя положил на стол директору издательства заново перепечатанные страницы. Директор остался доволен и сказал,

что передает сборник редактору для окончательной подготовки к изданию, сдаче в производство...

30

Две недели спустя, 3 января 1989 года, в "Известиях" появилась статья "Вокруг "Тайного советника вождя":

"Почтенного возраста люди плотно заняли первые ряды. Поднимаясь на трибуну, они сначала обстоятельно перечисляли собственные заслуги, затем произносили гневно-торжественные, похожие одна на другую речи. И непременно звучало пусть не текстуально, но по смыслу следующее:

— Сталин — наша радость, ее у нас никому не отнять!

— Не вам, тут сидящим, давать ему оценки!

Или:

— Мы на вас в суд подадим, как Иван Шеховцов!

— Знайте, никакого "Мемориала" интеллигенция республики не поддержит!

Казалось, будто время сыграло злую шутку, — так явственно, так осязаемо дышало в этом зале прошлое.

— Репрессированным слова не давать! — раздался из глубины зала срывающийся женский выкрик.

Что же за мероприятие проходило в здании Союза писателей Казахстана? Читательская конференция по роману В.Успенского "Тайный советник вождя"...

Генотип сталинизма живуч, ибо зло не просто порождает зло — оно себя завещает. Не желающие видеть и слышать ведь на самом-то деле не утратили ни зрения, ни слуха, ни способности мыслить. Так куда же они зовут нас — опять туда же?.."

31

Внезапно нам, т.е. клубу "Публицист", сообщили, что директор категорически против того, чтобы в сборнике публиковались две статьи: Жовтиса — о борьбе с космополитизмом, и Берденникова — о "Тайном советнике"...

Оба работника редакции, наши единомышленники и покровители, сообщая об этом, были расстроены, в ответ на вопросы: что за причина? почему изменилась позиция директора?.. — оба кисло улыбались, на губах у них как бы въяве висел здоровенный — амбарный! — замок... "Поговорите с ним сами..." — "А вы?.." — "Пробовали, да он..." — и далее столь же

невнятное.

Как-то раз, помнил я, мне под величайшим секретом не рассказали — шепнули! — что директору звонили из КГБ, интересовались — что за клуб, кто разрешил?.. И, главное, кто им руководит, кто в него входит?.. Услышав мою и Жовтиса фамилии, заключили: "Все ясно..." Я связал перемену в настроении директора с какими-то внешними факторами, чьим-то давлением. Но, казалось мне, в нынешней ситуации любое давление не может быть непреодолимым — разумеется, если нет предрасположенности ему поддаваться...

— Хорошо, - говорим мы, — передайте директору — мы придем.

В назначенный час приезжаем — Черноголовина пробирается через весь город, заваленный снегом; меняя автобусы и троллейбусы, вязнущие в сугробах, приезжает Жовтис, приходят еще два-три человека, мы ждем... Но нам передают, что директор просит пройти в кабинет меня одного...

И вот я сижу перед директором, голос его задушевен, а глаза скользят вниз, вбок... Он не требует — просит: снимите две эти статьи... Я пытаюсь выяснить: почему? В журналах "Театр", "Театральная жизнь" печатаются мемуары, связанные с прокатившейся по всем градам и весям кампанией "патриоты против космополитов", в Казахстане у этой компании появились свои оригинальные черты: к евреям-космополитам подверстаны были казахи... И обо всем этом написал Жовтис, свидетель тех событий. Вторая статья?.. Так ведь роман печатался в трех номерах журнала, неужто плюрализм не допускает, чтобы Мнение о нем было высказано на семи-восьми машинописных страницах?..

Я так и не услышал ни единого внятного аргумента. Но, при всей своей мягкости и деликатности, директор был непоколебим. Я вышел из кабинета, на прощанье пробормотав заранее заготовленную фразу: "Я проинформирую клуб, и мы сообщим наше решение".

— Ничего не снимать, — сказали все, ожидавшие моего возвращения. — Или наш клуб существует при издательстве на паритетных началах, или он превращается в одного из "коллективных авторов", которыми помыкают как угодно... Тогда стоило ли огород городить?..

Мы решили собраться и обсудить ситуацию, выполняя правило, принятое в самом начале: если хотя бы один из нас высказывается против — считать его мнение за "вето"... Когда мы расходились, настроение у всех было препаршивое: привычное состояние "терпящих поражение" возвращало нас в хорошо

знакомый доперестроечный мир. Мы с Леней Вайсбергом жили по-соседству и вместе добирались з троллейбусе до наших микрорайонов. Элегические мохнатые снежинки вились за оконными стеклами. Мутное серое небо давило, как неотвязные воспоминания. Казалось, их не вытравить из сердца — навсегда впечатались, втатуированы в него. Леня и я — сверстники, нам не нужны подробности, чаще всего достаточно произнести: "Помнишь?.." — и можно ничего не добавлять...

32

Письмо, ходившее в самиздате. Датировано 14 февраля 1966 г.

"Глубокоуважаемый Леонид Ильич!

В последнее время в некоторых выступлениях в статьях в нашей печати проявляется тенденции, направленные, по сути дела, на частичную или косвенную реабилитацию Сталина.

Мы не знаем, насколько такие тенденции, учащающиеся по мере приближения XXIII съезда, имеют под собой твердую почву. Но даже если речь идет только о частичном пересмотре решений XX и XXII съездов, это вызывает глубокое беспокойство.

Нам до сего времени не стало известно ни одного факта, ни одного аргумента, позволяющих думать, что осуждение культа личности было в чем-то неправильным. Напротив. Дело в другом. Мы считаем, что любая попытка обелить Сталина таит в себе опасность серьезных расхождений внутри советского общества..."

И далее:

..." Мы не могли не написать о том, что думаем. Совершенно ясно, что решение ЦК КПСС по этому вопросу не может рассматриваться как обычное решение, принимаемое по ходу работы. В том или ином случае оно будет иметь историческое значение для судеб нашей страны. Мы надеемся, что это будет учтено".

Подписавшиеся: академик Л.А.Арцимович, О.Н.Ефремов, главный режиссер театра "Современник", академик П.Л.Капица, В.П.Катаев, В.П.Некрасов, К.Г.Паустовский, М.М.Плисецкая, М.И.Ромм, С.Н.Ростовский (Эрнст Генри), академик А.Д.Сахаров, Б.А.Слуцкий, И.М.Смоктуновский, В.Ф.Тендряков, Г.А.Товстоногов, К.И.Чуковский...

33

Еще одно письмо, ходившее в самиздате. Датировано 24 сентября 1967 г.

"Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза — от оставшихся в живых детей коммунистов, необоснованно репрессированных Сталиным.

В настоящее время с трибун, в печати, по радио и телевидению пропагандируются "заслуги" Сталина. Фактически это является политическим пересмотром постановлений XX и XXII съездов КПСС.

Нас это тревожит. И не только потому, что наши родные и мы сами, как миллионы других людей, стали жертвами созданной Сталиным машины преступлений. Нам тяжело сознавать, что б одобрение произвола в свое время были втянуты жестоко обманутые массы.

Это не должно повториться. Любые попытки обелить черные дела Сталина таят в себе опасность повторения страшной трагедии нашей партии, всего нашего народа. Обещанный XXII съездом КПСС монумент жертвам произвола должен быть воздвигнут на грани полувекового существования Советского государства. Мы просим учесть все сказанное. Надеемся, что это письмо поможет предупредить непоправимую ошибку..."

Подписи: П.Якир, Л.Петровский, А. Антонов-Овсеенко, Ю.Ларин-Бухарин, Ю.Вавилов, Н.Енукидзе, И.Шляпников, Ю.Сапронов, А.Берзин, Л.Богораз и еще многие — более сорока подписей.

34

Итог этих и других обращений?..

"Непоправимая ошибка" была совершена.

Страна получила двадцать лет застоя.

В 1970 году по указанию Брежнева на могиле Сталина у Кремлевской стены поставили памятник. Монумент жертвам произвола не воздвигнут до сих пор.

35

Двадцать лет спустя — декабрь 1988 года. Из беседы, опубликованной в "Огоньке".

Академик Сахаров:

Какая острая у нас ситуация и что представляет собой сейчас Верховный Совет СССР, мы увидели, когда были приняты антидемократические, по моему мнению, указы о митингах, демонстрациях и особенно о правах и обязанностях внутренних войск. 30 октября людей, идущих на кладбище в Минске, встретили дубинками, возникло жесточайшее побоище... Перестройка сейчас переживает поворотный момент, когда нужно выбрать.

С.Коэн:

В Советском Союзе есть, мне кажется, три представления о перестройке. Во-первых, радикальная перестройка, которую проводят М.С.Горбачев и те, кто его поддерживает. Во вторых, перестройка косметическая, неглубоким, не задевающая основ Административной Системы. И в-третьих, так называемая неосталинская перестройка, манифестом которой стала статья Нины Андреевой.

П.Бунич:

Мне кажется, что у нас есть три альтернативы. Первая — вернуться к сталинизму. Это перспектива страшная, но, к сожалению, исключить ее полностью невозможно. Вторая альтернатива — заменить абсолютного монархию просвещенной. Я бы не сказал, что это самый лучший выход из положения, но у такой перспективы, многие считают, больше всего шансов. Третья альтернатива — полная перестройка.

Академик Сахаров:

Чрезвычайно опасен принцип, когда государство из прагматических или же из каких-то политических соображений

подходит с разными мерками к национальным объединениям, большим и малым. То, что проявилось в Нагорном Карабахе, возможно, проявится и во многих других местах...

А. Гельман:

На днях на Пушкинской площади долго и внимательно слушал я нескольких человек из общества "Память". Это такая смесь невежества, какой-то полурелигии, еще бог знает чего...

В.Винстон:

Их не разгоняли?

А.Гельман:

Нет, никто не разгонял.

36

Не помню, как, в как-то минуту пришла эта весть — по радиоприемнику ли мы услышали о ней, сидя на кухне, или по телевизору — скакнула с экрана, или кто-то позвонил — да что гадать?.. Помню, что и радио, и телевизор, и телефон превратились в шланг с кислородом, без которого можно задохнуться. И — проклятое чувство бессилия: чем помочь? И — боли, утраты, смерти: не где-то за тысячи километров это случилось, а здесь, рядом, с тобой... И — стыда: там содрогается земля, трещины глотают людей, железобетон рушится, растирает в кровавую кашу то, что минуту назад пульсировало, мыслило, надеялось — жило!.. А ты — уткнулся в телевизор, в комнатах горячие батареи, мягко светится абажур торшера... Стыд и боль, боль и стыд!...

"8 декабря была прервана программа пребывания в Нью-Йорке Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР М.С.Горбачева. Перед отлетом в аэропорту М.С.Горбачев сделал заявление: "Я вынужден вернуться в Советский Союз. Вчера поздно вечером пришло известие о том, что землетрясение, которое произошло в Армении, оказалось очень тяжелым, с тяжелыми последствиями. Много разрушений, много человеческих жертв..."

В том году всюду, где мы с женой побывали — в Москве и Ленинграде, Риге и Вильнюсе — преследовало меня одно и то же чувство: воздух густеет, легкие распирает горячая духота, от нее звенит в ушах, колотится сердце... Люди жили нервно, каждый звук заставлял вздрагивать, голубое небо, зелень листвы, недвижимая морская гладь, — все таило в себе, маскировало неведомую опасность, готовую каждый миг откуда ни возьмись выпрыгнуть, подмять под себя, вонзить когти в затылок... И вот —

грянула гроза!..

"Вот уже две недели наши сердца, наш разум, наши руки — тебе, Армения! Тебе, неумирающий Ленинакан. Тебе, погибший Спитак. Вам, десятки израненных сел. Вам, братья наши, армяне!.."

В том году мой приятель Канат Кабдрахманов привез мне из Москвы, после очередной сессии Литинститута, в котором он учился заочно, роман Франца Верфеля "Сорок дней Муас Дага". Это роман об армянском геноциде в 1916 году — о том, как методически, продуманно были уничтожены в Турции жившие там армяне. Я слышал об этой книге давно, а раздобыть ее не мог. И вот... Австрийский еврей Франц Верфель написал эту книгу в 1933 году. Еще пять лет оставалось до "хрустальной ночи", десять лет — до Майданека и Освенцима, когда Верфель в событиях эпохи первой мировой войны гениально прозрел чертеж будущего Холокоста... Книгу австрийского еврея, обошедшую весь мир, издали в 1982 году в Ереване. Молодой армянин, студент, привез ее в Москву и подарил своему коллеге, казаху, с трогательной надписью — в том смысле, чтобы он. Канат, читая ее, постарался понять чужое горе, чужих людей... Он боялся, этот армянский юноша, что двойная боль обожжет Каната — боль за гибнущих армян и боль-стыд за их губителей — турок, людей ислама, неким внешним образом связанных Кораном с казахами... Мой разум не приемлет связей такого рода — что соединяет Бабеля с Кагановичем, Мандельштама с Ягодой?.. Но у сердца свои законы... Однако то уже иные материи, важно другое, важна цепочка: Франц Верфель — армянин-студент — казах Канат Кабдрахманов — русский поэт Михаил Дудин, написавший к роману предисловие не менее страстное, чем сам роман, и — я, ухвативший случайно самый кончик ниточки... Не ниточки -одна и та же судорога пронзила столько сердец!

Моя жена сложила в тючок одеяла, одежду, мы пошли отправить посылку, "Ленинакан", "Спитак" — слова эти действовали, как пароль: очереди безмолвно раздвигались, приемщицы работали сноровисто, без обычных придирок к мелочам, в ожидании срочной отправки громоздились горы тюков, ящиков, коробок — и каждый, словно поставив свечку в храме, чувствовал маленькое облегчение — в огромной, неискупимой, всеобщей вине. И — раскаяние. И — покаяние за великий, далеко еще не осознанный, не постигнутый грех. И — слабенькую, но живую надежду, пламя, вспыхнувшее на обгоревшем, черном фитильке...

И ошеломило, страшно было прочесть, как в Баку, после сообщения о катастрофе, орава молодежи выбежала на улицу —

танцуя от радости, звеня бубнами, с ликующими песнопениями. И были сквозь зубы процеженные газетные сообщения о том, что не желают в изувеченной, окровавленной Армении, холодеющей на ледяном, дующем с горных вершин ветру, — ни азербайджанской донорской крови, ни присылаемой из Баку помощи. Потом пошли разгуливать слухи о там же, в Армении, разграбленных медикаментах, продуктах, вещах, доставленных самолетами из Парижа, из Мадрида... Не хотелось этому верить, а хотелось — как после библейского потопа — чтоб новый берег, новая земля, новая жизнь...

Так хотелось...

37

Тем более, что и причины, чтоб поверить тому, были.

Новый, 89-й год встречали мы вчетвером: Володя и Валя Берденниковы и мы с Аней. И — пятым членом нашей старинной компании — был магнитофон. Поскольку отыскались пленки, которые считал я многие годы утерянными: пленки 1962-63 годов, четвертьвекового возраста. Среди них особенно памятные — с записями Наума Коржавина. В карагандинской нашей квартире, собираясь на какую-то литвстречу, простуженный, насморочный, прочитал он, а я записал несколько стихотворений. Приезжал он в декаду русской литературы в Казахстане и тогда же подарил нам первый и единственный тогда свой сборник "Годы". Первый — за двадцать лет работы в литературе, как о том сказано в аннотации...

И вот теперь мы включили магнитофон — и в комнате возник хриплый, гнусоватый из-за насморка, с характерным подвывом голос Коржавина... А с ним воскресла наша Караганда — с первыми долетавшими до нас листочками самиздата, с яростными снежными буранами, с опасливыми повадками недавних лагерников, с начальством, которому куда больше к лицу была форма стражников, чем грубой вязки свитера демократически-хрущевского образца... Наум читал "Рижское кладбище", "На концерте Вагнера", "Милый ангел..." — эти стихотворения, не опубликованные в сборничке, увидел я напечатанными пятнадцать лет спустя, а Москве, у Юрия Домбровского: посверкивая глазами, с хитроватой зэковской ухмылочкой, достал он откуда-то книжку, изданную "там", на тонкой, белейшей бумаге... Но было в убористо набранных страницах что-то чужое, мертвое по сравнению с привычным для нас самиздатом — слепым, отстуканным на машинке, с

махристыми краями...

И вот в новогодний вечер мы сидели и слушали Наума Коржавина, и не удивились бы, пожалуй (вот до чего обнаглела наша фантазия!), если бы увидели эти его стихи напечатанными, эти, поскольку другие уже появились — в "Октябре", в "Огоньке"... Но даже самая шалая фантазия не заносила нас так далеко, чтобы представить, что через месяц мы увидим Коржавина въяве, и въяве услышим его голос, пожмем ему руку!... Однако это случилось. Пришло известие, что Наум в Москве, приехал из своего Бостона, живет у Бенедикта Сарнова...

Я позвонил Сарнову, наткнулся на Коржавина... В начале февраля мы с женой вылетели в Москву. И в первый же день увидели в московской "Вечерке" интервью с Наумом и его самого: круглый, порядком обрюзгший колобок, толстогубый, улыбающийся, в очках, и за толстыми стеклами — выпуклые, растерянные, как бы слегка обалдевшие глаза...

38

Нам хотелось подышать демократическим воздухом Москвы, повидаться с Коржавиным, а главное — заручиться какой-нибудь (я не знал — какой именно) поддержкой для нашего сборника. По прежним годам было мне известно, до чего Москва замкнута на себе и ох как скупа на такую поддержку!.. Ну да — новые времена, новые песни...

Атмосфера московской зимы 1989 года в самом деле ударяла в голову весенней свежестью, свободой, новизной. Сначала — вечер у брата Александра Галича... Потом в ЦДЛ — ошеломляющая смелостью лекция о Троцком... Потом — встреча с членами суда, недавно приговорившего Чурбанова к неожиданно мягкому наказанию: раскаленный зал, срывающийся голос молодого журналиста Додолева, обращенный К публике: "Вас обманывают, не верьте им!.." Потом — вечер памяти Пастернака, на сцене — Любимов, Андрей Вознесенский, Мэтлок, посол США, который привез фильм "Доктор Живаго" — его демонстрацией заключается вечер... Наконец — Дом архитектора, изысканно-аристократичный, белый, празднично сияющий зал — и на эстраде в сопровождении Лазарева, Рассадина, Эйдельмана — Мандель, он же Коржавин, он же Наум, он же Эмка... И Рассадин, выступая, вспоминает: "Когда мы провожали Коржавина — шел семьдесят третий — в Шереметьеве, и за ним закрылся проход, и он — там, а мы — здесь, все плакали, и кто-то — кажется, Карякин — сказал: "Как в крематорий..."

Нам удалось пробраться на сцену, когда Наум раздавал автографы; он тут же узнал нас, расцеловался с женой... Потом они встретились — уже без всякой суматохи, у Сарновых... Я же нежданно-негаданно залег в больницу и, чтобы кое-как выкарабкаться оттуда, потратил почти полтора месяца. Здесь, в больнице, навестил меня Володя Берденников, тоже приехавший в Москву повидать Наума. Его познакомили с Юрием Карякиным, который взялся прочитать наш сборник, и, выйдя из больницы, я встретился с ним.

Жил он на окраине Москвы, в многоэтажном, кажется — кооперативном доме, занимая крохотную комнатку, где поместиться кому-то еще кроме хозяина задача была почти невыполнимая: все пространство ее заполняли книги. На том же этаже занимала однокомнатную квартиру его жена. С первого же раза, глядя мне в лицо светло-голубыми, жесткими глазами, она посоветовала — рукопись забрать, поскольку Карякин занят, не в силах справиться с обещаниями, раздаваемыми слишком щедро... Но передо мной была комнатка в издательстве, собравшийся в ней клуб "Публицист", люди пожилые и просто старые, которые решили напоследок хоть разок вздохнуть свободно, выпустить книжечку, не растертую жерновами партнадзирателей и цензурой... Ну, кто же как не Карякин, автор (вместе с Евгением Плимак) замечательной книги-шестидесятницы "Запретная мысль обретает свободу" — о Радищеве, автор недавних статей, прогремевших на всю страну, — "Стоит ли наступать на грабли?" и "Ждановской жидкости", к тому же — народный депутат СССР, — кто, как не он, поможет нам в общем, по сути, деле?.. Я ездил к нему несколько раз, хотя после больницы меня шатало от слабости, а застать его дома можно было лишь рано утром, и дорога в один конец занимала по меньшей мере два часа. Я был упрям, но меня грызла совесть, когда я сидел перед ним — усталым, с больными красными глазами, по которым трудно было понять — слушает ли он тебя, думает ли о чем-то совсем другом, грезит ли, как грезят во сне, себе не повинуясь... Карякин уже обращался ко мне на "ты", называл "Юра", говорил, что ему понравилась моя статья, открывающая сборник, уже вручил нам с женой, как драгоценность, книгу Баженова — на два дня, и мы одолевали ее, передавая из рук в руки, как в славные времена самиздата... Дело же двигалось медленно, видно, и впрямь ему не хватало сип вовремя выполнить все обещанное от широты души. Но мы уехали из Москвы с отпечатанным в двух экземплярах предисловием к нашему сборнику, подписанным Алесем Адамовичем и Юрием Корякиным.

..."Знаешь, какие у него глаза?.. Глаза Христа", — сказала мне

как-то жена. Я запомнил страдальчески-строгий, рассеянно-пристальный карякинский взгляд — и согласился с нею.

39

Однако прежде чем вернуть свое повествование в главное русло (как выражались в блаженные вальтерскоттовские времена), я хочу задержаться на словно бы побочном, а на деле вовсе не побочном эпизоде. Случился он, между прочим, за год до известного скандала в ЦДЛ ("Сегодня — с плакатами, завтра — с автоматами" и т.д.), и в том же ЦДЛ, куда мы заглянули пообедать.

Было часа четыре, посетителей к этому времени всегда поубавлялось, и метрдотель — откормленная, полнотелая женщина с лицом заслуженной кагебешницы — для порядка поманежив нас недолгое время у входа, указывала нам какой-нибудь захудалый столик. Но тут народу оказалось множество — то ли совещание закончилось, то ли съезд, то ли еще какое сборище, мелькали знакомые лица — Валентин Распутин, кто-то еще — очередь вытянулась чуть ли не до бара. Мы заняли место в хвосте. Вскоре за нами встала еще пара: он — высокий, похожий на хорошо провяленную воблу, с угрюмо-нервньми, запавшими в подпобье глазами, и она - эдакая гладенькая, упитанная писательская "жена-хозяюшка", покорная мужу во всем, что касается "взглядов", и взамен получившая власть над домом, сберкнижкой, расходами, вещами и т.д., а потому и литературные занятия своего покровителя рассматривающая как некий промысел, дающий немалый прибыток семейству...

Впрочем, это пришло мне в голову потом, а пока я стоял в конце очереди, скучливо посматривая по сторонам, и было как-то неловко все молчать, я даже заговорил с женщиной, или она заговорила — о том, что вот, мол, до чего медленно движемся, нет пустых столиков, а муж ее в это время рыскал по ресторану, хищно выглядывая свободные места, но так и не мог их обнаружить. Наконец, подошла наша очередь, метрдотельша, смахнув крошки, перестелила скатерку на квадратном четырехместном столике и с виноватым выражением лица обратилась к нам, ко всем четверым:

— Вас устроит?.. Сядете вместе?..

— Отчего же... — тронутый столь необъяснимой деликатностью, пробормотал я, не догадавшись, что вовсе не к нам с женой обращен был вопрос...

Чуть замедлив ответ, стоявшая за нами пара холодновато-

вежливо согласилась разделить трапезу, а точнее — стол, с нами.

Ожидая официанта, затем — перемены блюд, мы провели с глазу на глаз часа полтора. Минут через десять-пятнадцать после того, как мы присели к столу, я догадался, кто перед нами, не поверил догадке, отбросил, потом снова к ней вернулся... Жена своим путем, ни словом со мной не обменявшись, пришла к тому же: за одним столом с нами сидели К. и его супруга, как впоследствии выяснилось — дочь одиозного критика сталинской поры... Совпадения, совпадения, на первый взгляд — невероятные, а на второй — уже не столь невероятные, сколько вполне закономерные...

Но бог с ними, с закономерностями. Факт, что мы сидели со знаменитым К., идейным, так сказать, вождем "Нашего современника". И впервые не *читали,* а - *слышали* его собственными ушами. Не могли не слышать, если бы и хотели. Не могли не слышать, поскольку *подслушивать* не приходилось: оба говорили громко, как у себя дома, и по всему чувствовалось: они здесь именно *дома,* не скрывают этого, напротив — подчеркивают, демонстрируют: то кто-то подходил к ним, и они громко разговаривали, смеялись, то на стол звучно шлепалась плотно сложенная газета, то накрывала скатерку отпечатанная на машинке рукопись, то кто-то — через зал — махал им или они — кому-то... И так же, не приглушая голосов, разговаривали между собой. В этом заключалось и нечто пренебрежительное по отношению к нам, нарочитое безразличие к тому, что их могут услышать, что *мы* их слышим... А мне хотелось встрять в разговор или по крайней мере ввернуть какую-нибудь реплику, поскольку в этом демонстративном пренебрежении было и провоцирующее начало...

Разговор шел о евреях. К. только что явился из "Литературки", где читал гранки своей статьи. Вернее, не статьи, а запись своего диалога с Бенедиктом Сарновым, объявленного на четыре номера... Забавно, что день-два назад мы с женой были у Сарновых. Речь шла о наших алма-атинских делах, о "Советнике", о "Нашем современнике", о полемике Сарнова с К. в "Литературке", причем Бенедикт Михайлович не без меланхолической иронии констатировал, что "дама, ведающая в "Литературке" “Диалогом", явно держит не мою сторону..." И вот — мы за столом рядом с оппонентом Сарнова. "Я размазал Беню!.." — повторяет он с торжеством. В глубоко посаженных глазках мерцают зловещие огоньки. -"Размазал!.." — говорит он Л., своему единомышленнику и коллеге по "Нашему современнику", когда тот из-за соседнего столика подходит к нему, чтобы поздравить с успехом. За Л. следует еще и еще кто-

то, кого я не знаю, и в крепких рукопожатиях, в победных интонациях, в откровенно ликующих голосах чувствуется праздник...

— Впервые в печати... Прямо, без оговорок... Такого еще не было... Пускай опровергнут: сам Чехов... Да что — Чехов: вся классическая литература... Давно, давно пора!..

К сожалению, я не записал того, что произносилось *между* этими словами. Стыдно было записывать. *Так,* на *таком* уровне я слышал разговоры о евреях только в очередях, на базаре, да и то — не реальном базаре, а некоем мифическом, откуда возникло: "базарный разговор"... Но я не записал, не запомнил, а запомнил бы — не стал передавать, все равно получалось бы — подслушал. Главное — в другом: простенькая мысль родилась у меня в те час-полтора...

Нет, не боль за Россию, за растерзанную ее душу, за погубленную плоть — и как там еще, пользуясь фразеологией патриотов — плакальщиков... — привела их к пониманию пагубной роли евреев в русской истории. "В начале было слово" — в начале было чувство злобы, зависти, собственной неполноценности, ущербности... Вначале было это вот базарное, всех единящее чувство неприязни, вражды, совершенно одного и того же качества — у интеллектуалов — обличителей еврейства, сидящих с нами за столом, и у того маленького калеки "На Костылях", который избивал меня по дороге в школу... Дремучему чувству требовалась идейная оснастка — на помощь пришли "теоретики", вроде К., создатели историко-философских построений... Можно заниматься спорами, опровержениями, поисками противоречий в этих построениях, то есть продолжать заниматься тем, чем обычно мы и занимаемся, и так без конца: идейная надстройка приобретет солидность, многоэтажность, начнет жить как бы самостоятельной, отвлеченной от практических интересов жизнью... А на деле важен-то как раз прямой, грубый практический интерес: ниспровержение конкурента, объяснение собственных недостатков, пороков, неудач его зловещей ролью... И только! И только!..

...В Алма-Ате я прочитал все четыре "Диалога". Свердлов: директива по "расказачиванию"... Троцкий и гибель Миронова... Якир и приказ о процентном уничтожении белоказаков... Каменев и Зиновьев... ЧК и мировая революция... Чехов, писавший, что в петербургской критике господствуют "евреи, чуждые русской коренной жизни"... Сарнов уличал оппонента в неточностях, подтасовках, отсутствии логики и т.д., т.е. вел себя так, как положено в классической дискуссии, где в споре якобы рождается истина и оба спорящих якобы в равной мере ее взыскуют. Но

после цедзэловского ресторана я с тоской сознавал, что не в логике, не в аргументах тут дело... А в чем-то, что мне за последний год довелось пережить, но еще не удалось понять...

...Мы долго ждали, пока подойдет официант, потом пока принесет заказанное, потом пока рассчитает... В запале, возбужденный разговором, осыпаемый поздравлениями, как герой, стяжающий славу и благодарность соотечественников, К. протянул в какой-то момент худую цепкую руку к нашей опорожненной наполовину бутылке с нарзаном, по-хозяйски плеснул — себе и жене, выпил, потянулся опять... И заметил свою оплошку. Извинился. В глазах его не было смущения, напротив — они полоснули меня, как заточенные до голубого блеска лезвия...

— Нет, нет, с нас достаточно! — вот и все, что сказал я, когда он предложил заказать еще бутылку воды.

Как раз в те дни мне исполнилось пятьдесят восемь лет, я был автором десятка книг, у меня выросла дочь, подрастал внук... Но в те минуты я вновь чувствовал себя точь-в-точь как под развесистым карагачом, на пути в школу, перед калекой с жесткими, костистыми кулаками, которые так больно били в живот, что перехватывало, занималось дыхание — полвека назад...

40

"Готовясь к командировке, я обзвонил знакомых юристов, социологов, социальных психологов. Хотел узнать, есть ли у нас в Москве научный коллектив, который изучал бы такое явление, как увлечение подростков фашизмом. Мне назвали географию явления (Алма-Ата, Кемерово, Минск, Москва, Новосибирск, Клайпеда, Белая Церковь, Рига, Братск, Свердловск, Таганрог, Караганда, Кисловодск, Самаркандская область), примерный срок, когда началось это помешательство (начало 70-х годов), и двух-трех человек, которые провели когда-то частные исследования. "Как бы это почитать?" — попросил я. "Многого хочешь, — сказали мне со смехом, — на эти исследования поставили четыре нуля и упрятали в сейфы".

Виталий Еремин, "Фашики", ("Неделя" № 15, апрель 1989 г.)

"...ни разу не видел, чтобы вы написали о наших русских фашистах. О ленинградских фашистах, имеющих самую сильную организацию в стране, вообще ни слуху, ни духу. Будто такого движения нет вовсе, а есть только оголтелые юнцы.

...Я утверждаю: только фашизм представляет собой реальную альтернативу вырождению нации. Мы требуем прекращения

ассимиляции, уничтожения дефективных особей, своим существованием позорящих нацию, стерилизации неполноценных народов, решения жилищной проблем путем выселения недочеловеков из благоустроенных квартир. Уверен, нас поддержат очень многие. В университете" в котором я учусь, большинство студентов благосклонно воспринимают мои доводы, а остальные — это те же недочеловеки, которые права на существование не имеют".

Ростислав Ц., 22 года. Владивосток (Из той же статьи в "Неделе")

41

"Многие руководители Запада считают, что "Память" должна быть запрещена. Если бы эта организация действовала у нас, мы бы так и поступили. Но когда я высказал такую идею советским официальным лицам, они встретили ее довольно прохладно... Видный чиновник Министерства иностранных дел Советского Союза, занимающийся проблемами прав человека, сказал мне: "Мы наблюдаем за их деятельностью. Мы предупредили "Память" о недопустимости возбуждения расовой ненависти. Однако нельзя забывать, что они делают и много хорошего: организуют поэтические чтения, обеспокоены состоянием окружающей среды. Они поддерживают русскую культуру".

Было по меньшей мере странным слышать, как хорошо отзывается высокопоставленный официальный деятель коммунистического правительства о группе людей, планирующих восстановить монархию в Россию. А меня еще надо убедить и в том, что "Память" достигла сколько-нибудь значительных успехов на ниве поэзии или в вопросах охраны окружающей среды".

Николас Бетеля[1], "Они меня пугают" ("Книжное обозрение" N9 45, 1989 год)

[1]*Николас Бетелл — член палаты лордов парламента Великобритании, заместитель председателя комиссии по правам человека Европейского парламента.*

42

В "Советской культуре" от 22 апреля было помещено объявление о "созданном недавно издательстве "Прометей" МГПИ им В.И.Ленина", в котором среди первых книг предполагается выпустить роман Владимира Успенского "Тайный советник

вождя".

43

В Москве удалось мне ощутить впервые горячку предвыборной компании, когда имя Ельцина мелькало всюду — и на самодельных, с ладонь, листках, на сиротского вида плакатиках: в больничной палате только и толковали о нем, крыли верх, Горбачева; у метро "Арбатская" в сырых вечерних сумерках стояло человек пять-шесть, чуть не налегая друг на друга, чтобы приблизиться и прочесть мелко набранную афишку с биографией Ельцина и его портретом. Радом со мной остановилась девушка с напряженным лицом, заострившимся от волнения носиком. Миг — и она, выхватив из сумочки карандаш, что-то черканула по афишке, отпрянула, скрылась в потоке спешащих в метро прохожих... Я ничего не понял. Но, подняв глаза, увидел торопливую, кривенькую шестиконечную звездочку на ельцинской щеке... В Алма-Ате, куда мы вернулись день или два спустя после выборов, шофер такси по дороге из аэропорта до нашего микрорайона рассказывал о накале всколыхнувшей город борьбы. Олжас Сулейменов проиграл сопернику-рабочему, несмотря на открытки к 8 марта, разосланные избирательницам... Первый секретарь горкома партии уступил инженеру, одному из руководителей домостроительного комбината. Волна неслыханной для Казахстана демократии взмыла вверх... В апреле собралась учредительная конференция республиканского общества "Мемориал".

Я сделал, что мог: на конференцию пришли члены нашего клуба "Публицист", пришли наши знакомые — дети репрессированных, пришли просто сочувствующие движению, возглавляемому академиком Сахаровым. Многим не верилось, что впереди — не традиционно-казенное "мероприятие", а живое дело, не для "начальства", а для души. Я уговаривал, стыдил: "Если все порядочные люди станут отсиживаться где-то в сторонке... Помните 64-й?.. Если он повторится, кто на сей раз окажется виноват?.." Я участвовал в комитете учредителей, и "пепел Клааса стучал в мое сердце".

Конференция происходила в большом зале Дома кино. Приехал из Москвы и сидел на сцене, в президиуме, один из, лидеров "Мемориала" — Юрий Афанасьев, могучей плечистой фигурой, навевающей сравнение с кедром ливанским... Рядом с ним, озабоченно-торжественный, сидел Жовтис. И тут же, с благожелательно-светлым выражением отчасти младенческого

лица — Санжар Джандосов, сын известного революционера (конечно же, репрессированного...), чьим именем назван проспект в Алма-Ате. Там же, на сцене, в этот апрельский день можно было увидеть вдов, детей, внуков тех, кто давно сгнил в неведомых краях, в братских могилах, на значащихся ни на одной карте. И в зале стояла вначале растроганная, горькая, соединяющая всех тишина — не помню, чтобы мне доводилось когда-нибудь слышать такую... Мы оказались рядом - Аня, Володя Берденников, Галина Васильевна Черноголовина, Виктор Мироглов, Николай Ровенский, в перерыве я познакомился и обменялся телефонами с двумя молодыми людьми — Сергеем Злотниковым и Андреем Свиридовым, оба запомнились мне по обсуждению "Тайного советника".

Проникновенно выступали самые разные люди, в том числе — Володя Берденников, он рассказывал, как недавно ездил в Караганду, видел и бывших зэков, и бывших стражников, и дикие, неухоженные кладбища, хранящие память о сталинщине, ее жертвах. И когда он заговорил о том, что живы, ходят по земле состарившиеся палачи, которые с благоговением относятся к временам своей молодости, когда были всесильны, вселяли страх - и ничуть не раскаиваются, напротив, смертельно ненавидят своих обличителей и жаждут реванша, — когда он говорил об этом, седой, в строгом черном костюме, и спокойно, с холодной яростью выкладывал ряд за рядом тяжелые, будто из камня вытесанные слова, — зал слушал его потрясенно. А мне вспомнилась наша — шестидесятых годов — Караганда, все претерпевшие люди, вчерашние — под номерами — зэки, которые строили город, рубали уголь в шахтах, не очень~то надеялись на благие перемены, но — выжили, не сгинули в могилах, а потому — не претендуя на многое — более всего ценили просто жизнь: хотя и слишком горячее, слишком слепящее летом, но — небо: хотя и засыпанные снегом, заметенные бураном — но улицы: хотя и вдали от родных мест, в чужой стороне — но жилье; хотя и скудное, в пределах дозволенного - но все-таки существование, а не сырая земля, не вечный мрак, не копошенье червей... Впереди, перед нами, сидела Катя Кузнецова — журналистка из Караганды, вдова нашего рано умершего приятеля, Коли Кузнецова. Она рассказала в письме, напечатанном в одном из последних номеров "Огонька", как в Долинке, центре бывшего КарЛАГа, создали свой "мемориал": выбрали руководство — все сплошь из лагерного в прошлом начальства, которое и сейчас — в другой, правда, ипостаси — выполняет некие начальственные функции... Этот "мемориал" бывших стражников опередил своим рождением "мемориал" бывших зэков... Ах, как хорошо это знакомо:

Караганда остается Карагандой, КарЛАГ — КарЛАГом...

Но мало-помалу настроение, владевшее залом, стало сбиваться. Двое-трое выступавших с горячностью говорили, что казахский народ был намеренно полуистреблен голодом начала тридцатых годов, что в Алма-Ате необходимо поставить памятник жертвам этого голода... Все верно, все так: и голод, и Казахстан... Однако что-то неприятно задевало зал в этих речах. Собравшиеся начинали чувствовать себя чуть ли не виновниками тех трагических событий. И в раздраженных, почти истерических интонациях оратора, которого я заметил ещё на заседаниях инициативного комитета (впоследствии выяснилось, что до недавней поры он занимал немалый чин в органах), звучала злость, адресованная, казалось, многим из тех, кто находился в зале. Потом, когда зачитывали резолюцию, в которой выражалось сочувствие жертвам погрома в Сумгаите, неожиданный шум прокатился по рядам, раздались голоса: "Снять! Убрать!.." Когда начали обсуждать программу создаваемого в Казахстане отделения Всесоюзного общества "Мемориал", выяснилось вдруг, что у нас оно должно именоваться "Адилет" — "Справедливость" и заниматься преимущественно своими, республиканскими, т.е. казахскими делами...

Разгорелся спор о названии, а затем — о целях... Одни говорили о Сталине, о жертвах 1937 года, послевоенных лет, о миллионах сосланных и погибших, о КарЛАГе, СтепЛАГе, Алжире... Другие — о жертвах голода в начале 30-х, о Сталине почти не упоминали, виновником всех бед называли Голощекина. И зачастую не в фигуральном, а в самом прямом смысле спор шел на разных языках... Все вокруг ощутили себя обиженными, ущемленными. Когда поставили было вопрос о названии на голосование, возникла неловкость: в зале, разделившемся надвое, казахов оказалось значительно меньше половины. Объявили перерыв. После перерыва зал пополнился за счет студентов расположенного поблизости пединститута. Общество нарекли: "Адилет"...

Когда мы с женой уходили с конференции, у меня в душе не было ничего, кроме чувства стыда и вины: ведь я призывал, требовал, чтобы люди шли сюда ради святого дела... Что же случилось?...

44

"Люди моего поколения в детстве засыпали и просыпались под несмолкаемые звуки гимна, несущегося из репродуктора: “О

Сталине мудром, родном и любимом...” Эти застрявшие в памяти слова сейчас кажутся кощунственными, и можно ли найти в наше время человека, способного употребить в адрес Сталина эпитеты: "мудрый", "добрый", "великий"? Но оказалось, что найти такого человека не составляет труда. Он заявил о себе в столице Казахской ССР. В романе, опубликованном на страницах русскоязычного журнала (в этом году должно последовать продолжение), московский литератор Владимир Успенский слагает Сталину дифирамбы в том самом высокопарном стиле 50-х годов... В бурных дискуссиях, которые ведет общественность Казахстана, звучат слова и о том, что публикация его - акция, направленная против перестройки. С этим трудно не согласиться".

Г. Корнилов, "Новый мир №3,1989 г.

О романе "Тайный советник":

"Апологетика преступного диктатора, упакованная в имитированную объективность"...

Н. Потапов, "Правда" за 31 марта 1989 г.

45

...И вот, имея в запасе столько несомненных (редчайший случай!) козырей, считая и предисловие к нашему сборнику, подписанное Адамовичем и Карякиным, я вновь отправился в издательство, к директору, чтобы победно финишировать на беговой дорожке публицистики...

— У нас — плюрализм... — сказал директор. — Плюрализм. Ему, видно, нравилось это слово. — Ведь роман Успенского имеет успех у многих читателей. Зачем навязывать свою точку зрения?.. — Глаза его из-под набухших век смотрели на меня с укором. — Давайте не спорить. Снимем статью Берденникова и выпустим сборник. Давайте так. Скажите своим товарищам. И давайте выпустим...

Он барабанил рукой по столу, барабанил нетерпеливо. Получалось — это он просит, настаивает, чтобы сборник вышел, а я не хочу.

— Мы никому не запрещаем высказывать свое мнение, не соглашаться с нами. Но сами-то мы можем выразить собственную оценку?

— Партия учит нас плюрализму... — барабанил по столу директор.

— "Правда", "Казахстанская правда" — это разве не партийные органы?

— Это газеты. Нужна литературная критика.

— Вы читали рецензию в "Новом мире"? Какая еще литературная критика вам нужна?

— Плюрализм, плюрализм... №твердил директор. — Односторонняя, между прочим, критика получается.

— Хорошо, — предложил я, — тогда давайте напечатаем Берденникова, Толмачева и Корнилову, приведем высказывания из "Правды", "Известий" и озаглавим: "Вокруг "Тайного советника"... Плюралистично?

— Пожалуй, — вяло согласился директор, не ожидавший такого демарша. Подумал с минуту, опустив большую, тяжелую голову...

— Нет, все-таки давайте договоримся: вы снимаете статью, и мы печатаем сборник.

— Как бы там ни было, пускай решает клуб, — сказал я. — А статья о борьбе с космополитизмом?

— Ее тоже не надо, — сказал директор. — Мы напечатаем статью в другой раз. А пока не надо.

— Скажите, у вас в издательстве выходили когда-нибудь книги с рекомендациями таких людей, как Юрий Карякин, Алесь Адамович, чтобы издание поддерживали два народных депутата СССР?..

— Нет, — сказал директор. — Такого у нас не случалось. Но не будем спорить. Вы снимаете — мы издаем.

46

"Стране и всей международной общественности стало известно, что 9 апреля текущего года в четыре часа утра под предлогом разгона несанкционированного митинга и мирной демонстрации в Тбилиси было совершено беспрецедентное по своей жестокости массовое избиение невинных людей, повлекшее за собой человеческие жертвы. Эта военная операция, которой руководил командующий войсками Закавказского военного округа генерал-полковник Родионов, задумывалась, очевидно, не как операция по разгону мирного митинга, а как заранее запланированная карательная операция по уничтожению людей. Солдаты блокировали проходы, окружали граждан и наносили им удары дубинками и саперными лопатками. По официальным сведениям на месте трагедии погибло 16 человек, 14 из которых — женщины. Старшей из них — семьдесят, младшей — пятнадцать лет..."

Из выступления Гамкрелидзе Т.В., директора института

востоковедения АН Грузинской ССР на 1-м съезде народных депутатов СССР

47

Год назад я ушел из журнала. Иным из моих друзей повод казался сомнительным, опасения — преувеличенными... Между тем коричневый туман уже тогда змеился, полз над землей, ядовитый чад растекался в воздухе...

Теперь танки прогрохотали по проспекту Руставели в Тбилиси. Писателя Успенского сменил генерал Родионов. Разговоры о плюрализме уступили место саперным лопаткам.

48

До отъезда наших ребят оставалось четыре месяца. Всего-навсего четыре... Они были заняты серьезным делом — готовили документы, учили английский, добывали полезную информацию: поскольку разрешалось обменять на рубли только тридцать долларов на человека, следовало захватить конверты с бумагой для писем (конверты без марок), пару блоков сигарет (лучше болгарских — "БТ"), консервы, немного постельного белья... Они готовились, как готовился бы Робинзон Крузо, если бы знал заранее, что потерпит кораблекрушение и высадится на необитаемый остров. Уже потом я увидел себя их глазами...

Увидел себя, то есть старого человека, увлеченно играющего в детские игрушки. В те самые игрушки, в которые я начал играть двадцать пять лет назад, когда написал свой первый роман "Кто, если не ты?.." Они занимались делом, серьезной работой, в то время как я по утрам, вскочив с постели, впивался в свежие газеты и клокотал в телефонных разговорах, защищая от нападок перестройку и Горбачева, и торопился закончить свою новую книгу, веря, что ее выход на многое сможет повлиять, и снова и снова доказывал директору издательства, что его человеческий и гражданский долг — выпустить наш сборник.. И вместе со мной этим занимались такие же, как и я, немолодые люди, упорно не желавшие исходить из собственного разумения и опыта... Они, наши ребята, были свидетелями этой игры всю свою жизнь — и давно поняли, что это игра, и не хотели в ней участвовать. "Вам нравится, -могли бы сказать они нам, как заслуживающим снисхождения старым шалунам, — что ж, играйте и дальше, пока не надоест..."

Уже не по Праге — по Тбилиси шли танки... А мы продолжали играть — единственное, что мы умели делать...

49

В том же апреле наш клуб собрался в последний раз.

ПРОТОКОЛ

заседания клуба "Публицист" от 19 апреля 1989 г.

Ю.ГЕРТ: В качестве председателя клуба информирую, как обстоит дело с изданием сборника. Он был передан издательству 5 месяцев назад. Его прочитали, одобрили, пожелания директора были учтены. Однако теперь нам предложено два материала из сборника снять. Клубу предстоит выбрать один из четырех вариантов:

1. Согласиться с директором и снять обе статьи.

2. Поскольку на издательство давят некие силы, ориентирующиеся на принципы Нины Андреевой, укрепить позиции издательства, для чего послать сборник в Москву, в Госкомиздат для всесторонней оценки.

3. Убрать статью А.Жовтиса из первого сборника, положившись на заверения директора, что она войдет во второй. К статье Берденникова присовокупить материалы из периодической прессы.

4. Сборник из издательства взять, клубу самораспуститься, признав его дальнейшее существование бесплодным.

А.ЖОВТИС: Почему директор изменил отношение к сборнику? Почему мою статью нельзя печатать сейчас, ни можно через полгода?

Р.ТАМАРИНА: Жовтис прав. Мы оказываемся в роли просителя, хотя никому не навязывались, идея клуба принадлежит в равной мере как нам, так и издательству.

Т.КВЯТКОВСКАЯ: Что думают о происходящем работники издательства? В частности, о том, почему директор изменил свое мнение?

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: В конце 1964 года, когда я работал в школе учителем истории, один ученик меня спросил: "Когда Брежнев был искренним — теперь, когда поносит Хрущева, или полгода назад, когда восхвалял его?" Я ответил, что советую с этим вопросом обратиться непосредственно к Леониду Ильичу...

П.КОСЕНКО: Если статья Жовтиса будет отклонена, я выйду из сборника.

А.ЖОВТИС: История издания сборника вызывает ряд недоуменных вопросов. Первое недоумение: авторы сборника — много лет печатающиеся профессионалы. Сборник был сдан в издательство пять месяцев назад. Между тем для подготовки к печати такого сборника редактору достаточно недели... Недоумение второе. На учредительном заседании задачи клуба сформулированы четко: борьба с рецидивами сталинизма, борьба за подлинный интернационализм. И вот две статьи, впрямую посвященные этой проблематике, подвергаются "вето".

Л.ВАЙСБЕРГ: Когда стало известно, что директор возражает против включения в сборник статьи Жовтиса, моя реакция была совершенно определенной: никаких компромиссов. Но затем, по некотором размышлении, я внес в свою позицию коррективы. Реакционные силы пытаются перейти в наступление по Всем направлениям. Отказ от печатания сборника из-за принципиального неприятия компромиссов — поступок благородный, но это и отказ от сопротивления. Оправдано ли — так легко уступать дорогу правым?

В.БЕРДЕННИКОВ: Я решительно против компромиссов. Недавно я побывал в Караганде. Несколько бывших узников КарЛАГа показали мне место, где расстреливали заключенных, рассказали, как это происходило. Если бы в те времена честные люди не шли без конца на компромиссы, не было бы таких страшных жертв. Статья Жовтиса должна быть напечатана. Если нет другого выхода, надо послать сборник Ненашеву.

Р. ТАМАРИНА: Обращение в Госкомиздат — вариант более достойный, чем компромисс. Если и там не сумеют помочь, мы убедимся, что возможное вчера становится невозможным сегодня.

Г.БЕЛЬГЕР: Происходящее со сборником крайне удручает. Мое мнение — никаких компромиссов. Если издательство не может пойти нам навстречу, отправим рукопись в Москву. Но клуб мы обязаны сохранить безотносительно к тому, чем завершится история со сборником. Идея "клуба публицистов" великолепна. Когда я узнал, какие значительные люди, известные своей гражданской позицией, в него входят, я решил вступить в него без промедления.

Е.ДАЦУК: Я периодически в качестве корреспондента журнала "Парус" по Казахстану бываю в Белоруссии. Там писатели в авангарде перестройки, заставляют считаться с собой. Обидно, что у нас все иначе. О компромиссах, на мой взгляд, не может быть и речи.

Ю.ГЕРТ: Галина Васильевна Черноголовина просила

сообщить, что в связи со срочным заданием "Правды" она выехала в район и не может здесь присутствовать. Но ее мнение: клуб должен настаивать на выходе сборника в предложенном варианте, в случае необходимости обратиться в Госкомиздат.

Единогласно принимается решение:

Возобновить переговоры с издательством по поводу сборника "От первого лица" в существующем варианте; статью Берденникова сопроводить материалами союзной и республиканской прессы. Если переговоры ни к чему не приведут, направить рукопись в Госкомиздат СССР с приложением этого протокола.

50

Порой мне казалось — одна и та же рука дирижирует, направляет, командует всюду... В Москве, в Тбилиси, в Алма-Ате... Она, как у фокусника-иллюзиониста, в перчатке из черного бархата — и не различима на фоне задрапированной черным бархатом стены. Мы не замечаем ее. Сидя в зале, наблюдаем, как по сцене перемещаются люди, вещи, предметы, и стараемся понять, почему и куда они движутся, негодуем или аплодируем, кричим "браво" или "долой!.." И нужно самому в какой-то момент очутиться на сцене, чтобы вдруг натолкнуться на эту невидимую руку, почувствовать, как она ложится тебе на плечо, и давит, и хватает за горло, и сбивает с ног, и волочит по земле, а если ей заблагорассудится — и возвращает на прежнее место... Рука эта — Власть. Она всегда предпочитает действовать в черных перчатках. И лишь изредка снимает их...

Так случилось, когда месяца полтора назад мне позвонили из ЦК КП Казахстана и пригласили на совещание, срочно, в тот же день созываемое секретарем по идеологии. "Пропуск вам будет заказан заранее", — сообщил вежливый, но настойчивый голос. После истории с публикацией "Вольного проезда" я поклялся никогда не переступать порог этого заведения... Но тут, сказали мне, речь идет о "Мемориале"... С тоской в душе я отправился к назначенному времени на Новую площадь. В бюро пропусков собралось несколько мемориальцев. Бесшумный лифт с зеркалами вознесу на шестой этаж, и мы вступили — не то в просторный кабинет Главного идеолога республики, не то в скромных размеров зал для узких заседаний...

Он сидел во главе длинного, из нескольких столов сочлененного стола, похожего на взлетную полосу, для ИЛ-62. Его лицо, сжатое с боков, походило на кинжал с хорошо наточенным

лезвием. И тонкие, растянутые в улыбке губы наводили на мысль о кривых клинках, а сведенные в щелки глаза — на мысли об арбалетах с готовыми вот-вот вылететь стрелами. Рядом, через угол, в соответствии с положенной субординацией, я увидел Альберта Александровича Устинова, моего давнего дружка-приятеля... Небольшого роста, плечистенький, светлая шевелюра, еще густая, в мелких колечках, как у молодого барашка, лицо с курносым, простодушно задранным носиком... Но был он чем-то не в меру возбужден, горячечная краснота бросалась в глаза.

Мы сели, человек двадцать пять — тридцать. Перед нами, подходя поочередно к стоявшей в углу трибуне, выступили высокорангировакные представители МВД, КГБ, Верховного суда. Мы услышали, что "процесс реабилитации жертв незаконных репрессий" продвигается успешно, в соответствии с назначенными сроками", и что сделано в этом плане очень много... Затем выступил Главный идеолог. Он подтвердил, что государственные и партийные органы "отлично справились с задачами, выдвинутыми перестройкой", и задался резонным вопросом: к чему же тогда нам в республике "Мемориал"?.. Он нам не нужен. Он и в Москве не нужен, поскольку там разного рода политические спекулянты и демагоги пытаются нажить себе капитал в глазах доверчивых людей...

"Политические спекулянты"?.. "Демагоги"?.. Это академик Сахаров, только вернувшийся из ссылки?.. Юрий Карякин?.. Алесь Адамович?.. Юрий Афанасьев?.. Чего еще можно было ждать после этого?..

— Нам стало известно, — продолжал Главный идеолог, что в Москве собираются провести учредительную конференцию "Мемориала" и кое-кто из наших товарищей, поддавшись на эту провокацию, хочет ехать туда и в ней участвовать... Мы не *рекомендуем* этого делать...

— Да что же в этом плохого?.. — спросил кто-то, порядком ошарашенный словами Главного. — "Мемориал" — добровольное общество, созданное перестройкой...

— А вы знаете,— подскочил Устинов — что "Мемориал" официально не зарегистрирован? А значит — существует незаконно, противозаконно?.. — Лицо его так и пылало, глаза горели злорадным торжеством...

Рядом со мной сидела маленькая, хрупкая, изящно сложенная немолодая казашка, математик-программист одного из академических институтов. Познакомились мы на обсуждении "Тайного советника". Вероятно, подобные речи ей доводилось слышать не слишком часто, она то вздрагивала всем телом, то сжимала от негодования кулачки... "Вы будете выступать?.." —

спросила она. "Нет, и вам не советую". — Она разочарованно посмотрела на меня и сердито отвернулась.

О чем было говорить с этими людьми?.. Напротив меня, через стол, сидел Володя Татенко, кинематографист, он что-то записывал в толстую тетрадь, лицо у него было серьезное, ответственное. Мы с ним в одни годы жили в Караганде, его целеустремленность всегда сочеталась с осторожностью... Но среди приглашенных большинство составляли молодые казахстанские журналисты, инициативные, смелые, кое-кого я знал... "Недавно газетчики обнаружили поблизости от Алма-Аты большое захоронение, видимо — тридцатых годов, — сказал один из них. — Мы хотели начать расследование, но нам запретили..." - "Этим займутся компетентные органы," - был ответ. —"Можно ли получить на руки дела реабилитированных?..— спросил другой. — Может ли сын узнать, за что расстреляли его отца?" -"В каждом отдельном случае будем решать особо..."

Поднялась Абдрахманова, поэтесса. Я помнил, как однажды, выступая в Союзе писателей, она минут сорок электризовала своей страстной речью переполненный зал, и я, захваченный звучанием голоса, жестами, выражением лица, не понимая ни слова, слушал ее, как слушают музыку, которой не нужен перевод... Так было и на этот раз. Там, — она указала на стену, — там, за этими стенами — новое время, новая жизнь, перестройка... И кто бы мы ни были, — жест в сторону Главного идеолога, Устинова, всех сидящих за столом, - какие бы должности, звания, чины не имел каждый из нас, все мы — только дети народа, наше святое дело — выполнить свой долг перед ним... Понять, почему судьба наших предков была трагичной, и не допустить, чтобы те же трагедии повторились в судьбах наших детей... Примерно об этом говорила она, и напор этой Женщины, Дочери, Матери был так неотразим, что и Главный идеолог, и Устинов и высокорангированные гости, участники срочно затеянного спектакля, поеживались и как-то блекло улыбались, притихнув и вначале пытаясь, а потом уже и не пытаясь ее остановить...

После нее выступила Байкенова, моя соседка. Так я и знал: она заговорила о демократии, об угрозе возрождения сталинизма, о Сахарове... Слова ее были похожи на красную тряпку, а она сама — на ребенка, девочку, которая выбежала на арену и машет этой тряпкой перед самой мордой быка с налитыми кровью глазами...

— Демократия?.. — Он уже не кричал, а визжал, надсаживался, мой пунцовый от ярости дружок Устинов. — Да кому не понятно, что, играя такими словечками... хотят расколоть... разрушить... А раздувая страсти вокруг

противоречивой, неоднозначной фигуры Сталина... кое-кто стремится... Но партия не допустит... — Он только что кулаком по столу не грохал: нельзя, перестройка все-таки...

— Вы что же, запрещаете в Москву ехать? — спросил Айрих, поднимаясь и с шумом отодвигая стул. Он был сед, но еще крепок, и выступал на заседаниях нашего инициативного комитета всегда разумно и дельно.

— Мы не запрещаем, мы *не рекомендуем*!.. Да, да! *Не рекомендуем*!.. — Устинов твердил это слово, как заклятие.

— А кто из членов партии поддастся на провокацию и поедет, тот простится с партийным билетом!..

— Вы!.. Вы это кому — вы это *мне* говорите?.. — В наступившей тишине, показалось мне, я расслышал, как у Айриха булькнуло в горле. — Вы еще под столом бегали, когда я получил свой партийный билет! Это было еще до того, когда с Волги нас выселяли!.. Я его всю трудармию с собой носил! Да! И я ждал, может быть, всю жизнь эту перестройку! Я говорил и буду говорить о Сталине, об этом злодее, этом вампире! И вы меня не испугаете... Я поеду!..

— Конечно, конечно, — заиграла, зазмеилась на устах Главного идеолога тонкая кинжальная улыбка, — *мы не запрещаем,* товарищ Айрих... Только сначала вы обратитесь в свою парторганизацию, посоветуйтесь там, и если вас поддержат...

— Я все равно поеду!.. — повторил Айрих еще упрямей...

Не знаю в точности, что происходило дальше. Кажется, кого-то удалось отговорить, кто-то хотя и со скандалом, но вылетел в Москву, Айриха чуть ли не сняли с самолета... Но это были уже детали. Возвращаясь с того совещания домой, я думал: вот она — Власть без перчатки... Власть, для которой Сахаров был и остается врагом, потому что задуманный им "Мемориал" обнажает самые страшные, самые бесчеловечные ее преступления... Зато для нее Успенский — свой человек, так же, как Толмачев, и "Тайный советник", возможно, появился с их тайного благословения, отсюда и отчаянная "смелость" Толмачева, его неуязвимость, кто бы и что бы ни написал, ни говорил... Он служит Власти, она его не выдаст.

Все это сообразил директор издательства — и зарежет наш сборник, не задумываясь... Одно утешало: наши мемориальцы — молодцы, они держались дружно...

Совещание у Главного идеолога мне вспоминалось не раз и не два потом... Когда — не мытьем, так катаньем — наш "Мемориал" был превращен в "Адилет", отсечен от Москвы, от Сахарова, которого — благословением свыше — заменил послушный большому и малому начальству аппаратчик... А самое

главное — дружное поначалу ядро распалось, не сумев преодолеть умелыми руками растревоженных, взбаламученных национальных амбиций.. Ставка на них оказалась безошибочной.

"Разделяй - и властвуй!"

Впрочем, только ли у нас?..

51

Прошло два месяца после событий в Тбилиси, и в газетах можно было прочесть:

"Полуденная ферганская жара, от которой некуда скрыться. Несколько одноэтажных солдатских казарм, забитых до отказа. Раскаленный солнцем брезент палаток. Ни на минуту не смолкающий многоголосый гул огромного количества людей. Мужчины — насупленные или гневно возбужденные. Безразличные старики, не покидающие островков спасительной тени. Хлопотливые громкоголосые женщины. Болезненные дети...

Эвакуация турецких семей из Ферганы, из окрестных районов была начата утром 4 июня — на второй день после кровавых событий. Их вывезли в расположение учебного центра одной из воинских частей. Сейчас во временном лагере сосредоточено приблизительно 14,5 тысячи человек... Некоторых их тех двадцати детишек, что появились здесь на свет за эту неделю, матери рожали на голой земле. Тысячи детей попали сюда в том, в чем смогли вырваться из рук экстремистов.

Областной комитет красного полумесяца Ферганы обратился ко всему населению с воззванием: "Соотечественники, опомнитесь! У нас одна земля, одно небо. Остановите хулиганов, бросающих тень на весь узбекский народ, окажите милосердие пострадавшим!"

"Известия" за 12 июня 1989 г.

"Багровое пламя пожаров слизывает с лица земли кварталы домов. По улицам растекается возбужденная толпа, есть и вооруженные холодным и огнестрельным оружием. Национальная рознь дошла до Коканда и захватила город.

В этот час, когда мы диктуем репортаж, в различных районах города и рядом с нами не утихает стрельба. На предупредительные выстрелы подразделений внутренних войск толпы хулиганствующих элементов отвечают градом камней. В солдат кидают ножи, остро заточенные куски арматуры. Отражены неоднократные попытки захватить здания городского отдела внутренних дел, горкома партии. В то же время захвачены и разграблены большинство городских милицейских учреждений.

О вспышке национализма говорить сегодня уже не приходится. Более 2 тысяч лиц другой национальности (почти все проживающие в Коканде) день назад под усиленной охраной вывезены за пределы города. Однако хулиганствующие элементы продолжают поджоги, не прекращается мародерство.

Только что получено сообщение: на железнодорожной станции захвачены три тепловоза. Экстремисты угрожают взорвать состав цистерн с горючим".

"Комсомольская правда" за 9 июня 1989 г.

"Опираясь на содержание даже официальных публикаций, можно с уверенностью утверждать, что в республике действует широко разветвленный штаб противников перестройки...", "реанимируются и укрепляются силы, которые не только ставят под сомнение проводимую партией линию на оздоровление обстановки, но и активно противодействуют ей..." — Это цитаты из интервью с первым заместителем министра внутренних дел Узбекской ССР Э.Дидоренко, озаглавленного "По дороге в тупик ведут те, кто обостряет национальные отношения". Оно было опубликовано в газете "Ташкентская правда" 23 февраля 1989 года. Ровно за три месяца до того дня, когда в городе Кувасае под Ферганой затлелась первая искорка кровавого пожара, еще через десять дней полыхнувшего по всей области.

Э.Дидоренко доказывал: общественно-политическая жизнь Узбекистана во многом находится под контролем реакционных сил, которые отнюдь не утратили свое былое могущество, а лишь затаились, выжидая удобного момента для удара в спину

— перестройке, демократии, своему народу.

— Эдуард Алексеевич, в феврале вас не поняли или не захотели понять. В июне все не могут не подтвердить, что вы были правы. Что вы скажете по этому поводу?

— Печально известное событие охватило Ферганскую область и, подобно цепной реакции, распространяется. Налицо заранее спланированная режиссура политического характера с далеко идущими целями, для достижения которых использован весь арсенал средств средневекового варварства и вандализма..."

"Известия" от 14 июня 1989 г.

Там же сообщалось: по предварительным данным, убито до 90 человек, около тысячи ранено, зафиксировано 674 сожженных и разграбленных жилища, десять с лишним тысяч людей осталось без крова.

Предполагалось, что непреклонность нашей позиции подействует на директора. Этого не случилось. К тому времени, когда мы приготовили рукопись сборника отослать в Москву, Ненашева, на которого по провинциальной наивности мы надеялись, "перебросили" в Гостелерадио. Сборник повис между небом и землей....

В результате мы вернулись к ситуации, в которой каждый из нас побывал неоднократно: Начальник Творчества, повелевающий и в иных случаях благодетельствующий, и перед ним — согбенная фигура, именуемая писателем. Но то ли все мы были уже не мальчики — девочки, то ли годы перестройки приучили нас к вертикальному положению — не знаю, но не одним только мною, всеми членами Клуба овладело состояние тошноты, точнее — то была смесь тошноты, тоски и брезгливости. ..

Я забрал из издательства собственную рукопись. И — без всякой веры в успех — заявился в кабинет Калдарбека Найманбаева, директора писательского издательства "Жазуши", где печатаюсь много лет. На другой день мне позвонил Александр Шмидт, главный редактор, и сказал, что рукопись включена в план.

Я назвал свою книгу "Раскрепощение", а можно были — "Сопротивление". Мне хотелось рассказать в ней о тех, кто и в самые отчаянные времена не ползал на брюхе, не стонал, не жаловался, не гордился тем, что прячет в кармане адресованный властям кукиш... Одни из этих людей провели годы за колючей проволокой, другие — за письменным столом, который заменил им ДОТ или окоп, третьи занимали немалые посты, руководили журналом, газетой или даже цековским отделом; кто-то из них умер и похоронен в Москве, кто-то в Париже, кто-то в земле, на которой стоял КарЛАГ, — но лучшие из них стиснув зубы, до крови из-под ногтей, до последнего дыхания сопротивлялись, защищали не себя, а *свою* землю, *свою* страну: Шухов, Домбровский, Белинков, Худенко, Чижевский, Галич... От кого защищали? Чему — сопротивлялись?...

Помню, однажды, лет пятнадцать назад, в разговори с Устиновым в его цековском кабинете я сказал, что главный долг нашего поколения — борьба с фашизмом, в чем бы или в ком бы он не гнездился... Долг, завещанный нам отцами, погибшими на фронте в прямой схватке с ним...

Вдруг я увидел, как остекленели светло-голубые глаза моего всевластного — зам. зав. отделом культуры — немалая власть!.. — собеседника. Не даром был он профессиональным критиком, литературоведом, он умел читать между строк — в то время особо ценное искусство!..

— С фашизмом?.. — переспросил он весь и напрягся, словно кот, заслышав подпольный писк и шорох. — Это как?.. Это с каким фашизмом, вы что имеете в виду?..

Я замялся. ЦК, да еще в те годы, не был подходящим местом для диспутов.

О тех, кто знал, что такое — наш, отечественного производства фашизм, и как мог сопротивлялся ему в ту лору, когда редко кто думал о сопротивлении, мне и хотелось рассказать в этой книге. Заполнить хотя бы строку в Книге Книг, которая только-только начинает создаваться...

13

Между тем жизнь — обычная, бытовая, т.е. на самом деле — единственная подлинная жизнь — шла своим чередом и даже сохраняла надежду на чудо...

Надежда на чудо — немаловажный компонент нашего существования. И чем она, эта надежда, призрачней, тем отчаянней она хватает руками воздух, тем яростней скребет землю, тем крепче стискивает в пальцах жалкую, рвущуюся травинку — сползая по склону в пропасть... Но на то оно и чудо — на него надеются, когда не на что больше. Надеются — вопреки всему...

Так и мы с женой жили эти месяцы. Зная по многочисленным консультациям с врачами, что Сашеньке сумеют помочь не в Москве и тем более — не в Алма-Ате, а только там; зная, что первый ребенок, у Мариши умер, не дожив до месяца, и от того же порока — тетрады Фалло; зная, что Миша деловито оформляет документы на выезд... — зная все это, на что-то надеялись. На что?.. Не иначе как на чудо.

Когда Сашенька бывал у нас, мы выходили с ним в садик возле нашего дома, садик, который двадцать пять лет назад, когда мы поселились тут, был частью колхозного яблоневого сада. Теперь не осталось в нем тех яблонь, под которыми играла Мариша, маленькая,, пухленькая и такая улыбчивая, с веселыми ямочками на щеках, что когда-то, из озорства, я назвал свой газетный очерк "Улыбка Маринки"... Я писал уже, что по молодости, по глупости, а в основном — от стыда перед моей дочкой, перед ее доверчивой, солнечной улыбкой я вздумал читать гневные рацеи тогдашнему секретарю Союза писателей Моргуну: "Мне стыдно за то, что моя дочь будет жить на земле, запакощенной такими антисемитами, как вы!.." — и т.д.

И вот — спустя четверть века я хожу по той же земле,

покрытой теперь асфальтом ровных, прямых аллей, хожу под пустыми кронами кленов, которых в ту пору не было и в помине, хожу со своим внуком, худеньким, забавно косолапящим малышом, он собирается уехать в Америку, и я, вероятно, никогда потом его не увижу... Да, да, у этого имеется сто и одно объяснение, сто и одно неотразимое объяснение: ведь едва мы убыстряем шаги, как он краснеет (или бледнеет) и начинает хватать губками воздух, в узенькой птичьей грудке что-то хрипит и клокочет, потом синеют веки, синеют подглазья, а маленькая, слабая ручонка словно плавится, тает в моей руке, словно размякает и вот-вот растворится, исчезнет совсем... Да, да, там помогут, там замечательная хирургия, врачи, за такие почти волшебные операции платят от сорока до шестидесяти тысяч долларов, но, говорят, расходы берут на себя филантропические общества... Свет не без добрых людей, и... Да, да, да, я не спорил, я поставил на соответствующем бланке свою родительскую подпись... Но если бы, если бы, если бы... Если бы сердечко Сашеньки не было в четырех местах прострелено проклятой тетрадой Фалло, — что тогда?.. Я бы сказал: нет?.. Меня б никто не послушал — да, знаю, знаю, но... Если бы послушал — сказал бы я: — нет?..

Бежит, воркует вода в арыке, совсем по-голубиному воркует она, и Сашенька, присев на корточки, слушает это воркованье, и опускает на мутно-стремительную струю бумажную лодочку, мы мастерили ее вместе, а когда лодочка уплывает, скрывается за поворотом арыка, он бросает в него прутик, потом — листок... Мы следим за бегущей, летящей вдоль арыка струей. О чем он думает, морща выпуклый светлый лобик, когда видит проносящийся мимо окурок, а следом щепочку, а за ними длинную, как индейская пирога, травинку или вьющийся, подхваченный где-то потоком матерчатый лоскуток? О чем думает, глядя, как в нескольких шагах от нас голоногие ребятишки сооружают поперек арыка плотину из веток и камней? Он упорно тянет меня туда и потом, в намокших сандаликах, никак не хочет уходить... Его влечет к детям, в их живые, резвые, горластые ватаги, мы идем на площадку, где скрежещут железом сваренные из труб и несокрушимых стальных балок качели, туда, где кружатся облупившиеся, порядком покалеченные кони, ракеты, самолеты, где ухают вниз и взрывают вверх вагончики аттракциона, именуемого "веселые (а когда-то "американские") горки"... О господи! Мне так хотелось бы показать моему внуку Волгу, бескрайнюю упругую гладь левитановского Плеса, пройти по заветным залам Эрмитажа, вдохнуть сыроватый, застоявшийся воздух московских переулков, по которым бродили мы когда-то с

его бабушкой, не помышляя, что переулки эти. выведут нас на дорогу, по которой проляжет вся наша жизнь... Ничего этого не будет. Ни Волги, Ни Эрмитажа, ни московских переулочков. А если даже и будут — какими пустыми, какими тоскливо-безлюдными станут они — без Сашки, без этих вот его топочущих по асфальту сандаликов, без доверчивых, ясных, капризно-улыбчивых глазенок...

Мысли эти меня преследуют, не отстают — и когда мы возвращаемся домой, прихватив по пути здоровенный, в три сашкиных роста прутище, чтобы поставить его в угол в прихожей, рядом с пятью или шестью такими же; и когда, вымыв руки (увлекательный, старательно исполняемый Сашкой обряд: струйка воды, бьющая из никелированного крана, кусочек — для детских ладоней — мыла, красная — Сашкина! — щеточка для ногтей...); и когда, с повязанной по самую шейку салфеткой, начинает он есть, а глазами все косит за окно, где расхаживает — разгуливает по бордюру любопытный сизарь, то и дело поворачивая маленькую головку и поглядывая на Сашку будто из граната выточенным, с искрой внутри, глазком, и Сашка кричит: "А он рассчитывает!" — и азартно, с шумом, схлебывает с ложки суп с коричневым кубиком подгоревшего гренка... Это у них с бабушкой игра: он, то есть голубь, рассчитывает стащить у Сашеньки гренок, но бабушка-то приготовила обед для своего внучка, для Сашеньки, который и с дедушкой погулял, и прутик домой принес, и руки помыл — хороший Сашенька мальчик, умный, послушный, пускай он, голубь, не очень-то рассчитывает, Сашенька сам все съест... Нет, не все, немножко и голубку оставит, чтобы он тоже пообедал и своим деткам принес... И вьется, плетется узор за узором кружево сказки, где слилось в неразделимое целое и голубь, и Сашенька, и сестрица Аленушка с братцем Иванушкой, и Мальчик-с-Пальчик, и Колобок, и Коза, у которой Семеро Козлят... Все связалось в сказку, где нет ни конца, ни начала, мы сочиняем ее втроем — Сашенька, бабушка и я, как сочиняли когда-то (а, впрочем, и не так уж давно) ее для Мариши, на той же кухне, за тем же столом... Но все имеет свой конец, наша сказка тоже. Он близок уже, конец... Она вот-вот оборвется — и остаток жизни, который нам суждено прожить, мы будем вспоминать, перебирать, тасовать, раскладывать пасьянсы из этих картинок, чем дальше, тем ярче будут они становиться, тем ослепительней и невозвратней...

Они еще здесь, рядом — и Миша, и Мариша, и Сашенька, но эти мысли преследуют меня, с ними я читаю Сашеньке перед сном "Буратино"; с ними встаю ночью, чтобы переменить, если надо, простынку, те же мысли, знаю я, ни на минуту не отступают

и у жены, для того, чтобы в этом убедиться, мне не нужно встречаться с нею глазами...

...И все же, — думаю я, накрывая Сашеньку одеяльцем и гася свет в своем кабинете, где он спит, — и все же... Не будь этой трижды проклятой тетрады Фалло, что сказал бы я, решись, как и многие их сверстники, наши дети уехать? Что сказал бы я им тогда? Что?..

54

Островком Свободного Слова для меня была областная газета. Но последние месяцы ее главный редактор Надежда Гарифуллина чувствовала себя все менее уверенно. Кому-то не нравилось, что газета публиковала острые материалы по экологии, в частности статьи о кишащем опасными бактериями озере, образованном из городских нечистот под боком у Алма-Аты: факт был вопиющим, начальству для успокоения общественности не оставалось ничего другого, как фабриковать санэпид-заключения, тут же разоблачаемые газетой... В обкоме партии непокорный редактор вызвал ярость. Маленькая строптивая женщина — то ли из татарского упрямства, то ли из оскорбленной гордости — взбунтовалась и решила стоять на своем до конца. Ей грозили выговором, отставкой... Она не хотела уступать газету, где работала много лет, создала хороший коллектив, завоевала завидную репутацию... Слухи о ее грядущем увольнении доплеснулись до меня. Я позвонил ей, и она их подтвердила. Разговор наш был долгим, казалось, ее обрадовал мой звонок. И однако — что я мог ей сказать, чем помочь?.. Хорошо знакомая, типичная ситуация... Но не грех бы напомнить высокому начальству, что как-никак — на дворе Перестройка! Я предложил Гарифуллиной напечатать главу из "Раскрепощения".

В ней рассказывалось, как был уволен — отставлен от своего журнала — Иван Петрович Шухов. Многолетняя травля привела к естественному концу... Но с 1974 года минуло 15 лет! По стране победно шествует гласность, плюрализм, утверждается новое мышление!.. Поднесем же к глазам "отцов-инициаторов перестройки" зеркало — не уловят ли они, что не в их пользу постыдное сходство?.. Ведь нельзя не признать совпадения сюжетов, мотивов, методов... Получалось нечто подробное знаменитой гамлетовской "ловушке". Гарифуллина прочитала материал, пересланный мною в редакцию, и тут же отправила в набор. Пропустить его, не заметить было немыслимо — и объем солидный, и опубликовали его 5 мая — в День печати... В День

печати — о том, как боролись с печатью, гильотинировали журнал...

Но не зря мерил я нынешних партдеятелей меркой Клавдия, злодея сказочно-далеких времен, да еще и облагороженного Шекспиром... Нападки на Гарифуллину продолжились, гайки закручивались все туже. Но и ею овладело остервенение борьбы. В газете появились воспоминания А.Жовтиса о Юрии Домбровском с резким выпадом в адрес человека, сыгравшего зловещую роль в судьбе Домбровского перед его третьей "посадкой" в 1949 году. (Сейчас этот человек играет немалую роль в жизни московских литераторов и входит в редколлегию "Нашего современника"). Затем — воспоминания Руфи Тамариной о лагере — в пяти номерах... Все как положено в классическом варианте: одна — против всех: не людей — СИСТЕМЫ. Что же могло ее спасти? Ее, газету?..

Шел 1-й Съезд Советов СССР, ситуация обострялась с каждым днем — я предложил послать некоторые материалы Юрию Карякину, народному депутату, созвонился с ним, получил "добро". Мне привезли письмо, подписанное несколькими сотрудниками. В редакции прошло собрание, решили требовать, чтобы редактора оставили в покое, в случае необходимости — апеллировать в ЦК... Я договорился с соседом-летчиком, что письмо Карякину он опустит в Москве...

У Гарифуллиной в запасе оставался шанс, на который она больше всего надеялась: четко мотивированная позиция, протест против фальшивых обвинений и с гордо поднятой головой уход из редакции. Она думала этим по крайней мере нарушить традицию покорного подчинения любым проявлениям вельможно-партийного самодурства...

Не подействовало.

Ни письмо Карякину, ни протест редакции, ни написанное Гарифуллиной заявление в поднебесные инстанции.

Финал маленького мятежа против СИСТЕМЫ оказался точно таким же, как и в прежние времена. Гарифуллину, не сморгнув глазом, вытолкнули — из газеты, из Алма-Аты, из республики, где она прожила и проработал всю жизнь...

55

В то самое время, когда шел 1-й Съезд народных депутатов в Москве, газеты, помимо стенограмм Съезда, из номера в номер писали о накаленной обстановке в Карабахе, где убивали друг друга армяне и азербайджанцы. К этому прибавилось бурное

обсуждение в Кремлевском Дворце тбилисских событий, в которых сторонами являлись — грузины и армия... Во время Съезда запылала Фергана, где узбеки убивали и изгоняли турок-месхетинцев... В это самое время писатель Василий Белов с высокой съездовской трибуны возглашал:

— Здесь говорилось об опасности хулиганства и экстремизма для нашей юной демократии. А кто виноват, простите? Разве не мы сами, разве не телевидение, не эстрада, не кино пропагандируют культ жестокости и насилия?.. У нас пока нет власти, она принадлежит иным, иногда даже не известным нам людям. Она в руках, в тех руках, в чьих руках телевизионные камеры и редакции газет...

Слова Белова ложились рядом с митинговыми лозунгами "Памяти" о ’"тель-авидении" и "гешефтмахере Коротиче", о "сионизированной прессе", пронизанной "русофобством"...

Однако тут мало было нового. Еще в 1912 году Алексей Шмаков писал ("Международное тайное правительство", книга вышла там же, в Москве):

"Попрубуйте восстать хотя бы против первого попавшегося шантажного листка жидовской прессы! Но сыны Иуды этим не довольствуются... Евреи стремятся отнять у народа разум, исковеркать его душу, отравить сердце, унизить и запятнать все его прошлое, внушить, наконец, стыд пребывания самим собой. В таких видах иудеи располагают целою фармаколо-гиею ядовитых веществ особого рода и тем более смертоносных, что применение их испытано на пути веков. В современную же эпоху иудеи располагают сверх сего и универсальною отравою во образе повседневной печати".

Василий Белов - народный депутат СССР. Алексей Шмаков — член Московской городской Думы, уполномоченный московского дворянства на VII Съезде Объединенных дворянских обществ...

56

Несколько лет назад я оказался в Вильнюсе. В редакции журнала "Литва литературная" мне подарили три последних номера с романом Григория Кановича "Козленок за два гроша". Не помню, когда такое со мной случалось: я начал читать "Козленка" — и не мог оторваться, а закончив, тут же стал перечитывать снова. Так слушаешь музыкальное произведение, захватившее тебя, с каждым разом вникая в него все глубже, все радостней дивясь его богатству и новизне. Поражали редкостное мастерство,

поэтичность, артистизм, беспредельное многообразие словаря — и, что понял я далеко не сразу, дух Библии, как бы зажженный от ее пламени светильник... Ничего странного не было в том, что небольшой по размеру журнал, призванный прежде всего печатать переводы с литовского, почти всю прозаическую площадь трех номеров отдал Кановичу. Потом я читал все, что мог достать, из написанного вильнюсским писателем, т. е. прочел еще три-четыре его романа, с тем же блеском написанные на родном для Кановича русском языке... Уже потом прислали мне номер газеты "Хашахар" ("Рассвет"), издающейся в Таллинне Обществом еврейской культуры. В нем была напечатана речь Кановича, произнесенная в марте 1989 г. на открытии литовского ОЕК[1].

[1] *Общество еврейской культуры.*

Вот небольшой отрывок из нее, хотя следовало бы перепечатать эту речь целиком:

".... Мы, евреи, не временные жители на планете Земля, а ее древние и, хочется думать, вечные обитатели.

Наш народ — не эгоист. На протяжении веков он боролся не только за свое равенство, но и за равноправие тех народов, которые дали ему, изгнанному со своей исторической родины, приют, и в этой борьбе он не жалел ни своих сил, ни своей крови.

Мы, евреи, искренне и бескорыстно вставали под разные знамена.

Увы, в час торжества нам не только отказывали в праве стоять под ними, припадать к их шелку губами, но порой даже обвиняли в том, что мы эти священные знамена запятнали.

Настала пора встать под свое знамя.

Оно есть. Оно полощется. Оно пребудет во веки веков. Ему, как равному, шелестеть и шелестеть среди иных штандартов и флагов.

Цвет его — цвет дружбы и равенства.

...Царь Соломон говорил: все пройдет. Канули в небытие войны, отшумели революции, вымерли и исчезли целые поколения и народы. Трудно спорить с мрачными пророчествами царей и мудрецов. И все же давайте отважимся!

Давайте поклянемся, что наш народ не пройдет. От каждого из нас — старика и юноши, мужчины и женщины — зависит, останется наш народ или исчезнет. Мы не можем уповать только на клятвы. Мы не можем ждать милостей от других. Будущее нашего народа в наших руках.

...Ни для кого не секрет: на просторах нашей родины чудесной все чаще звучат знакомые голоса, призывающие к расправе и даже резне. "Бей жидов — спасай Россию!" Не будем

делать вид, будто мы их не слышим, будто сии призывы к нам не относятся.

Относятся. Боевики "Памяти" и сочувствующие им ищут козла отпущения. Мракобесам всех времен нужны были виновники. Нужны они кое-кому и сегодня. На роль идеальных виновников они выбрали нас. Но мы ее играть не намерены. Нигде!.. И никогда!..

Сквозь оголтелый вой антисемитов всех стран, сквозь крики хулы я слышу голос нашего праотца Авраама:

— Иди и не бойся!

И я говорю себе, всем вместе и каждому в отдельности:

— Иди и не бойся!

Я говорю своему прекрасному, своему проклятому, своему бессмертному народу: — Иди и не бойся!"

57

"Мы, группа народных депутатов СССР, выражаем свое беспокойство в связи с усиливающейся волной антисемитских выступлений, открытых призывов к насилию, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Трагические события в Нагорном Карабахе, кровопролития в Сумгаите и Тбилиси вызывают в наших сердцах протест, чувство горечи и сострадания жертвам, тревогу за судьбу перестройки. Любые формы национального насилия, включая антисемитизм, угрожают обществу в целом. Необходимо прекратить натравливание одного народа на другой.

Как никогда актуально звучат сегодня слова подписанной Лениным Декларации СНК от 26 июля 1918 года о том, что "всякая травля какой бы то ни было нации недопустима, преступна, позорна..." Ее предписание — "принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения".

Мы предлагаем создать из независимых депутатов при Верховном Совете СССР комиссию по борьбе с антисемитизмом и оказанию содействия евреям СССР а реализации их национальных прав".

Под Обращениям подписалось более двухсот народных депутатов СССР, в том числе — Ельцин, Афанасьев, Аверинцев, Карякин, Заславская, Щедрин, Гранин, Католикос всех армян Вазген I, грузинские и молдавские писатели, литовская делегация, руководитель интерфронта Эстонии...

Обращение, подписанное в дни 1-го Съезда народных депутатов СССР, было адресовано Горбачеву.

И осталось без ответа.

58

Григорий Канович, один из организаторов этого Обращения, народный депутат СССР, спустя некоторое время писал:

"Семнадцать дней длился съезд, и четырнадцать из них я, как и другие подписанты, ждал ответа. Но ни Михаил Сергеевич, которому я направил депутатский запрос, ни Анатолий Павлович, который докладывал съезду о всех поступающих документах, и словом не обмолвились.

Правда, однажды мне домой принесли конверт с кремлевским грифом. Я было обрадовался: вот он, отклик на наше обращение. Но радость моя была преждевременной. Председатель комиссии по национальной политике Г.Таразевич прислал мне письмо, касающееся — кого-бы вы думали? — крымских татар, ибо моя подпись стояла и под обращением об их судьбе.

Я, разумеется, не враг крымским татарам, я желаю им исполнения всех их чаяний и прежде всего их сокровенной мечты о возвращении на свою историческую родину, но мне все же хочется спросить товарища Горбачева и товарища Таразевича: чем мы, евреи, хуже?

Неужели ответом на наши печали, на нашу тревогу, на наши законные требования снова будет надменное державное молчание?..

Г.Канович, "Еврейская ромашка". Вильнюс.

"Комсомольская правда,5 октября 1989 года.

59

"Державное молчание..." Не "державное" - просто молчание, вакуум, пустота сгущались вокруг меня, если только вообразить, что молчание и вакуум могут сгущаться... Я чувствовал это физически. Оно сделалось для меня во многом привычным. Полтора года назад я ушел из журнала, перестал бывать в Союзе писателей — стойкое, ледяное молчание "той" стороны воспринималось как естественное. Но все отчетливей слышалось мне молчание и другого рода...

Как-то, привычно делясь новостями с Р., близким другом нашей семьи на протяжении многих лет, я упомянул об учреждающемся в Алма-Ате Еврейском культурном центре и

спросил, не придавая никакого особого значения своему вопросу:

— Вы придете?

— Нет, — сказала она, — это меня не интересует. — В голосе Р., всегда очень громком и отчетливом, звучало раздражение. — А вы?

— Мы думаем сходить, — ответил я, опять-таки не придавая особого значения своим словам. — Все-таки впервые... Надо посмотреть, что это такое.

— А мне это не интересно! — взорвалась Р., да так, что телефонный провод, показалось мне, взвился и затрепетал у меня в руке. — Меня это не ин-те-ре-су-ет!.. Совершенно не ин-те-ре-су-ет! И не уговаривайте меня! Вас это интересует, а меня — нет!..

Я был порядком ошарашен этой телеистерикой.

— Да я и не думаю вас уговаривать, — Пробормотал я. — Нет — и нет...

— Я пишу по-русски, я думаю по-русски, еврейское — это не мое, вы поймите, меня это не тянет, а подделываться под кого-то я не хочу! Не же-ла-ю!..

— И прекрасно, — сказал я, ощущая, как сам понемногу начинаю заражаться ее раздражением. — Самое главное — каждому оставаться самим собой.

Мы закончили почти на миролюбивой ноте.

Потом случилось еще два-три таких же взрывчатых, без прямого повода, разговора... И между нами, до того ни в чем — так мне верилось — не фальшивившими друг с другом, возникла трещинка... Мне это было неприятно. Мало того — горько. Думаю — и Р. тоже. Она по-прежнему не фальшивила. Так же, как и я.

Р. во многих отношениях человек замечательный, чтобы понять ее, я снова и снова раздумывал над ее драматической судьбой. О ней самой, о ее семье можно бы написать роман, сюжет которого мне представился однажды до мельчайших подробностей. Сюжет, где нет никакой выдумки, никаких завитков "художественного воображения", сюжет-скелет, сюжет-конструкция, несущая часть строения, именуемого жизнью...Вот он:

Ее отец — уроженец еврейского местечка на Украине, до революции — чернорабочий, слесарь, солдат на германском фронте. Вступает в партию большевиков в мае 1917-го, во время гражданской войны — красноармеец, красный партизан, политкомиссар. Затем — на партийной и хозяйственной работе, вплоть до начала ежовщины, в 1937 году — арест, лагерь, смерть. Жена его тоже проходит через лагеря. И сама Р., в ту пору студентка литинститута, подвергается аресту, первоначальный приговор — расстрел — заменяется на срок в 25 лет. Здесь, в

лагере, у нее происходит встреча...

Когда отец Р. воевал в годы гражданской на Южном фронте в отраде Сиверса, он вполне мог застрелить в бою, взять в плен и "пустить в расход" казачьего полковника М. То же самое мог сделать и казачий полковник М. с красным комиссаром: убить в бою, взять в плен, расстрелять... Этого не случилось. После поражения белых полковник с женой и детьми бежит в Стамбул, потом перебирается в Югославию. Жизнь, карьера — все сломано, получив перед уходом с воинской службы звание полковника, он работает на маленькой станции путевым обходчиком... Его сына, которому в момент бегства из революционной России было шесть лет, в начале войны призывают в армию, он служит военным топографом, попадает в плен к американцам и когда ему предлагают выбор: Запад или Россия — выбирает Россию. В реальности это значит: лагерь... Здесь они встречаются: дочь красного комиссара и сын казачьего полковника.

Красный комиссар, не жалея себя, сражался за советскую власть и кончил жизнь в лагере, через лагерь прошли его жена и дочь. Казачий полковник Всевеликого Войска Донского умер вдали от родины, который был, без сомнения, предан и сумел свою преданность и любовь к России передать сыну... Каков же генеральный итог их судеб, полных не словесных, а подлинных страстей, любви и ненависти, крови и самоотвержения?.. Дети красного комиссара и казачьего полковника знакомятся в лагере, не знакомятся — находят друг друга, в полном соответствии с Платоном, его учением о двух половинках, жаждущих соединения... Выпущенные из лагеря в 1956 году, они женятся и в любви и согласии живут более тридцати лет...

Как-то, будучи у них в гостях, я взглянул на их сына, молодого врача, работающего в сибирской глубинке, высокого, светловолосого, скуластого, прочно, по-крестьянски сложенного, с той же неторопливостью и надежностью в характере и облике, что и у отца, — я взглянул на него и подумал, как он, молодой нынешний человек, да к тому же — медик, стало быть отчасти естественник, так вот — как он, родившийся в перекрестии судеб своих дедов, насмерть стоявших друг против друга, оценивает обоих? Как относится к их борьбе? Каким видится ему прошлое — их прошлое?.. И настоящее, накрепко с тем прошлым соединенное?.. То есть — его настоящее?.. В нем, в сыне Р., смешались еврейская и казачья кровь: прищурив свои слегка раскосые глаза, он мог бы, всмотревшись в начало века, увидеть там казачью нагайку и еврейские погромы... Кем, вернее — каким ощущает себя этот молодой человек?..

Не знаю. Думаю, и он сам — не знает. Возможно, вопросы эти

перед ним и не встают, а если встают, то на них — на вопросы века — ему пока не под силу ответить. Ни ему, ни мне. Мы в состоянии просто зарегистрировать существование неких фактов и относиться к ним как к фактам жизни, не более. Не вынося ни своего приговора, ни своих оправданий... Пожалуй, один-единственный вывод можно сделать вполне достоверно: все относительно — жизненные позиции, убеждения, национальность... Не следует их абсолютизировать, не следует платить за них кровью, в особенности — чужой. Существует другие абсолюты, более бесспорные, но куда труднее подающиеся точной формулировке...

Так вот — Р. С ее "меня это не интересует!" С ее "еврейское — это не мое, меня это не тянет, вы поймите!.." Ну, а если отбросить интонацию, с которой это было сказано, чуть ли не выкрикнуто в телефонную трубку? А если это — здравый вывод, итог жизни, включая и те восемь с лишком лет (из двадцати пяти), которые она отсидела в лагере до 1956 года? Итог, понимание всей относительности — в реальной жизни — привычных фетишей, стандартов? Если это и есть — светлая мудрость, соединяющая людей, гасящая пламя розни и мести?..

60

"Я чувствую себя русским человеком... Я не чувствую себя евреем..." — Сколько раз приходилось слышать эти слова. И от кого только ни приходилось их слышать!.. Впрочем, тут есть четкая граница, вернее — более или менее четкая. Чем выше интеллигентность, тем чаще повторяют люди эти слова: "Я чувствую...", "я не чувствую..." Иногда, впрочем, интеллигентность как раз и мешает их произнести. Но, скажем, Александр Лазаревич Жовтис, обвинявшийся то в "космополитизме", то в диссиденстве, добивавшийся двенадцать лет издания книги воспоминаний о жившем в Алма-Ате замечательном скульпторе Исааке Иткинде, — он, профессор Жовтис, никогда подобных слов не произнесет, но на самом деле он вряд ли чувствует себя евреем: жизнь его отдана русской литературе, он обучает студентов, готовит аспирантов — казахов и русских, переводит с казахского и с корейского, у него широкие научные связи по всему миру... Да, по паспорту он еврей, но — какое место в его жизни занимает еврейство?..

Но разве до самого недавнего времени не так же думал и я?..

Отчего же теперь мне все чаще вспоминаются родичи моей жены, жившие под Москвой, в Кунцеве, и мои собственные,

жившие в Астрахани, — наши бабушки и дедушки, родные и двоюродные тети и дяди?.. Как правило, то были "простые люди" — сапожники и слесари, часовые мастера и переплетчики, портные и типографские рабочие, засольщики рыбы и домохозяйки, всю жизнь занятые тем, чтобы варить и стирать, обихаживать тех, кто старше, и растить, ставить на ноги тех, кто младше... Они были не слишком-то образованы, соблюдали — не очень, впрочем, строго — обычаи, по праздникам готовили фаршированную рыбу, пекли штрудель и тейглех, между собой разговаривали на идиш, в положенные дни читали молитвенники на иврите, которого почти не понимали. На памяти у них были: царизм — и погромы, гражданская война — и опять погромы. Отечественная война — и Бабий Яр в Киеве, "бабьи яры" в Белоруссии, под Симферополем, в Литве и Риге, в памяти у них были 1948 год, 1953 год... Они не говорили: "Я чувствую..." или "Я не чувствую..." Они знали то, что они есть на самом деле: они евреи. Они по-доброму, без высокомерия и злобы, относились к людям, с которыми жили бок о бок: русским и татарам, украинцам и калмыкам, немцам и полякам. Но они знали, что они — евреи. И не обижались, когда им об этом говорили: так оно и есть, так *и* должно быть, мы — евреи. Они повторяли в пасхальную ночь, как это делали их предки две тысячи лет: "Сегодня — рабы, через год — свободные люди, сегодня — здесь, через год — в Иерусалиме". Но они не думали ехать в Иерусалим. Здесь, на этой земле они родились, здесь были похоронены их предки. Но это была ни их земля, они были тут как бы в гостях. Да, что там ни говори, а все-таки в гостях. Но кто, скажите на милость, кто из нас не в гостях — здесь, в этой жизни, на этой земле? Кто приходит сюда навечно?.. Но если ты понял, что ты — в гостях, так и веди себя, как положено гостю: не хами, не дерзи, соблюдай, порядки, не тобою установленные, и если тебе укажут на порог, не обижайся: во-первых, ты, может быть, сам виноват, не так себя вал, как следует, а во-вторых - ты все-таки гость, не хозяин... Так они говорили, наши неученые дедушки и бабушки, и как говорили, так и старались жить. Не глубокомысленные дефиниции были для них основой, а живой и горький опыт...

61

Вот две крайности... Я где-то посредине... И потому все чаще, все дольше молчит мой телефон...

62

— Я считаю себя русским... Я считаю себя французом... Я считаю себя лапландцем... Я считаю себя крейсером Тихоокеанского флота... Я считаю себя чайником для заварки...

Какая-то шизофрения.

"Я считаю..." В конце концов, не важнее ли, кем тебя считают другие?..

63

И все-таки — кто я?.. Откуда?.. Куда иду?..

64

Но об этом когда-нибудь после. Пока же я убежден в самом простом.

На еврейских могилах в Москве и Ленинграде, Киеве и Кишиневе малюют свастики?..

Философствующие погромщики (есть и такая категория!) зовут к расправе?..

Еврейство ищет и не находит защиты у закона? Евреи — гонимы? Травля евреев, которую у всех на виду ведет национал-патриотическая пресса, достигла небывалого размаха?..

В таком случае — я еврей! И побоку все рассуждения и разглагольствования!

Это не единственная позиция, да... Но на мой взгляд — единственно достойная в наше время.

И если мы действительно люди великой русской культуры, если мы сумели усвоить самое главное и лучшее в ней, наше место — среди униженных и гонимых.

Не ради того, чтобы назваться евреем... Ради того, чтобы остаться человеком.

65

В конце июня в "Литературной газете" появляется статья А.Андрианова "Кость в горле" с подзаголовком: "Еще раз о "Тайном советнике вождя", и не только о нем".

"За окном бушует майский алма-атинский ливень, грохочет гром, блистают молнии. Я же, сидя в кабинете главного редактора журнала, "списываю слова" из многочисленных писем читателей, беседую с Геннадием Ивановичем Толмачевым. Почта,

как видите, говорит он, положительная, хотя и есть резкие, нелицеприятные суждения. Тираж журнала с этого года вырос почти вдвое, притом прежде всего по Союзу: Украина, Москва и т.д. Критика в печати? Все-таки она не очень объективна, предвзята... Да, мы опубликовали в прошлом году только первую книгу. А с июня нынешнего печатаем вторую. К вашему сведению: первая часть выходит в московском кооперативном издательстве "Прометей"...

Как странно... Полтора года назад я чуть не каждый день заходил в этот кабинет. Мне казалось, что мы с Толмачевым понимаем друг друга, что ему как редактору, обремененному строгой ответственностью перед "верхом", трудно быть самим собой, я сочувствовал ему, соболезновал по поводу неприятностей, выпадавших на его крестном пути...

Все выгорело в моей душе. Даже ненависть. Да ее, ненависти, и не было, скорее презрение — и досада на себя. На свою наивность, доверчивость, иными словами — глупость. Сейчас там ни презрения, ни досады не осталось. Пустота. Полое пространство, из которого выкачан воздух.

У нас уезжает дочь...

А где-то там издают "Советника"... Пусть издают.

...Уезжают дочь и внук... Вот-вот Миша, муж нашей дочери, получит на руки визы, билеты... Я не очень-то расспрашиваю, не очень вникаю в подробности: когда, где, у кого... Это все равно как если бы тебе предложили в большом, под углом расположенном зеркале наблюдать операцию, которую производят над тобой — разрезают скальпелем живот, вынимают печень, сердце, почки... Лучше не смотреть.

"...Конечно же, оставаться в стороне от дискуссии журнал не мог, и вот его главный редактор Геннадий Толмачев на страницах "Казахстанской правды" прямо заявил, что "публикация и таких произведений — это и есть, на наш взгляд, гласность, которую принесла нам наша перестройка". А в апреле нынешнего года в том же журнале опубликована статья, где "Тайный советник вождя" (чего уж тут скромничать!) отнесен к произведениям, которые "открывают те тенденции и нарывы в общественном сознании, без знания которых перестройке не быть". Мол, что бы там ни говорили, а перестройке без "Советника вождя" не быть! На том стояли и стоять будем! Печатали и смело продолжаем печатать!

"В романе герой и автор, по существу, единомышленники, здесь нет ни "приема отстранения", ни иронической подкладки, ни даже какой бы то ни было дистанции. Вот, думается, почему и возрадовались те, кто, как сказано в одном из писем читателей,

"сохранил преданность отцу советского народа", кто вздыхает: "Сталина на вас нет!" — по поводу "разгула демократии", мечтая о сильной и властной руке вседержителя-господина".

Они уезжают, уезжают, уезжают... От меня ускользает смысл этих слов. Они уезжают... Это так же трудно, невозможно представить, как то, что моя правая рука уезжает в Америку, левая нога — в Новую Зеландию, правый глаз — на Корсику или Мадагаскар... Вы можете себе представить такое? Я — нет. У меня не хватает воображения. Слабого, старомодного воображения для этого мало. Тут нужен сюр — Пикассо, Сальвадор Дали...

Дробятся семьи, судьбы у тысяч людей, бросающих все, что было пережито и нажито, ради — еще бог ведает чего... А в журнале по-прежнему проводятся совещания, редколлегии, Ростислав Петров педантично перечисляет огрехи и промашки: здесь плохо выправлена фраза, там ошибка вкралась в примечание... После вчерашней пьянки протирает розовые глазки Антонов, курит, нетерпеливо посматривает на часы Рожицын... Редакция. Мозговой центр. Литераторы-гуманисты... А Мариша и Сашка помогают Мише — отбирают вещи, курточки, колготки, книжки, игрушки — чтоб полегче, не занимало много места... Картины войны, беженства загораются в моей памяти. Так то была война...

При издательстве "Казахстан" функционирует клуб "Публицист", имеется в рукописи его первый сборник. По этому поводу идут дебаты: издательство предлагает убрать две статьи, в том числе и о "Тайном советнике вождя". Ох уж этот советник! Как кость в горле, право слово.

"...Сборник публицистов возник как альтернативное издание. Конфликт не рассеивается, а, напротив, обостряется. Между тем, пока идут споры-разговоры, вторую книгу романа В.Успенского журнал продолжает набирать и печатать. В разговоре с ответственным секретарем редакции Р. Петровым я прямо спросил его: "А вы не боитесь нового взрыва общественного мнения?" На что получил довольно примечательный ответ: "Что ж, тогда выпьем свою чашу до дна!"

Дело, как говорится, вкуса. Впрочем, уместно ли здесь говорить о вкусе?"

Когда я показываю дочери "Литературку" со статьей "Кость в горле", она пробегает ее, потом поднимает на меня глаза — большие, серые, внимательные и невеселые... Так в первую секунду смотрит на больного врач, убедившись, что листочек с анализом подтверждает его не обещающий ничего хорошего диагноз... Так она смотрит на меня (ее глаза всегда напоминают мне глаза моей матери), откладывает газету и ничего не говорит.

Что обсуждать, о чем говорить?.. Для себя ее выбор уже сделан.

67

А часы тикают... Стрелки движутся, соединяются, сольются одна с другой — и снова врозь... И на календаре — отсчет, как перед пуском ракеты или атомным взрывом: еще тридцать дней... Еще двадцать девять... Двадцать пять... Двадцать... Пятнадцать... Десять... Восемь... Семь дней, пока они здесь... Еще пять дней... Четыре дня, и в каждом — двадцать четыре часа, и в каждом часе — шестьдесят минут...

Много это или мало?..

Скажите мне, ответьте — много это или мало?..

68

И вот оно приходит — 17 августа 1989 года от Р.Х. Москва. Аэропорт Шереметьево-2. Светлый, солнечный день, голубое бездонное небо над аэродромом.

"ПОКА ДЫШУ — НАДЕЮСЬ!..”

Он же, увидя череп, плывущий по реке, сказал ему: за то, что ты утопил, тебя утопили, но и утопившие тебя будут утоплены.

Талмуд

1

Вторую часть этой книги я назвал "Крона и корни", а мог бы назвать — "Реванш".

Реванш — это расплата за поражение.

В данном случае — расплата за тотальное поражение всей нашей (да, нашей, родной!) тоталитарной системы.

То есть прежде всего — расплата за поражение партии в ее долгом, не прекращающемся ни на минуту сражении с породившим ее народом. Это расплата за потерю еще недавно таких надежных позиций — и теми, кто командовал нашей командно-административной системой, и теми, кто ее обслуживал — уже давно не за совесть, а только за страх, за сытную кормежку, за квартиру в престижном доме, за поездки в загранку. Расплата за покачнувшееся положение — и тех, кто на элегически-патриотический лад против нее фрондировал — в предписанных начальством пределах...

Поражение же ждет реванша.

Реванш начинается с поиска виновных — козлов отпущения. Они должны находиться близко, под рукой, чтобы в любое время на них можно было сорвать гнев. Козлы отпущения... Виновные всегда и во всем... Враги...

Кто же они?

Для азербайджанцев — армяне,
для армян — азербайджанцы,
для узбеков — турки-месхетинцы,
для киргизов — узбеки,
для грузин — абхазцы,
для молдаван — гагаузы,
для гагаузов — молдаване,
для всех — русские,
для системы в целом — евреи.

Евреи — это, так сказать, универсальный козел отпущения... Это удобно. Это беспроигрышно. Это устраивает многих, а главное — систему. Ее сил явно не хватает, чтобы вызволить страну из перманентного кризиса, вернуть людям достоинство,

упрочить правопорядок. Она ищет врага послабее, поуязвимей, торжествовать над которым, по-прежнему владея армией, ракетами, КГБ, прокуратурой, госаппаратом, она сможет без всякого риска...

Она ищет врага, виновника свалившихся на страну бед... Ищет — и находит.

Этот враг — наш Сашка.

Сашенька...

Тут ничего не нужно доказывать, документировать, это и не требуется, поскольку существует совершенно точный, безотказно срабатывающий аргумент: Сашка — еврей.

А кто в семнадцатом организовал жидо-масонский заговор против России, русского народа?.. — Евреи.

— Кто расправился с последним русским царем и всей императорской фамилией?.. — Евреи.

— Кто виновен в сталинских репрессиях? — Евреи.

— Кто лишил крестьян земли, а Россию — крестьянства, кто проводил коллективизацию в начале тридцатых?.. — Евреи.

— Кто растлил и уничтожил отечественную культуру?.. — Евреи.

— Кто разрушил экологию, погубил Волгу, Байкал, Арал, напичкал нитратами овощи, загрязнил химией воздух и воду?.. — Евреи.

А если так — нет им прощения!.. Им — выходит, и Сашке.

Нет, погромов не было (еще не было?..). Верю, что и не будет. Во мне больше говорит мой еврейский (российский?) оптимизм, чем разум: если были армянские, турко-месхетинские, узбекские, таджикские, киргизские и т. д., почему не быть еврейским?.. Но и без погромов[20] — было и есть то, о чем написана эта книга.

[20] *Однако стоит обратить внимание на некоторые "мелкие" факты, например, на приводимую ниже без комментариев заметку, опубликованную в Симферополе. Следует лишь учесть: появилась она в областной партийной газете, органе официальном, и надо себе представить, каковы обстоятельства, принудившие газету хотя бы таким образом на них отозваться!*

”ЭТО ЧТО - "ПОГРОМ”?

12 мая 1990 года в 23 часа 35 или 40 минут неизвестный облил дверь моей квартиры бензином и поджег ее. Начался сильный пожар. К счастью, мы не спали, и с помощью соседей удалось погасить пламя.

Я тут же, примерно в 23 часа 50 минут, позвонил по 02, сообщил о случившемся и попросил приехать. Ответ: принято. И все.

Через 20-25 минут мне позвонил по телефону неизвестный и сказал: "Ну что, Александр Борисович, предупреждение получил?" И с полным набором оскорбительных антисемитских высказываний потребовал немедленно уйти с работы и уехать из страны. Предупредил, что в противном случае последуют крупные неприятности с имуществом и даже физическая расправа со мной и членами моей семьи.

Я вновь позвонил по телефону 02, рассказал о звонке. Меня переключили на дежурного Железнодорожного РОВД, который удивленно переспросил: "А чем я могу помочь?" На мое настойчивое требование прислать кого-нибудь обещал прислать в течение часа группу.

Едет она до сих пор. А звонки, оскорбления и угрозы повторились и в последующие дни. Причем звонят уже и на работу сотрудникам с теми же оскорблениями в мой адрес.

Прошу принять меры к защите меня от преступников и оскорблений, унижающих мое человеческое и национальное достоинство. Или мне с семьей действительна уехать?

В настоящее время я не допустил рабочих до ремонта полусгоревшей двери квартиры, побелки закопченного до черноты подъезда. Люди приходят, как на экскурсию, смотреть на "еврейский погром".

А. Криншпун

г. Симферополь.

Этого достаточно, чтобы в моих ушах зазвучал из глубины веков несущийся клич: "Ату их!.." Я не хотел бы, чтоб он достиг Сашенькиных ушей, обжег их, пробил насквозь нежные барабанные перепонки...

Но так или иначе... Наум Коржавин сказал, прожив шестнадцать лет в Америке: "Я нашел свободу и потерял Родину..." Почему — кто бы мне объяснил?.. — мой внук должен лишиться своей вполне реальной, отнюдь не мифической Родины? И разговаривать на чужом языке, постепенно теряя ощущение потока живой русской речи, с которой связаны самые первые движения его мысли, первые образы мира?.. Я представляю себе когда-нибудь такой разговор: — "Где вы родились, мистер Алекс?.." — "В Советском Союзе, в Алма-Ате..."

— "Что побудило вас приехать к нам? Климат? Интерес к нашей культуре? Или тут замешана женщина? Я угадал?.." — "О, нет... Как вам объяснить..." — И вот здесь-то перед мистером Алексом, нашим Сашенькой, всегда будет черта, похожая на рубец, на плохо сросшийся шрам... Поскольку ведь всегда есть какая-то нечистота, скверность — в том, чтобы сказать правду о

собственной матери, если это позорящая ее правда... Матерей не выбирают. Мать, убившая свое дитя или подкинувшая его на чужой порог, — все равно мать... Я почему-то убежден, что Сашенька запнется в разговоре на этом месте, не желая ни врать, ни говорить правду... И его собеседник, человек проницательный и деликатный, не станет выпытывать у него ответ, он переведет разговор на другую тему, но при этом уронит как бы невзначай: "Простите, мистер Алекс, вы еврей?" — "Да", — скажет Сашенька, не погрешив ни на волосок против истины. — "О, тогда все понятно", — скажет (или, скорее, подумает) его собеседник...

2

ИЗ ЗАВЕЩАНИЯ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА, ПОДПИСАННОГО ИМ В БЕРЛИНЕ 29 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА В 4 ЧАСА УТРА:

"...Это ложь, будто кто-либо в Германии 1939 года хотел войны. Войну спровоцировали интернационалисты еврейской национальности или те, кто им служит.

Всего лишь за три дня перед началом германо-польской войны я внес предложение о мирном разрешении проблемы. Мой план был изложен английскому послу в Берлине: международный контроль наподобие того, какой был учрежден в Саарской области. Мой план был отвергнут без обсуждения, потому что правящая клика Англии хотела войны — частично под влиянием пропаганды, находившейся в руках международного еврейства.

Полная ответственность за трагедию европейских народов, переживших ужасы нынешней войны во имя выгод финансового капитала, лежит целиком и полностью на евреях.

Я уйду из жизни добровольно в том случае, если пойму, что положение фюрера и рейхсканцелярии безнадежно. Я умру с легким сердцем, потому что знаю, как многого добились наши крестьяне и рабочие, я умру с легким сердцем, ибо вижу совершенно уникальную преданность моему делу нашей молодежи. Я бесконечно благодарен им и завещаю им продолжать борьбу, следуя идеалам великого Клаузевица. Гибель на полях битв приведет в будущем к великолепному возрождению идеалов национал-социализма на базе единства нашей нации.

Наша задача, то есть консолидация национал-социалистического государства, являет собой задачу веков, которые грядут, и поэтому будущее каждого индивида должно быть тщательно скоординировано с интересами всеобщего блага.

Я прошу всех немцев, всех национал-социалистов, мужчин и женщин, всех солдат вермахта сохранять верность до последней капли крови новому правительству и его президенту.

И главное — я требую от правительства и народа свято соблюдать расовые законы и всеми силами противостоять интернациональному еврейству".

3

Вот так: "Противостоять интернациональному еврейству..."

И великая задача ("задача веков"!) будет решена, священная цель достигнута, "всеобщее благо" обеспечено.

Главное — противостоять!..

Что ж, у фюрера нашлись последователи.

Они оказались людьми широких взглядов, их не смутило инородческое происхождение основоположника немецкого национал-социализма... Впрочем, вопросы приоритета всегда спорны. Памятуя, когда и где создавались знаменитые "Протоколы сионских мудрецов", когда и где осваивалась методика еврейских погромов, не так просто решить, кто, кого и в чем наставлял...

4

Впрочем, проблемами, связанными с приоритетом в данной области, пускай займутся мужи науки, для нас куда важней другое. В полном согласии с расовой теорией, о которой до самой смерти столь трогательно заботился Гитлер, создана грандиозная картина. И картина эта, принадлежащая патриотической кисти Ильи Глазунова, размножается в миллионах экземпляров и усиленно внедряется в сознание народа. На ней, с одной стороны, изображены светочи православия, цари, полководцы, писатели, художники, артисты — по возможности "чистых кровей", с другой — злодеи, погубители России явно иудейского происхождения: Троцкий и Каменев, Зиновьев и Свердлов, занимавшие немалые должности в ОГПУ Агранов и Фриновский, Берман и Валович, организатор расстрела царской семьи Юровский, его непосредственное начальство Белобородов (Вайсбарт), далее — погубитель церкви Ярославский, погубитель русского крестьянства Эпштейн и т.д. и т. п. Очень впечатляющая, до мурашек между лопатками, картина. Только странное возникает впечатление. Как вышло, что такую огромную, венценосную,

пурпурно-золотую тысячелетнюю Россию, вечную Россию извели, прямо-таки стерли в порошок ныне почти никому не известные Берманы и Эпштейны или, положим, те же Троцкий со Свердловым?.. Судя по всему, не обошлось без сатанинских сил, с которыми коварные инородцы вступили в союз.

И однако...

И однако, если отбросить явные подтасовки, натяжки, прямую ложь, если на медленном огне беспристрастия выпарить воду и взглянуть на гущу, скопившуюся на дне, задуматься над выпавшими в осадок фактами? Их будет несравнимо меньше, чем у наших мастеров по изготовлению антисемитских настоев по широко известной рецептуре, но — куда деваться? Осадок будет. Осадок, вызывающий и боль, и стыд. Осадок, вызывающий вполне естественное стремление смягчить боль, избавиться от стыда...

В самом деле, разве не встречаемся мы с вполне определенным подбором фактов, подбором имен? Скажем, фамилии "сионистов", заправлявших делами в НКВД, фамилии начальников лагерей в системе ГУЛАГа, начальников управлений НКВД на местах... Но, во-первых, к архивам такого рода по каким-то причинам имеют доступ в основном авторы "патриотических журналов" — "Нашего современника", "Молодой гвардии" и т.д. Во-вторых, публикуются не полные данные, а в извлечении. В любом лагере, да еще в те времена, как правило. Начальство не засиживалось подолгу, один начальник сменялся другим — всегда можно из десяти выбрать одного и ткнуть в него пальцем. А затем, проделав ту же операцию со "штатным расписанием" других лагерей, прийти к искомым результатам. А соединив эти "результаты", получить устрашающе "сионистский" состав всей системы ГУЛАГа или аппарата НКВД. Читатель будет ошарашен "фактами", но проверить их не сможет.

И тем не менее... Пускай хотя бы частично списки "сионистов" из ЦК, ОГПУ, НКВД верны — все равно получается многовато... Хотя — по сравнению с чем — многовато? С чем или с кем? В моей семье было двое репрессированных: мой дядя Илья Герт, получивший в 1937 году десять лет и погибший на Колыме, и моя тетя Вера Герт (по мужу Недовесова), отсидевшая пять лет в КарЛАГе. В шестидесятые годы в Караганде я встречал немало евреев, отбывших срок, реабилитированных, доживающих свои раздавленные, искалеченные жизни... Было бы кощунством устанавливать "пропорциональное представительство наций" и среди жертв ГУЛАГА, но дойди до этого, соотношение количества евреев-жертв и евреев-палачей выдержит любые сравнения...

И вот еще какая мысль приходит на ум. Во времена Великого княжества Литовского великий князь Витовт вывез из Крыма

пятьсот татарских конников и сделал их своей гвардией, доверив ей охранять собственную особу. Властители Египта в средние века имели охрану из мамелюков, которые были родом из тюркских племен, в частности — из степняков-казахов, смелых воинов и отличных наездников. Турецкие султаны, страшась измены и предательства среди "своих", предпочитали в качестве стражей двора преданных им янычар, набиравшихся вначале из военнопленных, потом — из насильно отобранных и обращенных в ислам детей христиан. Римских полководцем охраняли воины из легионов союзников, то есть "неримлян". Людовик XI создал королевскую гвардию, вскоре она состояла из швейцарцев и шотландцев. При Николае I в русской гвардии существовали крымско-татарский и кавказско-горский эскадроны. Кто в годы гражданской войны охранял Кремль, правительство, Ленина?.. Латышские стрелки. Можно продолжить вереницу подобных фактов, но зачем? И без того вполне вероятна догадка: "инородцы" годились на столь ответственные роли, поскольку обладали двумя бесценными с точки зрения власти свойствами: во-первых, они больше других зависели от правителя ("преданность"!), и, во-вторых, используя их против "своих", всегда можно было свалить вину за пролитую кровь на “инородческое происхождение" исполнителей верховой воли. Почему не предположить, что во времена Сталина, скажем, какое-то количество "грязной работы" "доверялось" евреям?

5

Я остановился на этом вопросе не для того, чтобы кого-то оправдывать или обелять, а лишь чтобы вновь повторить хорошо известную истину: история и человек сложнее любой схемы, в частности — той, которую, не жалея квадратных метров холстины, увлеченно малюет Илья Глазунов...

Ведь на памяти наших отцов — не "исторической", не вычитанной из книг, а живой, кровоточащей памяти — была, например, волна (да что там — волна!.. Волны накатывали, дыбились одна за другой!) зверских расправ, истязаний, убийств, когда лишь на Украине, по которой прошлись Добровольческий корпус Деникина (между прочим, те самые — "корнет Оболенский, поручик Голицын..." и др.), войско Симона Петлюры, отряды батьки Махно, атаманов Григорвева, Зеленого, — там, на Украине, погибло более 300 000 евреев.

Приведу отрывок из книги Бернара Лекеша "Когда Израиль умирает", изданной во Франции и вышедшей у нас в 1928 г.

Бернар Лекеш рассказывает о поездке в Киев, о виденном и слышанном от свидетелей происходившего здесь в годы гражданской войны:

"Вот один из огромных многоэтажных домов. Он пережил нападение петлюровцев.

Их было десять человек. Они ворвались, выломали двери, убили несколько человек и стали выбрасывать вещи через окна.

Чем выше они поднимались, тем сильнее свирепели. Дом снизу доверху был населен евреями. В четвертом этаже жило несколько семейств с детьми, с грудными младенцами.

— Звери схватили детей и, глухие к безумным воплям отчаяния, выбросили их на мостовую на глазах матерей...

О происходившем мне рассказал один из присутствовавших при этом зрелище. Он стар, изломан, высох. Его имя Самольский.

— Сколько вам лет, дедушка?

— Дедушка?.. — Он горько смеется. — Мне сорок два года.

Если он стал таким, то этим обязан деникинским солдатам: они его слишком долго били.

Равнодушный к своей судьбе, Самольский дополняет картину. — До утра, разумеется, мы оставались спрятанными. Но как только забрезжило утро, мы выползли из своих нор. Семь младенцев с размозженными черепами — одному было десять месяцев — были распластаны на тротуаре. Я еще припоминаю, что у мальчика Керчмана, сверх того, зияло на лбу отверстие от пули, которую ему всадили, очевидно, чтобы его прикончить, и что один глаз у него висел на щеке.

Поглаживая бритую голову какого-то странного малыша, одна женщина спокойно прибавляет размеренным, безразличным голосом:

— У меня тоже один ребенок был убит таким образом. А соседка Эстер Флайберг сошла с ума. У нее, правда, один только и был...

В другом месте, в нескольких шагах от Пушкинской улицы, я захожу в мастерскую, затем в квартиру, в другую, и так повсюду. Вижу людей — мужчин, женщин. Не все они были при большом погроме, который в продолжение трех дней, 17-20 октября 1919 года, опустошил весь квартал. Многие из них его пережили. Что они говорят? "Убивали". И еще? "Грабили". Здесь работа "добровольцев", работа Деникина".

("За рубежом" № 28, за 1990 г.)

И еще отрывок:

"Меня ведут к представителям еврейской общины. За чаем мне приносят какой-то таинственный документ. Он весь испещрен буквами, похожими на запятые, а на последний лист

легла печать раввина.

— Официальный список тридцати семи еврейских студентов, замученных и убитых в 1919 году петлюровскими солдатами.

Тридцать семь молодых людей, имена которых записаны по-древнееврейски и удостоверены подписями. Их возраст: шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать лет.

Только что произошел погром. Только что было убито два десятка евреев и полтора десятка ранено. Эти тридцать семь юношей собрались и, возмущенные злодеяниями, решили встать на защиту своих. Они имели против себя целую армию, армию Петлюры!

Выданные атаману, они в тот же вечер были задушены у себя на квартирах, безжалостно задушены... "Как на войне", — пишет один свидетель-христианин".

(Там же).

6

И все-таки, что там ни говори, а в осадке, с которого начали мы речь, останутся весомые-таки камешки... Да не камешки — глыбы, расплющившие собственных весом и тяжестью гигантской пирамиды, высящейся над ними, немало жизней ни в чем не повинных людей. И если у евреев есть имена — гордость нации, стоит назвать физиков Абрама Иоффе и Льва Ландау, а рядом Осипа Мандельштама, Соломона Михоэлса, Василия Гроссмана, то есть и другие имена: Каганович, Голощекин, Ягода, Мехлис. Можно увеличить их список. И поскольку он — список палачей, активных участников запланированных Сталиным акций — достаточно велик, и эти палачи в совокупности с палачами едва ли не всех проживающих в стране национальностей (вот где полный интернационал!) сотворили неимоверное зло, за которое мы все расплачиваемся и долго будем расплачиваться, то нет у нас права ни оправдывать, ни укрывать собственных негодяев. И нет права отказываться от участия во всеобщем покаянии...

Но список действительных грехов у всех нас столь велик, что ни к чему его увеличивать за счет грехов мнимых. И, следуя испытанному способу, превращать еврейский народ в эдакого всемирного козла отпущения.

7

Не могу удержаться, чтобы не процитировать здесь

Владимира Жаботинского — поэта, воина, блестящего переводчика Хаима Бялика с иврита на русский, одного из строителей государства Израиль... Вот что написал он в 1911 году — том самом, когда затевался грандиозный спектакль под названием "Дело Бейлиса":

"Мы народ, как все народы: не имеем никакого притязания быть лучше. В качестве одного их первых условий равноправия требуем признать за собой право иметь своих мерзавцев точно так же, как имеют их и другие народы. Да, есть у нас и провокаторы, и торговцы живым товаром, и уклоняющиеся от воинской повинности, есть, и даже странно, что их так мало при нынешних условиях. У других народов тоже много этого добра, а зато есть еще и казнокрады, и погромщики, и истязатели, - и, однако, ничего, соседи живут и не стесняются. Нравимся мы или не нравимся, это нам, в конце концов, совершенно безразлично. Ритуального убийства у нас нет и никогда не было; но если они хотя непременно верить, что "есть такая секта", - пожалуйста, пусть верят... Какое нам дело, с какой стати нам стесняться? Краснеют разве наши соседи за то, что христиане в Кишиневе вбивали гвозди в глаза еврейским младенцам? Нисколько; ходят, подняв голову, смотрят всем прямо в лицо, и совершенно правы, ибо особа народа царственна, не подлежит ответственности и не обязана оправдываться. Даже когда есть в чем оправдаться. С какой же радости лезть на скамью подсудимых нам, которые давным-давно слышали всю эту клевету, когда нынешних культурных народов еще не было на свете? Никому мы не обязаны отчетом, ни перед кем не держим экзамена и никто не дорос звать нас к ответу. Раньше их мы пришли и позже уйдем. Мы такие, как есть, для себя хороши, иными не будем и быть не хотим".

Кому-то покажется, что в этих словах звучат нескромные нотки. Кому-то послышится некоторое высокомерие... ("Еврейское!.. — скажут иные. — Еврейское высокомерие!.." Так оно куда крепче: не просто "жадность", а "еврейская жадность", не просто "хитрость", а "еврейская хитрость", и уж конечно же не просто "высокомерие", а "еврейское высокомерие", туг достаточно прибавить одно-единственное словечко, и негативный смысл сразу возводится в квадрат, в куб...). Но, может быть, следует учесть, что Жаботинский представлял не нападающую, а обороняющуюся сторону, что со времени Кишиневского погрома прошло каких-то восемь лет — к 1911-ому-то году, а со времени погромов пятого-шестого годов и всего-то ничего, и уже, как нарыв, созрело дело Бейлиса, а впереди была и гражданская война, и германский фашизм, и Холокост... Так что, предпочитая

скромность и смирение, будем помнить и об этом.

Суть же сказанного Владимиром Жаботинским представляется мне в другом.

8

Обвинять можно людей, отдельных людей, но не народы. Люди, отдельно взятые, могут быть хорошими и плохими, могут быть мерзавцами, преступниками, но нет и не может быть хороших и плохих народов, народов-мерзавцев, народов-преступников. Преступными можно считать организации, сообщества, в которые люди сознательно вступают. Нюрнбергский процесс доказал преступность руководства НСДАП, преступность имперского правительства, СА, СС, гестапо... Но — не Германии, не немецкого народа. Ибо, говоря несколько архаичным слогом Жаботинского, "особа народа царственна"! Народ нельзя ни обвинять, ни судить.

И потому — не народы, а — обвинения, бросаемые целым народам, — вот что преступно. Люди, бросающие такие обвинения, — вот кого следует судить по всей строгости. За расизм. Гитлеровского ли типа, обоснованный "теоретически", сталинского ли — первостепенное внимание уделявший практике, т. е. подвергавший наказанию целые народы...

Между тем у нас на глазах расизм просачивается в нашу жизнь, внедряется в быт — разумеется, имея при этом политическую начинку. Но разве случалось, чтобы расизм выступал в "чистом" виде? Ведь и Гитлер "спасал" — да, именно так! — немецкий народ... И Сталин "наказывал" немцев, калмыков, крымских татар, чеченов, греков, турок-месхетинцев, корейцев не за что-либо, а — за "измену", за "неблагонадежность", за возможность проявления "неблагонадежности"... Но расизм остается расизмом — с любой начинкой: "Русские, go home!" — в Литве, "Русских — за Днестр, евреев — в Днестр!" — в Молдавии, "Азербайджанцы, вон из Армении!", "Армяне, убирайтесь из Азербайджана!", "Русские, уезжайте к себе!" — в Ташкенте, "Узбеки, вон с нашей земли!" — в Киргизии.

"Особа народа царственна!" — это относится к любому народу.

9

Но вот беда: начинка-то порой не из пустоты берется...

В "Сидуре", книге древних еврейских молитв и поучений, входящей в Талмуд, встретилось мне такое изречение: "Он же, увидя череп, плывущий по реке, сказал ему: за то, что ты утопил, тебя утопили, но и утопившие тебя будут утоплены". В этих словах охвачен весь круговорот мирового зла. Того, который утопил, тоже утопили, чем словно бы восстанавливается некая справедливость. По принципу: "око за око, зуб за зуб". Но идея возмездия, заключенная в нем, не избавляет мир от зла, ибо те, кто утопил плывущего по реке, в свою очередь будут утоплены кем-то, жаждущим справедливости...

Месть — не выход. К прежнему злу она лишь прибавляет новый виток.

Как же быть?

В том же "Сидуре" сказано:

"Один язычник пришел к рабби Гиллелю и сказал: "Научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге, и я приму иудаизм". Рабби Гиллель ответил: "Не делай другому того, чего не хочешь себе. Все остальное — комментарий к этому".

Тора — "Пятикнижие Моисеево" — основа Ветхого Завета. В Новом Завете, в Нагорной проповеди Иисуса Христа варьируется та же мысль, но в более радикальном, я бы сказал — романтичном варианте: "Возлюби врага своего". Иммануил Кант выразил эту мысль в знаменитом "категорическом императиве".

Так что выход, по крайней мере — теоретически, давно человечеству известен. Он в том, чтобы порвать цепь, выйти из круговорота, вырваться из плена запрограммированных историей обстоятельств... То есть, попросту говоря, — простить.

Простить грехи и обиды — подлинные и мнимые.

Простить — не дожидаясь, пока историки выяснят, какие из этих грехов и обид истинные и какие — ложные.

Простить, поскольку опоздаем — и уже некого и некому будет прощать.

За торжествами по случаю победы при реке Калке последовали торжества по случаю победы на поле Куликовом. После многократных взятий и сожжений Москвы произошло взятие Казани, падение Казанского ханства. Ермак был расплатой за долговременную дань Золотой Орде. Восстания и антиимперские войны, полыхавшие в прошлом веке на Мангышлаке и в казахских степях, горячие головы связывают с голодом начала тридцатых годов, погубившими сотни и сотни тысяч жизней казахов... Что дальше? — спросим друг друга. - Каков новый, подготавливаемый нами виток?..

На старую рану — истребление полутора миллионов армян в Турции в 1915 году — ляжет боль Сумгаита. Что дальше?..

Армяне, столетия жившие на землях Азербайджана, ринутся прочь. И 200 000 беженцев-азербайджанцев, бездомные, нищие, с детьми, с котомками за плечами будут ютиться по подвалам Баку... Пока волна отчаяния и ненависти не бросит их на армянские кварталы — и три дня и три ночи, пока войска отсиживаются в казармах, в городе будет идти погром...

Ну, а евреи? С чего начать, чтобы не слишком удаляться от современности?.. С восстания ничтожного по численности народа на краю могучей Римской империи, с разрушения Иерусалима, с полосы, проведенной плугом там, где прежде стояли храм и город?.. Минуло двадцать веков — и потомки создателей Библии и строителей Храма стали возвращаться из рассеяния. Они возвращались на сухую, горячую землю, где снова возникло их государство. Возвращались, забыв язык, на котором написаны Экклезиаст и Песня песней. Возвращались, сохранив жалкие ошметки обычаев, когда-то свято соблюдавшихся, но смешных и несуразных в мире космических ракет, и компьютеров. Они возвращались... Двадцать веков их судьбу неизменно определяли две константы: гонения, которым они всюду подвергались, и стремление к свободе, равноправию, независимости, которые ценились ими превыше всего. Они хотели жить — без гетто, без черты оседлости, без Бабьего Яра. Они хотели жить без процентной нормы. Без погромов.

Без вымаливания милостей у державной власти и тоскливого ожидания чьего-то заступничества. Короче, они хотели жить — как все. Но это не нравилось. Вызывало подозрение. При слове "сионизм", произнесенном с украшенных государственными гербами трибун, многие морщились, как при слове "сифилис". Однако я запомнил фразу, произнесенную в начале шестидесятых моим другом Морисом Симашко. "Романтика кончилась, — сказал он. Дальше начинается обыкновенная история обыкновенного народа в обыкновенном государстве..."

Что ж, евреям только этого и хотелось: из народа, избранного на роль козла отпущения, превратиться в обыкновенный народ, наделенный теми же возможностями и правами, что и все...

10

Но две тысячи лет диаспоры не были путешествием скучающих туристов с ночевками в первоклассных отелях. Земля обетованная век за веком превращалась в легенду, мечту. Земля, куда забрасывала судьба, становилась реальной родиной. Здесь рождались дети, здесь отходили к праотцам старики. Здесь шли

на каторгу и на баррикады, здесь воевали, погибали в боях с иноземным врагом — будь то Севастопольская" оборона или русско-японская война, будь то первая мировая или Отечественная.

Здесь уместно вспомнить об Иосифе Трумпельдоре, герое защиты Порт-Артура, полном кавалере Георгиевских крестов. Там же, в Порт-Артуре, он потерял руку. За доблесть был произведен в офицеры — и оказался единственным евреем-офицером на всю армию. Впоследствии уехал в Палестину, погиб в борьбе за создание еврейского государства.

На фронтах Отечественной войны сражалось пятьсот тысяч евреев, из них погибло двести тысяч. Сто семьдесят тысяч награждены орденами и медалями. Ста тридцати присвоено звание Героя Советского Союза.

Мало кто знает, к сожалению, что организатором круговой обороны героической Брестской крепости был полковой комиссар Хаим Моисеевич Фомин. И что 27 июля 1941 года командир эскадрильи старший лейтенант Исаак Зиновьевич Пресайзен, совершив до того более семидесяти боевых вылетов, повторил подвиг Гастелло — в Белоруссии, у города Радошковичи. И что командиром 31-го Кубанского кавалерийского полка 7-го кавалерийского корпуса был Хаим Абрамович Попов, награжденный орденами Красной Звезды, орденом Суворова и др. И что 22 февраля 1942 года боец Абрам Исаакович Левин закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота — и в деревне Жигарево Калининской области, на том самом месте, где он погиб, стоит памятник герою. А в Ленинграде, в военно-морском музее под потолком одного из больших залов подвешен бомбардировщик, на котором Михаил Зеликович Плоткин, впоследствии награжденный Золотой Звездой, совершил в 1941 году первый налет на Берлин. А майор Цезарь Лейбович Куников, командир штурмового отряда десантников, чей прах покоится в Новороссийске на площади Героев? А старшей лейтенант Иосиф Бумагин, забросавший гранатами один дзот, а другой закрывший своим телом? Ему, посмертно награжденному званием Героя Советского Союза, стоит памятник в Витебске, на его реальной Родине... (По материалам ВЕСК за 9 мая 1990 года, публикация Б.Межарова "Во имя победы").

Допускаю, однако, что иному читателю такого рода подбор имен и фактов может показаться искусственным — у нас мастера и с помощью статистики доказать все, что желательно в данной момент. Но вот вполне рядовая еврейская семья — моя. Оба мои прадеда — по отцу Арон Герт, по материнской линии Абрам Сокольский — будучи николаевскими солдатами из кантонистов,

участвовали в Севастопольской обороне и были награждены медалями (одной из них я играл в детстве, помню тяжеленькое, темного цвета колесико размером в мою тогдашнюю ладонь и — дугой — надпись: "ЗА СЕВАСТОПОЛЬСКУЮ ОБОРОНУ"..) Оба, пользуясь правом, предоставленным отслужившим срок (двадцать пять лет) николаевским солдатам-евреям, поселились вне черты оседлости, в г.Астрахани, где впоследствии повстречались и поженились их внуки — мои родители. Сын Абрама Сокольского, мой двоюродный дед Борис Сокольский, отвоевал всю первую мировую артиллеристом, брат отца Илья Герт — участник гражданской войны, мой отец Михаил Герт был мобилизован в первые же дни войны и погиб на Перекопе в начале ноября 1941 года. Примерно такой же "расклад" и в семье моей жены — семьи же наши, повторяю, самые обычные.

11

Но было не только это...

В средние века, в связи с развитием капиталистических отношений, росла потребность в деньгах, банков еще не существовало, их заменяли ростовщики. Католическая церковь запрещала христианам заниматься этим богопротивным промыслом. Тогда явились пушкинский "презренный жид, почтенный Соломон" и шекспировский Шейлок. А затем — бальзаковский Гобсек. Правда, рядом с "почтенным Соломоном" у Пушкина — Скупой рыцарь с его сундуков золота и драгоценностей, нажитых не без ростовщичества. И Достоевский, не пылавший, как известно, большой любовью к иудейскому племени, ростовщицу-"процентщицу" именует не Двойрой Абрамовной, а Аленой Ивановной... Но факт остается фактом: был он, был еврей-ростовщик!

А еврей-кабатчик, еврей-шинкарь?.. Кому ныне, стараниями академика Углова, не известно, кто спаивал столетие за столетием русский народ?.. Но вот что писал по этому поводу знаток народной жизни Николай Лесков: "Кто хочет знать правду для того, чтобы основательно судить, сколь сведущи некоторые нынешние скорописцы, укоряющие евреев в распойстве русского народа, тот может найти в "Истории кабаков России" драгоценные сведения. Там собраны обстоятельные указания: кто именно главным образом был заинтересован в этом распойстве..."

Если же заглянуть в Большую Энциклопедию под ред. Южакова (СПб. 1903 г.), в статью "Монополия винная", то в ней можно прочесть: "Доход казны от потребления вина населением

составляет главнейшую, почти ни с чем не сравнимую основу нашего бюджета". Далее приводится цифра: 499 000 000 руб. — доход от казенной продажи вина, ожидаемый в 1903 году. А вот динамика роста такого рода доходов государственной казны: 1781 г. — 10 млн. руб., 1811 г. — 53 млн. руб., 1858 г. — 91 млн. руб., и т.д., вплоть до названного 1903 года[21]).

См. примечание в конце книги.

Замечу кстати, что в последние десятилетия доля "пьяных денег" в государственном бюджете нашей страны была, следуя давнишней традиции, также очень велика, и кто скажет, на что именно шли эти деньги?.. Впрочем, академик Углов наверняка бы ответил: в еврейские карманы...

Что же до Лескова, то после обстоятельного рассмотрения проблемы "распойства" он заключает: "Евреи во всей этой печальнейшей истории деморализации в нашем отечестве не имели никакой роли, и распойство русского народа совершилось без малейшего еврейского участия, при одной нравственной неразборчивости и неумелости государственных лиц, которые не нашли в государстве лучших статей дохода, как заимствованный у татар кабак" (Цитируется по брошюре Н.Лескова "Евреи в России", изданной впервые в 1884 г. в количестве пятидесяти экз. и переизданной в Петрограде в 1919 г.).

И тем не менее, повязанные множеством запретов, ограничений, дополнительных налогов, евреи — прав академик Углов! — таки торговали винно-водочными изделиями. Но вина их в "спаивании" была не больше, чем у шинкарей, кабатчиков, трактирщиков других национальностей. Беда лишь в том, что то были — евреи... Но я не ставлю своей целью подробно разбираться в этом вопросе, отделять правду от лжи, истину от навета. Важно, что смесь того и другого служит надежных материалом для стереотипа, функционирующего в массовом сознании... Итак, еврей-ростовщик, еврей-шинкарь, кто еще?.. На Украине, особенно в западной части, - еврей-управляющий: пока ясновельможный- пан проматывал доходы с имения в Париже или на худой конец в Варшаве, нанятый им еврей-управляющий старался "оправдать доверие" и вызывал у крестьян ненависть — куда большую, чем его высокородный хозяин. Еврей-торговец... Еврей-хозяин... Еврей-террорист... Еврей-чекист... Еврей-сторонник Учредительного собрания... Еврей-противник Учредиловки... Еврей стрелял в Столыпина... Еврей стрелял в царя... Еврейка стреляла в Ленина... Евреями были Авербах и Заславский... Евреями были Бабель и Пастернак...

Что между ними общего?..

Только одно...

Среди сотен тысяч евреев, пострадавших на Украине в годы деникинско-петлюровских погромов, оказалась и семья Шварцбардов. Один из уцелевших членов этой семьи, ремесленник-подмастерье Ш. Шварцбард, мстя за гибель родителей, в 1926 году на парижской улице застрелил Петлюру. Французский суд присяжных оправдал молодого человека. Когда пятнадцать лет спустя, 30 июня 1941 года, немецкие войска заняли Львов, набранная из местных жителей полиция провела "петлюровскую акцию" — в отместку за смерть Симона Петлюры было перебито семь тысяч евреев.

Пытаюсь представить, что в светлые, хрустальные дни сентября вело громил и жаждущих крови бандитов к Бабьему Яру в том же 1941 году? Ведь какие-то три-четыре месяца назад все, как говорится, было тихо, добрые соседи переговаривались: не привезли ли в магазин за углом молоко?.. — И вот... Одни из вчерашних соседей шли по мостовой, шли колонной, с малыми детьми на руках, шли, опираясь на палки, на костыли — старики и старухи, шли беременные женщины, в их круглящихся животах зрели младенцы, которым не суждено было родиться, шли мальчики и девочки, еще вчера взахлеб читавшие Гайдара и бегавшие в кино на "Чапаева"... И что же, что думали, что чувствовали - те, другие, которые их гнали перед собой, не давали задержаться, отстать? Что думали стоявшие на тротуаре, наблюдая, как их гонят?.. Или прежняя, давностью в три-четыре месяца тишина была ложной? И тлел, жег, распалял воображение образ Кагановича, сталинского посланца, с которым столько зловещего связано на Украине, и от него судорожная ненависть перескакивала к еврею-комиссару, а там и дальше — к еврею-арендатору, еврею-шинкарю, еврею-ростовщику?.. И все это вдруг сбилось, слиплось в один ком, когда по городу разбросали геббельсовские листовки-воззвания, в которых просто и четко разъяснялось, кто — причина всесветного зла и что теперь надлежит каждому делать...

Из ста пятидесяти тысяч убитых в Бабьем Яру сто тысяч были евреями. Среди них не было ни арендаторов, ни комиссаров, ни Лазаря Моисеевича Кагановича... И вот какая штука: от листовок тех не осталось и следа, но когда Евгений Евтушенко (это в славные-то шестидесятые!) написал стихи о Бабьем Яре, его надолго перестали печатать, и когда Виктор Некрасов в двадцатипятилетнюю годовщину расстрелов на Бабьем Яре выступил на митинге, его исключили из партии, в которую он принят был на фронте, под Сталинградом, а затем началось: обыски, допросы, изъятие рукописей... И когда Борис Полевой напечатал в "Юности", где был редактором, го-весть Анатолия

Кузнецова "Бабий Яр", в редакцию беспрерывно слали устрашающие анонимки, звонили: "Вы забыли, что у нас — Москва, а не Тель-Авив?.."

Не знаю, так ли это, но говорят — Сталин мстил евреям за Троцкого. Теперь мстят евреям за злодеяния Сталина. В Прибалтике многие евреи приветствовали советскую власть. Но так как советская власть в сталинско-бериевском варианте принесла прибалтам неисчислимые беды, виновными за эти беды оказались евреи. Когда сюда пришли гитлеровцы, мстили советской власти, Сталину, а убивали евреев — и убили столько, что хватило бы на несколько Бабьих Яров. Затем вернулась Красная Армия — и те, кто прислуживал немцам, и те, кто хотел не "освобождения", а свободы, ушли в леса... Ныне здесь называют оккупантами русских, а заодно и всех русскоязычных, обвиняя их в том, что случилось, когда большинства из них на свете-то не существовало... И вот начинается, уже начался — исход. Нет, не древних иудеев из Египта — русских и русскоязычных из Средней Азии. За колонизаторов, за истребление тоталитарной системой национальной интеллигенции, за сокрушение местного уклада жизни, которому не меньше, а то и поболе лет, чем и Москве, и всему Российскому государству, за голод тридцатых годов, за Арал, за съеденные хлопком поля — за все, за все расплачиваются те, кто поливал эту землю не менее горячим потом, чем узбеки, таджики, казахи, киргизы, туркмены, а точнее — те, кто строил здесь города, пробивал шахтные стволы, варил сталь, сеял хлеб, и все это — плечом к плечу с узбеками, таджиками, казахами, киргизами, туркменами... За все, за все должны расплатиться те, кто воистину хотел сделать счастливой эту землю и всех на ней живущих — и не сумел... Но в чем виноваты люди, которые сегодня платят за чужие грехи?..

Одна месть тут же порождает другую, у мести, как у кольца, нет конца, у попавших в ее проклятый круг нет выхода... Нет другого выхода, как разорвать это кольцо, этот костер, замкнувшийся вокруг нас, и погасить, залить пламя, не щадящее ни правых, ни виновных, ни жертв, ни палачей!

Тем более, что чаще всего не палачи страдают, им-то как раз удается ускользнуть от расплаты, страдают люди, не причастные к чудовищным преступлениям, страдают те, кто слаб, кто не в силах себя защитить... Вспомните младенцев, которых бросали с верхних этажей киевского дома, вспомните отверстие от пули, зиявшее на детском лобике, вспомните глаз, висящий на щеке... Какая уж "слезинка ребенка", о ней ли речь! И днем, и ночью передо мной этот страшный, на мертвой щечке повисший глаз, и не плакать — выть от ужаса и тоски мне хочется, и рычать, и

бежать куда-то, хватая по пути палки, камни — что попадет под руку... И уже не знаю сам, что мерещется мне — тот ли неведомый мне младенец или — Сашка, Сашенька, Сашуля, мой внук... Его исчезающий в проходе, между стойками, там, где таможенный досмотр, — светлый хохолок на макушке...

Нет, нет, не нужно мести, ярости, злобы! Не нужно — даже во имя справедливости! О ней спорили, спорят, будут спорить, поскольку известно, все в мире относительно... Бесспорно, абсолютно одно — у каждого из нас свой Сашка, Сашенька, Сашуля — робкая зеленая веточка на стволе, покрытом корявой, морщинистой корой, крохотная почка, в которую упакованы — листок... цветок... росток... новое дерево... продолжение бесконечной жизни...

Будем помнить об этом!

12

В тот самый момент, когда я закончил предшествующую главу, мне позвонил Павел Косенко — тот самый, который был одним из шестерых, не согласных с публикацией очерка Марины Цветаевой... И вот он позвонил мне а звонит он нечасто и не по пустякам — и сказал:

— Я хочу прочитать тебе одно стихотворение... Вот оно:

Когда горело гетто,
Когда горело гетто,
Варшава изумлялась
Четыре дня подряд,
И было столько треска,
И было столько света,
И люди говорили:
"Клопы горят".
А через четверть века
Два мудрых человека
Сидели за бутылкой
Хорошего вина,
И говорил мне Януш,
Мыслитель и коллега:
"У русских перед Польшей
Есть своя вина.
Зачем вы в сорок пятом
Стояли перед Вислой?
Варшава погибает,

Кто даст ей жить?"
А я ему: "Сначала
Силенок было мало
И выходило - с помощью
Нельзя спешить".
"Варшавское восстание
Подавлено и смято.
Варшавское восстание
Потоплено в крови...
Пусть лучше я погибну,
Чем дать погибнуть брату", -
С отличной дрожью в голосе
Сказал мой визави.
А я ему на это:
“Когда горело гетто.
Когда горело гетто
Четыре дня подряд,
И было столько треска,
И было столько света,
В Варшаве говорили:
"Клопы горят..."

Стихотворение, сказал Павел Косенко, написано Александром Ароновым... Не знаю, что это за поэт, что написано им еще, но все показалось мне важным, не случайным: и то, что Александр Аронов, живущий в Москве (судя по аннотации в книжке, попавшейся Павлу в руки), и мы с Павлом, живущие в Алма-Ате, и мудрый Гиллель, живший в Палестине две тысячи сто лет назад, — что все мы думали и думаем об одном: "Он же, увидя череп, плывущий по реке..." — во всем этом, будь я человеком верующим, почудилось мне бы некое знамение...

13

Так что же — все простить, все забыть?.. И кинуться к Шафаревичу или Кожинову с объяснениями в любви, набиваться им в братья?.. Во-первых, сдается мне, они сами не очень-то этого хотели бы, а во-вторых, честно говоря, мне и самому этого как-то не хочется. Простить, забыть — такое не делается по приказу извне или даже изнутри. Но не сводить старые счеты в новых обстоятельствах, отказаться от мести за старое — это мы можем. И можем постараться хотя бы понять друг друга... Иногда для этого требуется только время и отсутствие новых причин для

ожесточения.

Помню 1966 год, ресторан в Чимкенте, куда я, командированный, заглянул пообедать, и белобрысого, в рыжих конопушках, разбрызганных по лицу, бледнокожего, голубоглазого, прямо-таки классического немца примерно моих, то есть тридцати с чем-то лет. Ни словом с ним не обменявшись, ровно ничего не зная о нем — как я его ненавидел! И при случае не считал бы нужным скрывать свою ненависть! Наоборот, она была для меня священной, я где-то в душе гордился тем, что ее испытываю, она как бы связывала меня с множеством людей, объединяла с ними, в том числе — и с теми, кто был мне всех дороже! Она возвышала меня, эта ненависть, и чем сильнее была она, тем большее удовлетворение, тем более сладкую радость я испытывал!

И он, этот немец, сидевший со своими коллегами за одним из столиков, предназначенных, как мне объяснили мои спутники, для феэргешников, которые приехали строить в Чимкенте фосфорный завод, эту мою ненависть превосходно чувствовал. Я уперся в него и не сводил взгляда — с его белобрысого, гладко зачесанного набок чубчика, с широко распахнутого ворота нейлоновой, модной тогда рубашки, с его прямо, не мигая, устремленных на меня глаз. Как спичка о спичку, зажегся этот вначале безразлично скользивший по залу взгляд — зажегся, вспыхнул, встретясь с моим...

Феэргешные столики, накрытые белыми, накрахмаленными скатерками, располагались на небольшом возвышении, вроде ресторанно-эстрадного помоста, и молоденькие, улыбчивые официантки в кружевных наколках обслуживали их необычайно резво — в сравнении с прочими столами, вроде нашего, в пятнах, с налипшими на скатерть хлебными крошками... За что я ненавидел этого парня, сидевшего метрах в пяти-шести от меня? Завидовал чистой скатерти на его столе? Расторопным официанткам? Запотевшим бутылкам "жигулевского", про которое нам было сказано: "Не подвозили..."? До коих пор, говорили мы, наши институты будут готовить специалистов, которые не могут сами построить такой вот завод, и сами — его спроектировать? Почему для этого надо приглашать немцев? Какого дьявола?.. И какого дьявола при этом трепаться о патриотизме?.." (Тогда только еще начинали собирать старые иконы и прялки по северным деревням). И тут местный, чимкентский журналист как бы по секрету сообщил нам, что феэргешным инженерам запрещено выезжать из Чимкента — будто бы из соображений государственной тайны, а на самом деле потому, что вокруг Чимкента, по аулам, — глинобитные мазанки, развалюхи, для

скота не хватает ни корма, ни воды, всюду пыль, грязь, бездорожье, нигде ни деревца, во дворах — кучи кизяка... Но феэргешники ухитрились-таки отснять кое-что на кинопленку и увезти к себе в фатерлянд, а там крутили такое вот кино и потешались...

И все же — нет, не это само по себе разожгло меня: скатерти?.. Да бог с ними, со скатерками, гости — в конце-то концов... И не кино, распотешившее какое-нибудь франкфуртское или гамбургское семейство, хотя это, в общем-то, отдает свинством... Но немцев можно понять: после ихних кафелей на кухнях и в клозетах, и ванн, и электропечей, и розариев под окном... Это не они, это мы — свиньи, если у нас, в стране победившего-распобедившего социализма, в таких условиях живут люди... Мы — не они...

Но здесь, помню, что-то произошло — мелкое, но обидное, зацепившее и меня, и моих спутников. Белобрысый, заметили мы, сказал что-то резкое девчонке-официантке, она покраснела, смутилась, а он вдобавок скривил свой тонкогубый, капризный рот и бросил ей что-то презрительным, высокомерным тоном... Не знаю, отчего всегда больше всего задевает вот это. Может быть, каждая женщина чем-то напоминает каждому из нас мать, или — не то что напоминает, а вдруг тронет, шевельнет воспоминание о ней, хранящееся где-то в подкорке... Впрочем, я подумал в тот миг не о матери, а об отце. И даже не о своем отце, а о его, белобрысого, отце. Я подумал, как он в своей грязно-болотной форме, в рогатой каске, с закатанными по локоть рукавами, белобрысый, голубоглазый, выпустил веером ароматную очередь и изрешетил моего отца. И если его, сукиного сына, не пристрелили там же, на Перекопе, осенью сорок первого, то, возможно, потом он дошел до Сталинграда или Курска, или до Ростова — мало ли до чего он мог дойти! И теперь его сын — здесь, в Чимкенте, строит "этим русским" (для него все мы — русские!) завод, комбинат, который им, "этим варварам", и во сне не снился!..

И вот здесь все стянулось в один узел. Я уже не своего сверстника видел перед собой, а того — сверстника моего отца и его убийцу. И моей ненависти хватило бы, чтобы подойти к феэргешному столику — и убить. И не испытать при этом ни малейшего сомнения в своем праве на это. Праве на месть.

Священную месть. Ибо что может быть священнее, чем — месть за убитого отца?..

Не знаю, на самом деле смог бы я убить его, сидевшего передо мной?.. В своем воображении я с наслаждением его убил, исполнил свой долг.

С тех пор прошло много лет. Может быть, в этом причина, что моя кровь поостыла. А может — и в том, что за это время многое стало мне яснее. И то, что там, в Германии, множество людей творили зло в убеждении, что творят благо. Разве не так было у нас?.. И разве мало людей, которые творили зло не по убеждению, а не имея сил противиться этому? Справедливо ли воздавать им той же мерой, что и тем, кто толкал их на зло, на кровь, на убийство, лишал воли, веры в собственный разум, гипнотизировал словами: "нация", "народ", "Родина", освящая ими любую ложь, любое злодейство?.. Нет, никогда не поставлю я рядом своего отца, майора медицинской службы, ведавшего военно-полевым госпиталем, и его убийцу: ведь не он, мой отец, пришел на Рейн - это к нему пришли, и не он убил — его убили... Но могу ли я судить немца - за то лишь, что он немец? Сына — за то, в чем виновен отец? И — что знаю я об отце того самого белобрысого парня, который передо мной? Может, и не убийца он вовсе? Может, ненавидел он Гитлера так же, как мой отец ненавидел и презирал Сталина (ненавидел, поскольку брат его, Илья, в 1937-м получил десять лет "без права переписки", а сестра Вера — пять лет лагерей, а муж ее — расстрел, и отец, было время, со дня на день ожидал, что явятся и за ним... А презирал — как может и обязан, сказал бы я, каждый интеллигент презирать хама, велик он или мал...). Единственное, что знаю я о нем (да и то — приблизительно: были в германском воинстве и румыны, и венгры, и итальянцы...), это что он был немец. И что же, что следует отсюда: хорош он был или плох, добр или зол и т.д.?.. Что?.. Да ровно ничего. А этот, в ресторане?.. О нем-то что мне известно?.. Да, мне представилось — улыбнулся он как-то не так... А еще? Еще мне известно, что пришел он к нам не с автоматом, а с циркулем. И за это его ненавидеть?..

Все так просто... Но сколько же лет прошло прежде, чем я это понял.

14

И однако... Вот я пишу — и то там, то сям у меня срывается: тех судить, этих наказывать, кому-то прощать (или не прощать) давние и недавние обиды... Между тем вспоминается мне одно место в статье Михаила Эдидовича, опубликованной в рижском журнале "Родник".

"С чего начать? — размышлял задолго до нашего с вами рождения хасидский мудрец Самуил (Шмелке) из Никольсбурга, - мир так безобразен. И я решил начать с моей страны, которую я

все-таки знаю лучше... Но моя страна так огромна! Начну с моего города... Но мой город такой большой! Начну с моей улицы... Нет, с моего дома... Нет, с семьи... А, ладно, начну-ка я лучше с себя..."

В самом деле, не качать ли с себя?

Нет, я вовсе не думаю, что евреям надо в чем-то каяться больше, чем всем другим. Но - надо. Например, в существующем где-то в душе сознании собственной неполноценности, третьесортности. Несмотря на общественное положение, на доброжелательные взаимоотношения на работе, научные знания, признание заслуг... Все равно сознание это где-то в тебе гнездится, и рядом с ним - ощущение какой-то смутной, непонятной вины. И вот уже (сколько раз я с этим встречался!) — чем порядочней, чем совестливей человек, тем чаще, под воздействием каких-нибудь кожиновых, начинают пульсировать в нем сомнения: ну, а вдруг? Ну, а если хотя бы одна треть из предъявленных евреям обвинений — правда? И этого достаточно, чтобы признать — виноваты, виноваты мы и в революции, и в терроре, и в репрессиях и — да, конечно, погромы, дискриминация и пр. и пр. - оно нехорошо, но ведь и в них есть своя сермяжная правда?.. И справедливо говорили и говорят те, которые... Вам с чем-то подобным никогда не приходилось встречаться?.. Помню, один мой приятель, свято веря цифрам и располагая только цифрами, которые были соответственно подобраны авторами соответственных журналов, доказывал мне, что — да, виноваты, виноваты! Вот же факты, вот!.. Он так обливал себя и свой народ зловонной грязью — куда там самому поднаторевшему антисемиту!.. Но мы-то спорили дома, попивая чаек, и разговор касался нас двоих, добрых молодцев из "Памяти" в черных рубашках и высоких сапогах рядом не было, никто спору нашему не аплодировал... А случалось иначе. Случалось такое, о чем вспоминать больно и страшно. В 1953 году, во время "дела врачей , "готовилась публикация письма, в котором евреи СССР открыто обвинялись в воинствующем национализме, в массовом вредительстве. Письмо подписали видные деятели искусства, культуры, науки еврейской национальности. Это письмо стало бы безоговорочньм приговором, к приведению в исполнение которого были готовы многие...[22]"

М.Гейзер, "Соломон Михоэлс", Москва, "Прометей", 1990 г.

Помимо боязни за собственную жизнь, помимо сознания предрешенности конца этой истории, во всех деталях отработанной в абакумовском МГБ, но вдруг переиначенной самим господом богом посредством смерти главного ее сочинителя, думаю, что и у подписавших письмо, хотя бы у некоторых, было сознание вины — нет, не своей, не своих

знакомых, даже не "врачей-убийц", а — народа... Следовательно, было и сознание права судить и карать любыми способами народ...

Но зачем говорить о ком-то — начнем с себя... К чему вспоминать здесь о немецком антисемите Фридрихе Юлии Штале, принявшем христианство еврее, который в своих книгах доказывал, что евреям не следует давать равные с другими права. И к чему задерживаться на более близком нам россиянине Якове Брафмане, также еврее, принявшем христианство: его юдофобское сочинение "Книга кагала", изданная в 1869 году, во многом предвосхитила "Протоколы Сионских мудрецов" и до того пришлась по вкусу властям, что несколько лет спустя ее переиздали за правительственный счет. Не будем также останавливаться на совсем уж "нашенском" феномене — московском еврее-литераторе самых демократических убеждений, человек стойком и за убеждения свои пострадавшем: он крестился и, в жажде самоочищения и искупления "вины", написал роман, который можно назвать "энциклопедией российского антисемитизма"... Все эти факты достойны особого исследования, как и давно занимающий меня с точки зрения психологии тип ренегата... Речь же здесь о другом.

О сознании собственной третьесортности. О "комплексе вины", разъедающем душу. О том, что комплекс этот, формирующий характер "тзари дрожащей', оборачивается вдруг агрессией против "своих", а порой и против "чужих"... Поскольку "самообвинение" на деле превращается в обвинение своего народа. Но раз можно свой народ обвинять, значит — и любой другой!

...Признаем же, что "особа народа царственна" и осуждению не подлежит. Можно судить о людях, из которых народ состоит, — злых и добрых, святых и предателях, мучениках и нравственно растленных уродах... Но нельзя карать, клеймить, осуждать народ! Боль, которую познали евреи, достаточна, чтобы — даже в ответ — не причинять ее никому...

Начать с себя... Помню, в детстве я с удивлением и даже тайной неприязнью (уже тогда!) наблюдал, как мой дед, надев очки — два стеклышка в тонкой железной оправе — отыскивал, распахнув газету, в списках награжденных еврейские фамилии, как потихоньку, радостным голосом, называл их бабушке... Потихоньку, потому что дети — мои мать и отец — этого не любили. Старикам — прощали, но сами никакого акцента на еврейском не делали. Стыдились. Пушкин и Гоголь, Фейхтвангер и Хемингуэй (война в Испании!..), Шолом-Алейхем и Короленко — вот имена, которые вспыхнули негасимым огнем для меня в

детстве, имена, произносившиеся в ту пору родными устами и потому сами родные, включенные в семейный круг... И как в семье не делят на "своих" и "чужих", так и культуру в среде, где я рос, не делили на "свое" и "не свою". И Гитлер, скажем, воспринимался не как враг еврейства, а как враг — в равной мере — всех рабочих И крестьян, всего трудового народа...

И вот прошло много лет, по сути - прошла жизнь. И когда мои русские друзья хотят успокоить меня, умерить боль, придушить ярость, они похлопывают меня по плечу и говорят: "Да брось, чего ты? Ну, сволочи, фашистская мразь — стоит принимать все всерьез? Ведь все мы для них — евреи!.," Я им благодарен. Более того, не только они — мне, я им тоже — сочувствую! Ведь они испытывают глубочайший стыд за куняевых, кожиновых и пр., поскольку те — тоже русские! И хотя здравому смыслу стыд этот противоречит, он существует — где-то за пределами здравого смысла... Как — помимо здравого смысла живет во мне стыд за Кагановича, за Голощекина... Стыд за любого подлеца-еврея, хотя — что у нас общего-то? И почему я должен стыдиться за него больше, чем за подлеца-калмыка, подлеца-украинца?.. Но вот — стыжусь же! И они, мои русские друзья, стыдятся — и стараются всячески успокоить, уберечь... Тем самым навлекая на себя дополнительное недовольство...

Короче, мы сочувствуем друг другу, мы вместе, мы рядом... Но вот парадокс. "Ведь все мы — евреи", — говорят они, повторяя чью-то горькую остроту, на самом же деле звучит это как "все мы — русские". Есть в этом и душевная щедрость, и широта, и свойственное доброму человеку стремление поделиться всем, что он имеет: вот тебе наш дом, наше тепло, наше солнце... Наши пейзажи, наша литература, наша музыка... Наш язык... Наша история... Все, чем владею, — пополам!

Все это и человечно, и от чистого сердца... Но в какой-то миг возникает странное чувство — парадоксальное, как бы из ничего возникшее чувство. С тобой делятся, готовы поделиться последним... А ты? Кто ты — иждивенец, нахлебник, гость, застрявший в чужом дому? Делишься ли ты — своим, тебе принадлежащим? Или свыкся с тем, что берешь и берешь из чьих-то рук, и то хвалишь, то порицаешь, то забываешь порой поблагодарить? А поскольку тебе дают, а "дареному коню в зубы не смотрят", бери да говори спасибо... Дают — бери... (Память услужливо продолжает: "... а бьют — беги!").

Итак, что можешь ты дать — взамен?.. Ведь не станешь же ты мелочиться, да и не по правилам гостеприимства напоминать (это можно сделать в полемике в противником, а не в разговоре с искренними друзьями), что кое-что в приютившем тебя доме —

ну, если и не твое, то возникло не без участия давних твоих предков... К примеру, христианство, которое считается основанным российской культуры, российской духовности. Ведь и Ветхий Завет, и Новый — это, так сказать, создание гения еврейского народа: "Малого народа", по терминологии того же Шафаревича и К°... Но к чему напоминать об этом, да еще и хорошим людям? И не будем называть имен, без которых в доме, для нас не менее дорогом, чем для его хозяев, сделалось бы чуть темнее, чуть холоднее, — не стоит заимствовать этот прием у любителей считать-пересчитывать гены и анализировать пятый пункт... Не стоит... Лучше попристальней взглянем на себя — "начнем с себя".

15

Длинная, бесконечная цепочка людей представляется мне, когда я оглядываюсь назад. Хотя — не такая уж она длинная: шестьдесят человек стоят в ней один за другим. Всего-навсего — шестьдесят. Но в то же время цепочка эта — страшной, невероятной длины: ей две тысячи лет. По принятому демографами счету, жизнь одного поколения равна тридцати годам. И выходит: на столетие — три поколения, на две тысячи лет — шестьдесят... Вот она выстроилась — цепочка из шестидесяти звеньев, шестидесяти поколений. Почему — из шестидесяти?.. Можно бы и увеличить вдвое, но я беру 70 г. нашей эры — дату разрушения Иерусалима Титом, начало диаспоры. Шестьдесят поколений, а для меня — шестьдесят человек. Среди них — раввины и ремесленники, голландские гранильщики алмазов и польские портные, марокканские торговцы и палестинские кодификаторы Талмуда, испанские марраны и местечковая голытьба. Среди них люди простые и великие ученые, ростовщики и музыканты, солдаты и синагогальные служки, типографские наборщики из Вильны и воины, вставшие под знамена Бар-Кохбы... По этой цепочке из рук в руки передавался факел — иногда вспыхивавший ярко, иногда еле светивший, но в невероятной дали веков загоревшийся живой огонь не угасал, был священным, за него сражались и погибали, ради него терпели унижения, пытки, погромы... Как же случилось, что на последних двух-третьих звеньях цепочка оборвалась? Огонь потух? Почему, любуясь другими огнями, подбрасывая в другие костры добытые в лесу дрова и хворост, не положим и две-три хворостинки на доставшийся от предков огонь, а не на огонь, так хотя бы на сберегшие жар угли?.. Честно ли это, порядочно ли

— затоптать, заплевать, засыпать песком свой костер, и это вместо того, чтобы беречь его пламя, открытое для любого путника, кому захочется увидеть его свет, впитать его тепло?..

В самом деле, что для меня — реб Акива? И что — Маккавеи? И что — Иегуда Галеви? И что — Маймонид? История каждого народа слагается из подвигов в его борьбе за свободу, из сказаний, оставленных потомкам, из песен, сложенных его поэтами, из светлых мыслей, подаренных человечеству его мудрецами. Что же, разве нет у моего народа своих героев и мучеников? Разве не сложены им прекрасные сказания, которые тысячи пет живут, переложенные на все языки земли? "Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отчество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал", — разве не могли бы мы повторить эти слова Пушкина, обратясь к собственным предкам и собственной истории — одной из ярчайших нитей, вплетенных в многоцветную историю человечества?.. Так отчего же наши хулители жонглируют фигурами ростовщиков и кабатчиков, террористов и "масонов", сводя к ним всю историю народа? Не оттого ли, что мы сами не знаем ее и способны поддаться примитивному жульничеству, рассчитанному не только на злобу и зависть, но и на простое невежество? Можем ли упрекать в невежестве других, если невежды сами?..

Начнем с себя: можем ли мы вызывать уважение к себе, если сами не знаем и не хотим себя знать? Думаю, что без великого Бялика нельзя понять русского еврейства XX века, а может быть — еврейства вообще. Но кто из нас, наряду с Ахматовой и Пастернаком, читал его стихи и поэмы? Когда "сионист" и "еврей" сделались синонимами, мы и сами толком не знали, что такое — "сионист", и еще меньше знали о Герцле, и еще меньше — об Ахад-Гааме. Не могли? Признаемся: не хотели знать.

Однажды, в компании широко образованных людей, сведущих, помимо своей специальности, в разных областях искусства и культуры, после того, как было дружно выражено негодование по поводу очередной скверно пахнущей статьи "Нашего современника", я сказал:

— Вероятно, даже откровенные антисемиты согласятся, что евреи принесли России не одно только зло... Давайте попробуем выяснить хотя бы на любительском уровне — какое же добро принесли они этой стране? Среди нас есть врачи — пусть они пороются в памяти, если надо — в книгах, чтобы на двух-трех листочках набросать, каков реальный вклад евреев в нашу медицину. Среди нас — физик, биолог, химик, историк... Пусть они займутся тем же. Литературу я беру на себя. Для чего и для

кого это нужно?.. Да попросту для нас самих! Ведь после таких статей жить не хочется!..

И что же?.. Не единый человек меня не поддержал.

Только что все наперебой возмущались новым плевком, новым ведром помоев, со сладострастным остервенением выплеснутым на еврейство, но тут приутихли, занялись винегретом и прочими закусками (была середина семидесятых, закуски на столах еще водились), попутно высказывая немало резонных соображений, почему не следует браться за это дело. Я слушал, уткнувшись к себе в тарелку. Слушал и не спорил. Мне стыдно было за свою наивность. Но не только за нее...

За столом сидели хорошие люди. Не прохиндеи, не жулики, не махинаторы. Добросовестные, усердные трудяги, каждый — отличный специалист в своей области, как говорят теперь — профессионал. Кроме того, все были завзятые театралы, любители и знатоки живописи, литературы, бывали — нет, не по "служебным надобностям", а в турпоездках за собственный счет — за границей... Они знали русскую историю, русскую классику, искусство "серебряного века". Многие прожили всю жизнь в Казахстане и любили эту землю — ее горы и степи, ее добродушный, приветливый, отзывчивый на чужую боль народ. Французский импрессионизм, немецкий экспрессионизм, скандинавский авангард... Новгородская вечевая демократия и опричнина Ивана Грозного, реформы Александра II и творчество "мирискусников" — они могли рассуждать об этом с вечера до утра, и рассуждать не как-нибудь, а погружаясь в детали и тонкости... Все это было для них свое. И чужими были еврейская культура, еврейское искусство, еврейская история. Чужим был еврейский язык — что иврит, что идиш. Чуждо звучали еврейские имена. Более того: что-то удерживало их от того, чтобы ощутить свою причастность к еврейству, что-то властно отторгало от него...

16

Все та же наивность живет во мне и сейчас. И вот я думаю... А хорошо бы создать музей истории евреев России! Я вовсе не считаю, что это была бы только история погромов, хотя от них-то никуда не уйти... Главное в другом. Мои знакомые, с которыми мы горячились по поводу "Нашего современника", из прославленных еврейских имен, поднатужаясь, помимо Эйнштейна, Шагала и Эренбурга, могли перечислить еще пять или шесть, да и то не слишком уверенно ("Фальк..." — "Да?..

Разве?.. Вот не думал!.. И Альберт Майкельсон?.." — "Быть не может!" — "Почему не может, если Модильяни..." — "Как, и Модильяни?.."), что же до еврейской истории, то ей предпочитали рыбу-фиш и весело похрустывающую на зубах мацу. А здесь...

Здесь было бы рассказано о еврейских кварталах в Киеве времен Ярослава Мудрого и о еврейских купцах, торивших путь из Хазарин через Древнюю Русь в Западную Европу. И о враче-микробиологе Владимире Хавкине, который спас миллионы индийцев от чумы и холеры. И о лауреате Нобелевской премии Илье Мечникове. И о скульпторе Антокольском. И о разведчике полковнике Абеле, а также его коллеге Леопольде Треппере, "Большом шефе" легендарной "Красной капеллы". И об Исааке Левитане. И о Борисе Слуцком. И о Василии Гроссмане. И об Иосифе Бродском — почему бы нет?.. И о 16-й Литовской дивизии, в которой были подразделения, где команды отдавались на идиш, поскольку они, эти подразделения, состояли сплошь из евреев, которых в дивизии насчитывалось 2 970 человек. Половина дивизии полегла в сражении на Курской дуге... Можно было бы рассказать здесь и о братьях Рубинштейнах, из которых старший, Антон, признанный одним из величайших пианистов мира, автор оперы "Демон", в 1862 году основал в Петербурге первую русскую консерваторию, а четыре года спустя его брат Николай возглавил созданную им Московскую консерваторию. И если с помощью хорошо выполненных экспозиций раскрыть творческую историю театра Михоэлса, и рассказать, скажем, об Эмиле Гилельсе и Давиде Ойстрахе, о Майе Плисецкой и Аркадии Райкине, об Исааке Дунаевском и Леониде Утесове, о Михаиле Ромме и Александре Эфросе, и найти уголок для истории шахмат, а в нем — место, по крайней мере для Михаила Ботвинника и Михаила Таля, то, думается мне, с одной стороны, поубавилось бы евреев с комплексом "третьесортности", а с другой — поубавилось бы и (разумеется, среди не отравленных вконец ядом ненависти) антисемитов. Правда, тут же и возник бы вопрос: а Осип Мандельштам? А Борис Пастернак? А Самуил Маршак? А тот же Аркадий Райкин, к примеру, — это что же — еврейская культура? Да что тут еврейского? Русская, русская — с ног до головы!..

Что же, вопрос не так-то прост. Но, во-первых, само его наличие говорит о переплетении и со-творчестве культур, об их слиянии, о процессах, которые происходят в мире и, как видим, порою дают неплохие результаты... А во-вторых, если спор примет уж очень принципиальные и обидные для кого-либо формы, то что ж... Среди наших предков (да будет позволительно и нам ссылаться на своих предков) имеется царь Соломон, который,

согласно притче, судил двух женщин, претендующих на одного ребенка — и все помнят, чем закончился спор... Еврейскому народу, как той матери из библейской притчи, не впервой уступать другим своих сыновей и дочерей... Это как в старом анекдоте хрущевской поры: чья бы команда ни проиграла — выиграет дружба...

17

Ну ладно — музей — музеем, дружба — прекрасная вещь, но требует взаимности, как любовь — партнерства... Пока же, как говаривал мудрый Самуил-Шмелке из Никольсбурга, начнем-ка лучше с себя...

Однажды, а если быть точным, то два года назад, чудесным летним алма-атинским вечером сидели мы с моим давним другом, поэтом-москвичом, в отведенном ему гостиничном номере и беседовали о близящемся погроме. Дневная жара отступила, с оснеженных, розовых до закатного солнца гор тянуло прохладой, фонтан под окнами гостиницы шумом и плеском напоминал о бешеных, прорезающих ущелья потоках, о живом бархате зеленых альпийских лугов, о тянь-шанских, словно нежной изморозью покрытых елях. Словом, о жизни иной. Марк (звали его именно так, один из четырех евангелистов приходился ему тезкой) был растерян, хотя вообще-то я никогда не считал его человеком робкого десятка. В свое время он плавал на минном тральщике, вылавливал и подрывал оставленные войной гостинцы в наших северных водах, а шитую золотом форму капитана первого ранга лишь недавно повесил в домашний гардероб, чтобы надевать ее только в торжественных случаях, отправляясь на встречу с читателями... Так вот, он-то и был растерян, обескуражен: перед моим приходом он звонил домой и услышал от жены: ходят-бродят по Москве слухи, будто готовится погром... Говорят, в Малеевке что-то сожгли, кажется — синагогу. Да, вот еще: листовки бросают в почтовые ящики... Короче — ждут. И ей, Майе, с внуками на руках — дети куда-то уехали — тоже тревожно, так что лучше бы ему, Марку, поскорее вернуться...

Мы уже выпустили в пространство, наполненное горной прохладой и фонтанным плеском, изрядное количество соответственных военно-морских и сухопутно-гражданских выражений. У Марка все равно командировка кончалась, так что не в срочном его возвращении в Москву было дело. И не в погроме — мы оба в него не верили. Почему?.. Сам не знаю, да

вот не верили — и все. Майя с маленькими внуками, по ночам одна в квартире, подозрительные звуки за окнами, дыхание спящих детей... Это ее беспокойство, тревога в голосе, увещевания, которые по телефонному проводу Марк посылал ей с расстояния в три тысячи километров. Вот что, пожалуй, было главным... Но если разобраться, не о Майе, доброй и милой жене Марка, мы тогда думали. Как же так — через сорок пять лет после конца войны с фашизмом, через три с половиной десятка лет после "дела врачей" — снова разговоры, слухи о погромах? И где — в Москве?.. Нет, в голове это не укладывалось. Ни у Марка, в его поэтической, порядком поседевшей голове, ни в моей — вполне прозаической, но тоже изрядно поседевшей.

А почему, собственно, не укладывалось? А Сумгаит в ней — укладывается? А Карабах? А наши события в декабре восемьдесят шестого?.. А "Память" — она укладывается? А Кунаев, а Кожинов — укладываются? А — зачем далеко ходить — вся эта история, из-за которой я ушел из редакции — она укладывается?.. Многое, многое, оказалось, не укладывалось, не хотело укладываться в наших головах. И мы пили минералку (она еще имелась в свободной продаже) и пытались затолкать в свои головы весь этот страшный сумбур, эти вопросы без ответов, и — мало того — найти ответ... Найти ответ на вопрос: что в этой ситуации делать? Стенка на стенку?.. Так ведь это там — стенка, а у нас супротив нее — лбы, и только... Что же — заткнуть уши, закрыть глаза?.. Испытанный прием. Да и Бялика мы читали:

"...Ожгла их больно плеть —
Но с болью свыклися и сжилися с позором, —
Чресчур несчастные, чтоб их громить укором,
Чресчур погибшие, чтоб их еще жалеть..."

Что же делать? Как жить дальше?.. (Тогда еще невероятным казалось, что выход есть: взять и уехать...)

И Марк сказал (не только тогда, мне и теперь кажется, что его устами говорил по крайней мере — его тезка-евангелист):

— Хорошо, — сказал он, прихлебнув минералки и затягиваясь сигаретой. — Хорошо, — сказал он, как всегда, слегка грассируя, отчего его вполне семитская физиономия сразу приобрела оттенок непереносимого для любого антисемита аристократизма. — Давай посмотрим на некоторые вещи (он снова вспомнил молодость и минный тральщик...) вот с какой стороны. Мы принадлежим к народу древнему, поднабравшемуся в различных переделках мудрости, почему в конечном счете ему и удалось выжить. И вот он смотрит на другие народы, которые молоды и по сути только начинают жить, все у них впереди... Он

как на них смотрит? Ну, к примеру, как старик, попавший в уличную толчею: и тот его пнет, и этот заденет, один уязвит, другой оскорбит... А он все сносит. Не отвечает на толчок толчком, на оскорбление — оскорблением. И не потому, что слаб и стар, во всяком случае — не только потому... А потому, что — мудр и знает: все это молодость, да еще и недостаток приличного воспитания, это пройдет, взрослым всегда неловко и стыдно вспоминать многое из давнишних проделок...

— Значит смириться?..

— Можно сказать и так... А можно быть мудрым. К старости все мудреют. А мы — старый народ, старый... И на своем веку испытали такое, что не дай бог другим...

— Вот, — сказал Марк и пожевал губами. Маленький, сухонький, в тот миг он и в самом деле выглядел старым-престарым стариком. — Не согласен?..

Я потом часто возвращался к его словам.

Ведь и правда, — думалось мне, — эти ребята в редакции... Ну, да, не такие уж они младенцы-несмышленыши, но — что они знают, что знали в тот момент о еврействе, его истории, черте оседлости, погромах на Украине? Что знали из многого, что знал я? Как же мог я спорить с ними на равных? Они не ведали, что творили. Не знали... Так, может быть, мой долг заключался в том, чтобы они знали?.. ("Но разве я не принес Антонову с десяток книг, чтобы он знал? И что же -это помогло?.." — возражал я себе, но мысли, получив толчок, уже катились, мчались дальше). Они не зная, не ведая — причинили боль, сотворили зло, но разве ты сам свободен от подобного?..

Мне вспомнилось, как однажды мы прогуливались по улицам с человеком, которого я считал себе близким, которого много лет с редкостным удовольствием переводил. Кажется, мы и разговаривали в основном о предстоящем переводе: Мухтар М. дорожил каждым словом в своих вещах, и мне нравилось это, хотя порой и осложняло работу... Вдруг он спросил:

— Ну, и как тебе нравится наша "перестройка"?.. — И заглянул, приостановясь, мне в глаза своими внимательными, умными, сухо поблескивающими глазами...

Шла зима 1987 года, всего каких-нибудь два-три месяца назад на Новой Площади ("Площади Брежнева"), перед ЦК, происходило побоище, память о котором будет кровоточить годы и годы... Надо представить, как переживал все это Мухтар и на что надеялся, задавая свой вопрос!.. Но как я ответил?..

— Мне — нравится! — вот как я ответил Мухтару.

Я меньше всего думал при этом о Новой Площади, о крови, пролившейся там. Я целиком сосредоточен был на своей книге, на

романе "Лабиринт", пролежавшем у меня в столе два десятка лет и теперь получившем шанс выйти. Роман был связан с "делом врачей", перестройка вызволила его из темницы, в которой томился он с момента своего рождения в 1965 году...

В глазах у Мухтара вспыхнули враждебные огоньки. Вспыхнули и погасли. Мы продолжали говорить о переводе. Мухтар — человек восточной культуры, восточного такта, он умел себя держать. Только мгновенные искорки в его зрачках запомнились мне да туманная кисея, на миг задернувшая его лицо.

Но теперь, когда после того разговора минуло четыре года и я, с камнем на сердце, говорю: "Прости меня, Мухтар!.." простит ли он мне?.. Не знаю.

18

Так надо ли, есть ли у меня абсолютное право — винить другого — и в чем? Где граница между простой небрежностью, внутренней глухотой, тупостью, непониманием, отсутствием такта — и намеренным стремлением обидеть, оскорбить, унизить, спровоцировать на ответное ожесточение?.. Где граница, если так незаметно одно переходит в другое, и что за дело, каким намерением руководствуется наносящий удар? За ударом — боль! Только это, а в конце-то концов, и важно...

Такт... Не о нем ли говорил Марк, когда мы беседовали под плеск фонтанных струй о возможности еврейских погромов? Хотя смешно думать, что столь тонкие материи, как национальный такт, интересуют погромщиков... Но не о них речь! Мне кажется, всем нам его не хватает — и оттого множатся взаимные обиды, злоба, ненависть, ломающая судьбы, жизни... Такт... Что это такое? Врожденное чувство деликатности, осторожности, трезвый ли расчет: не толкай другого, не становись никому на ногу — рано или поздно сам нарвешься... Или такт — результат культуры, в том числе и такт в межнациональных отношениях?.. Такт и политика — можно ли провести границу между ними?..

Жена мне рассказывала, как ее дед — о нем, о дедушке Мотле, здесь уже говорилось — бывало, спорил со своим зятем, человеком горячим, прошедшим гражданскую войну с винтовкой в руках и твердившим с юношеским восторгом, что нужно, разумеется, "...до основанья, а затем..."

Так вот,

— Юзя, — говорил ему дедушка Мотл, для которого и гимназию, и Оксфорд, и философский факультет заменяла жизнь,

часть ее он проработал упаковщиком на железнодорожной станции города Черкассы, — ты хочешь знать, Юзя, на кого вы похожи?.. — Дедушка Мотл и в старости любил пригубить рюмку-другую водки и закусить шматочком-другим сала, тогда он делался особенно разговорчив. — Так я тебе скажу, на кого вы похожи. Вы похожи на того человека, который забрался в чужую квартиру и начал переставлять мебель, не спросив хозяина... Ты понял меня, Юзя?

...Или такт — это сама горькая мудрость жизни?

19

Я думаю, тут бы самое время поговорить о типе "полезного еврея", который дедушка Мотл презирал так же, как и тип "переставляльщика мебели". Поговорить о том *и* другом нужно бы еще и потому, что две тысячи лет евреи не имели своей национальной "квартиры" и потому то прислуживали, то переставляли мебель в квартире, которую принимали за свою, а точнее — и за свою тоже...

Но что я прибавлю к тому, что известно каждому и без меня?..

Тем более, что недавно я случайно обнаружил забытый листок с выписками из талмудического трактата "Авот", изданного кстати, в городе Санкт-Петербурге в 1903 году, то есть как раз в год кишиневского погрома... Велик соблазн привести хотя бы некоторые из них, способные заинтересовать не одних лишь евреев...

ТАЛМУД

АВОТ РАББИ НАФАНА В ОБЕИХ ВЕРСИЯХ С ПРИБАВЛЕНИЕМ ТРАКТАТА АВОТ.

КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД Н.ПЕРЕФЕРКОВИЧА. СПб. 1903

Не будьте как рабы, служащие господину с мыслью получить паек, но будьте как рабы, служащие господину без мысли получить паек, — и будет страх божий на вас.

***

Люби работу, ненавидь господство и не ищи известности у властей.

***

Если я не для себя, кто за меня? Если я только для себя, зачем я? Если не теперь, то когда же?

***

На трех вещах держится мир: на истине, на правосудии и на мире.

***

Не суди ближнего твоего, пока не будешь в его положении... И там, где нет людей, старайся быть человеком.

***

Умножающий имущество умножает заботу.

***

...Он сказал им: пойдите посмотрите, каков добрый путь, которого человека должен держаться? Реб Элизер говорит: щедрость. Реб Иисус говорит: добрый товарищ. Реб Иоси говорит: добрый сосед. Реб Симон говорит: доброе сердце. Он сказал им: мне кажутся слова Злазара сына Арахова правильнее ваших слов, ибо в его словах заключаются ваши слова.

***

Кто учен? Тот, кто учится у всякого. Кто силен? Тот, кто осилит свой иецер (дурные страсти), ибо сказано: "долготерпеливый лучше сильного, а владеющий собою лучше завоевателя города". Кто богат? Кто довольствуется своей долей. Кто в почете? Тот, кто почитает людей.

***

У кого добрых дел больше, нежели учености, у того ученость устойчива; у кого учености больше, нежели добрых дел, у того ученость неустойчива.

***

Кем довольны люди, тем доволен Бог, и кем люди недовольны, тем и Бог не доволен.

***

Будьте осторожны с властями, ибо они приближают человека только для собственной нужды: они принимают вид друзей, когда им это выгодно, но не заступаются за человека во время стеснения его.

***

Будьте осторожны в словах своих, ибо вы можете навлечь на себя изгнание и будете изгнаны в местность, имеющую дурную воду...

***

Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и не угодно будет это в очах его, и Он отвратит гнев свой.

20

В этом месте я должен перебить себя, вломиться, так сказать, в собственное повествование.

К тому времени, когда я закончил предшествующую главу, прошел ровно год после солнечного утра в Шереметьеве-2... Для меня этот год складывался из двух частей: из томительного ожидания вестей "оттуда" и писания этой книги. То и другое

незаметно слилось в одно, и это "одно" называлось: жизнь...

Главным событием в нашей с женой жизни было известие, сообщенное нам по международному телефону за пятнадцать минут до наступления Нового (т.е. 1990-го) года. Миша, наш зять, сказал, что нас не хотели заранее тревожить, но Сашеньке уже сделали операцию, длилась она десять часов и, несмотря на искусство хирурга и совершенство американской аппаратуры, проходила очень тяжело. Теперь опасность позади. Сейчас они оба рядом с Сашенькой, такие здесь порядки... Да, да, Мариша в госпитале, а он заехал домой кое-что захватить...

Надо ли говорить, что и для нас с женой, и для второй пары бабушек и дедушек это новогодие было счастливейшим в жизни?..

Дальше понадобилось немало времени, чтобы освоить новые, отдающие фантастикой понятия. США... Бостон... Еврейская община, полностью взявшая на себя расходы на операцию (порядка 40.000 долларов). О том, что для ребенка зарезервировано место в больнице (там называют: "госпиталь"), ребятам сообщили еще в Риме... И с первых же шагов по американской земле, то есть по дорожке аэропорта в Бостоне, где встречавшие держали в руках звездно-полосатые флажки ("Нас встречали с американским флангом!" — сказано было по телефону), — приветливость, доброжелательность, непоказная забота... И первые фотографии "оттуда", на них Сашенька в ярких, веселых одежках, лишь явственней оттеняющих бледненькое, худенькое личико... И вот — наконец-то, наконец!.. — его вполне жизнерадостный, тоненький, рвущийся от напряжения голосишко: "А я уже хожу в детский сад!" Господи, до чего же он родной, этот голосишко, до чего близкий — и до чего далекий!.. У нас в Алма-Ате двенадцать дня — у них в Бостоне одиннадцать вечера, там двенадцать вечера — здесь одиннадцать утра...

Все чудно, непривычно... Америка — и детсад... Община предлагает Сашке в будущем учиться в еврейской школе: помимо обычных предметов - Тора, история еврейского народа, иврит... Марина и Миша в скептическом недоумении: Тора и иврит для них примерно то же, что веды и санскрит... А для меня?.. "Да, да, — говорю я себе, — начни-ка с себя..." И дальше — дальше все вперемешку: письма от ребят — скандал в ЦДЛ ("Сегодня с плакатами — завтра с автоматами!") — машинка — издательская верстка моей книги "Раскрепощение" — звонки: "А нам говорили, что вы уже уехали..." — письма от ребят, Сашкины каракули — беженцы в Москве, в постпредствах, на вокзалах — в Прибалтике демонтирован памятник Ленину — осквернены еврейские могилы в Молдавии — у нас в республике усиливается напряженность: дает себя знать закон о государственном языке, одни требуют

передачи северных областей России, другие — преимуществ для коренного населения— машинка, машинка, машинка — письма, телефонные переговоры (много ли наговоришь, если минута — шесть рублей?..) — в Москве создан "Апрель" — и мы создаем свой, казахстанский, чтобы дать отпор переходящим в наступление сталинистам... А в прессе все яростней полемика, обнаженный антисемитизм "патриотов" — моя жена садится за статью против выступления Шафаревича в "Новом мире", мы оба стучим на машинках, она в своей комнате, я в своей — в магазинах пустеют полки, "визитки", талоны — из Алма-Аты растет поток уезжающих, в том числе и наших знакомых: родители едут, страшась за своих детей, не желая им жизни в постоянном унижении (в лучшем случае!), старики едут ради внуков, перерубая вросшие в эту жесткую, горькую, родную землю заскорузлые корни — "А вы что же?.." — "А мы— нет!.." — и нам не верят — в газетах, в журналах — выступления москвичей, уже в ответ на погромно-расистское "письмо семидесяти четырех" — Юрия Щекочихина, Павла Гутионтова, неизвестного мне прежде Вячеслава Карпова в "Октябре", отважной, талантливейшей Натальи Ивановой в "Огоньке" — публикация еврейских поэтов в переводах Брюсова, Бунина, Вячеслава Иванова, Федора Сологуба с предисловием Сергея Аверинцева: "Я-то еще застал в мои школьные годы последних могикан старой русской интеллигенции. У этих русских стариков с избытком хватало своих обид, но они были чувствительны и к чужим. Они были так воспитаны. И потому мне трудно поверить, будто здесь что-то нуждается в разъяснениях. Когда бьют евреев, русские поэты откладывают свои дела и садятся переводить еврея. Проще — не бывает"...

В Москве гремят баталии — а у нас выходит роман Володи Берденникова "Время детских вопросов" — о шестидесятых, "наших шестидесятых", с нашими "детскими вопросами", на которые и повзрослев не в силах ответить, например: почему в настрадавшейся от фашизма стране вызревает новый фашизм?.. Выходят книги Мориса Симашко, Галины Васильевны Черноголовиной, Виктора Мироглова, Руфи Тамариной, Павла Косенко — раздавили наш клуб ”Публицист", но мы существуем не в одиночку: почти все соклубники сорганизовались в "Апреле", руководит им Александр Лазаревич Жовтис... Но два события оттестняют для меня остальные: истерико-"патриотическая" массированная атака на "Октябрь" под флагом борьбы с "русофобией" — и сотни убитых, задушенных, утопленных, разрубленных на части, сожженных в кострах — в Оше, совсем недалеко от нас, в Киргизии...

В такое время единственной спасенье — работа, машинка, иногда выплеск в газетах, за это время их было три — о Пастернаке, о ситуации в республиканской литературной жизни и о том, что единственная гарантия демократии — демократия... Работа, работа — и еще сознание, что Сашенька спасен. Представить только: десятичасовая операция на открытом сердце (сердечке!..) — какие же рубцы исполосовали, должно быть, его маленькую, с хрупкими ребрышками, в сиреневых прожилках грудь... Но звенит, серебрится в телефонной трубке его голос — и нет в нем той проклятой, невыносимой, той нарастающей, булькающей, хрипящей одышки, слыша которую становилось стыдно жить, стыдно дышать...

Во второй половине лета мне предлагают путевки в Дом творчества — снова Юрмала, снова Дубулты, светлый песок, сквозная, темная зелень сосен, легкое синее небо, недвижимо висящие над морем багряные облака, до самой полуночи полные негаснущего жара... В начале августа мы вылетаем. Семнадцатое — годовщину нашей разлуки с детьми — мы будем встречать там...

21

В дорогу — перелет Алма-Ата — Рига длится девять часов — я захватил ворох газет, среди них — "Русский голос", издающийся в Нью-Йорке на русском языке. Мне принесли его перед самым вылетом. Естественно, все, связанное с Америкой, теперь и воспринималось мною по-особому.

Вот что я прочитал в этой газете (номер был относительно свежий — за 28 июня 1990 года).

На первой странице — "Российская хроника":

"Нам пишут из Москвы: 6 июня 1990 г. в Москве (Тушинский р-н, ДК "Октябрь") состоялся вечер, организованный Народным Православным Движением России: "Всех, кому надоело многократно выслушивать известные факты о бедственном положении России, о геноциде русских, кто хочет заняться реальными делами, Народное Православное Движение приглашает на монархический вечер "БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ, ГОД 1918-й". На вечере будет организовано распространение материалов Народного Православного Движения. Субъектам, исповедующим марксизм-ленинизм, демократизм, сионизм, плюрализм и прочим предателям нации и Отечества приходить не рекомендуется. Вечер состоится в ДК "Красный Октябрь" 6 июня 1990 года, начало вечера в 19 ч. 30 мин" (Из объявления).

На вечере присутствовало более 700 человек, были съемочные группы из зарубежных стран, много корреспондентов. Вечер открыл ведущий Александр Алексеевич Свешников, затем выступили: А.Кулаков, Смирнов-Осташвили, Р.Лобозова, дьякон А.Синяев... Лейтмотивом вечера был призыв прекратить выезд евреев из СССР, пока не будет установлена доля их причастности к геноциду русского народа.

В зале развевался черно-желто-белый флаг, на котором был изображен Георгий Победоносец, был установлен портрет убиенного императора и двуглавый орел. Вечер начался гимном "Боже, Царя храни". Милиция не вмешивалась, хотя повсюду можно было видеть милиционеров, вооруженных автоматами.

За порядком на вечере наблюдали молодые люди в черных рубашках с красной окантовкой и с черно-желто-белыми нарукавными повязками".

В следующей информации сообщалось, что 3 июня 1990 г. в селе Городок собралось "великое множество патриотов России", возложивших букеты цветов к памятнику Сергия Радонежского, и что при этом "никто не срывал стенд с вырезками статей из русских патриотических изданий, прикрепленных к ограде Преображенской церкви, на которой крупными буквами было написано: "А. ЯКОВЛЕВА - ИЗ ЦК КПСС В БНЕЙ-БРИТ".

Не знаю отчего, но читать все это было неловко, будто сам я и сочинил это, и напечатал. Неловко, стыдно... Сосед мой мирно подремывал с того времени, как самолет набрал высоту и привязные ремни расцепили свои металлические челюсти, жена, утомленная преддорожными сборами, борясь со сном, просматривала вполглаза какой-то простенький детектив... Кроме А.Яковлева в первой информации мне была известна единственная фамилия — Смирнова-Осташвили: этого типа, игравшего немалую роль в ЦДЛ-овском скандале, даже московские следователи не сумели выгородить, несколько дней назад над ним начался судебный процесс...[23]

См. примечание в конце книги.

Что же дальше?.. О, дальше, на третьей странице, куда как знакомое имя: Солоухин! "Как я стал монархистом". Интервью... Так: "Читая Ленина... Расстрел царской семьи... "Я считаю, что такую вещь русский народ вероятно никогда простить не сможет. Несмотря на христианство... Тем более, что они не каются..." Кто эти "они"? Впрочем, когда об этом говорит Солоухин — понятно, кого имеет он в виду... "Они призывают нас к покаянию..."

Кстати, о покаянии. Хорошо запомнилось мне, как года три-четыре назад (как летит время!) тот же Солоухин читал по телевидению стихи Пастернака. Мастерски читал, упоенно,

проникновенно... Потом выяснилось вдруг, что среди выступавших за исключение Пастернака из Союза писателей (история с Нобелевской премией) был и он, Солоухин... Ну, ладно: с одной стороны - молодость, с другой - служба в охране Кремля, гипнотическое, наподобие остаточной радиации, воздействие Сталина, которого не раз, должно быть, видел он перед собой, и "ел глазами", восторженно умилялся — всем, вплоть до мелких рябинок-оспинок на лице... Кто не умилялся, в те-то годы! Опять же — "начну с себя"... Но когда Солоухину об этом напомнили, и напомнили публично — смутился он? Устыдился? Раскаялся в давнем грехе?.. Да ничуть не бывало! Стал в ответ корить других!..

Итак, "они нас призывают к покаянию... Так покайтесь вы сначала!" — Тут уже что-то новенькое... Кто и в чем должен каяться? Вот кто: Юрий Трифонов (покойный!), Юлиан Семенов, Василий Аксенов, Булат Окуджава... В чем же?.. В том, что их родители участвовали в революции, совершали, по мнению Солоухина, преступные деяния: на совести матери Юрия Трифонова — "сотни, тысячи уничтоженных людей русских" и т.д. Итак, новый вид покаяния: за родительские грехи... Я уж не говорю, что грехи эти следовало сначала доказать... Да что там: "Вот Вася Аксенов встал бы и сказал: "Мне стыдно за отца моего, я приношу покаяние..." Ну вот Булат встал бы и сказал: "Да, мой отец был крупным советским деятелем, я прошу за него прощения..."

Этот, с рябинками, привычно лицемеря, в тон евангельским заповедям объявил: "Дети за родителей не отвечают!.." Далеко же вперед ушли его ученики!..

Дальше: "Белая гвардия не сумела спасти Россию, но честь России она спасла". Вопрос:. "Как вы оцениваете попытки Белой гвардии продолжить эту борьбу во второй мировой войне?" — ..."Они же боролись с большевиками, с советской властью. Нормальный шаг..." — Генерал Деникин, выходит, был куда патриотичней: заявив, что солидарен не с Германией, а с Россией, и призвал русскую эмиграцию оказать отечеству всемерную поддержку... Вспоминается и княжна Оболенская, сражавшаяся на стороне французских маки и зверски замученная гитлеровцами, вспоминается Кузьмина-Караваева — Мать Мария... Для Солоухина "нормален" другой шаг, другой путь — с ними ему не по пути...

С кем же еще ему по пути?.. "Отрицательно отношусь к отрицанию "Памяти". Они еще ничего не успели сделать (Интересно, что именно они "еще не успели сделать?.." — Ю.Г.), а их уже почему-то весь мир на всех перекрестках планеты клеймит

и клянет". Далее — все знакомое: "У нас в стране государственного антисемитизма нет и быть не мажет, потому что в одной Москве живет два с половиной миллиона евреев, а у нас в писательской организации их процентов 80 или больше... Какой антисемитизм может быть? Нету. Однако по мере того как раскрывается правда об Октябрьской революции, невольно у отдельных людей и широких масс начинает возникать вопрос. То есть даже не вопрос, а они видят, кто это сделал, и возникает отношение, некое, так сказать, отрицательное. Когда люди узнают, что в первом советском правительстве вообще практически не было русских[1], когда они узнают, что ГПУ, ЧК, все ЧОНовские войска были составлены из интернационала — будем мягко так выражаться — то к этому интернационалу начинает возникать определенное отношение в широких массах. Что с этим можно поделать?.."

[1] *См. примечание в конце книги.*

Вот именно, — думаю я, — что с этим можно поделать? Что? Если - "широкие массы"?.. — Девять часов — немалый срок... Я успеваю передохнуть прежде, чем продолжить чтение. Успеваю обглодать куриное крылышко, принесенное стюардессой, и выйти, подышать холодным, полынным, веющим из степи воздухом в Караганде, и потолкаться в переполненном, безалаберном уфимском аэропорту, и снова забраться в кресло, защелкнуть и расщелкнуть ременной замок, пробежать две-три другие газеты - и напоследок вытянуть из-под них "Русский голос"...

У Солоухинского интервью дочитываю самый кончик: "Ясно, что с его санкции (речь идет о Горбачеве - Ю.Г.) отдана Восточная Европа. Это сознательно было сделано"... Вот как: отдана. Отданы — Польша, ГДР, Чехословакия, Румыния, Венгрия. Отданы... То их - взяли, а то отдали... Солоухину и в голову не приходит, что полякам или чехам самим хочется решать, выбирать, определять свою судьбу. Нет: "с его санкции отдана Восточная Европа". Да еще и — "сознательно"! А кто ее "брал", "присоединял", "освобождал"?.. Понятно, кто и когда. Хотя, конечно же, по словам Солоухина, "Сталин был вампиром... Но вот революцию сделал интернационал (т.е. — ясно кто, см. выше — Ю. Г.). А Сталин, поняв, что никакой мировой революции не будет, что никаким другим странам она не нужна, решил отобрать революцию из рук интернационала и сделать ее внутри одной страны. И он уничтожил всех интернационалистов, которые делали революцию и составляли кадры ГПУ, ЧК, ЧОН и т.д. Сталин освободил от интернационалистов три основных института: ЦК, ЧК и армию. Но остались их дети. И они сейчас хотят во что бы то ни стало

вернуть себе позиции своих отцов, то есть власть. Вопрос: "Какими же путями они собираются этого достигнуть?" — Ответ: "Разными. Проникновением в Верховный Совет. Большинством на телевидении, захватом прессы, средств массовой информации, важных постов".

Забавно; по логике Солоухина, Сталин перебил "интернационал" — ну, самое малое, пятьдесят лет назад, и что же? Кто мешал стране в дальнейшем идти от победы к победе?.. Много вопросов — но нет ответов... Хотя — отчего же: вот на странице восьмой и ответ на главный российский вопрос: "Что же делать?.." Статья называется: "НАМ НУЖЕН НОВЫЙ ГИТЛЕР!" Вот ее основная мысль: "Нам нужен новый Гитлер, а не рыхлый Горбачев, который развалил империю за 5 лет пребывания у власти, тогда как Гитлер в Германии за тот же срок поднял страну из нищеты и анархии. Помощи ждать нам неоткуда, чудес тоже. Нужен срочный военный переворот... В Сибири у нас еще много неосвоенных мест, ожидающих своих энтузиастов, проваливших дело перестройки, таких, как Георгий Арбатов, Александр Яковлев... и всех тех, кто предает и продает интересы России"...

Все. Вот и ответ. Не слишком-то глубокомысленный, зато простой, враз укладывающийся в самой тупой башке. Финал рассуждений о судьбе России, муках истории, Сергии Радонежском, расстреле государя и его семьи, жидо-масонском заговоре и загубленной духовной культуре — Флоренском, Булгакове, Федотове — "Нам нужен новый Гитлер", — уже без игры в вопросительно-восклицательные знаки в заголовке. "Нам нужен... Нужен... Нужен... Нам... Нам... Нам нужен новый Гитлер..."

Эту газету, сказали мне, можно купить в Алма-Ате, в обычном киоске, за тридцать копеек.

22

— Хорошо, что здесь нет детей, — говорю я жене, которая тоже успевает прочесть газету. — Я бы не хотел, чтобы они, чтобы их глаза касались этих строк... Чтобы Сашка, научившись читать, прочел что-нибудь подобное... — Жена вздыхает, жена кивает мне в ответ. Но внезапно у меня мелькает мысль: да ведь "Русский голос"-то пришел к нам из Америки?.. Это наш Солоухин в их газете пишет для нас... Но — значит — и для них? Ведь не в пустоте же, не в вакууме существует там эта газета, выходящая с 1 февраля 1917 года, как значится на первой странице, под

заголовком?..

23

Уже в Дубултах мы получаем "Наш голос" - газету, издающуюся в Молдавии Обществом еврейской культуры. В двух номерах, присланных нам из Кишинева, — статья моей жены: "Бездорожье". Это не то чтобы полемика с Шафаревичем — скорее размышления о том, куда заведет страну предложенная им концепция, а кроме того — и о нещадно фальсифицируемой нашими "патриотами" отечественной истории... И тут же, в одном из номеров — такие стихи:

Сценарий ясен. Следом будем мы:
Нас некуда везти на вертолетах.
И ужаснутся "лучшие умы"
От зверства "настоящих" патриотов.
И танки будут срочно введены
На Невский, на Арбат и на Крещатик.
Опять обманут жителей страны,
Что будет суд суров и беспощаден.
И надписи на стенах "Бей жидов!"
Замажут краской, похоронят трупы,
Оденут изнасилованных вдов
В бесплатные солдатские тулупы.
И без ночных кошмаров будут спать
Куняев, и Белов, и Шафаревич,
И снова приютит казашка-мать
Девятой дочкой Сарру Янкелевич.
Так будет, будет! Это так старо:
Молчанье — повитуха преступленья.
Молчит Собчак. Молчит Политбюро.
В молчанье коренное населенье.
Молчите Вы, товарищ Горбачев.
А "Бей жидов!" - под Вашим кабинетом.
Когда история потребует отчет.
То наша кровь Вас призовет к ответу.

Автор стихотворения — Марк Райзман, лауреат Государственной премии СССР. Под стихами пометка: Томск, 1990 г.

24

Латвия. (Согласитесь, в самом этом слове, в его звучании заключено что-то ласковое: Ла-а-атви-и-ия-а...). Дубулты. Дом творчества писателей, который всегда встречает нас дружески. Вот и теперь — как старые знакомые, мы входим в вестибюль, где множество приветливых, улыбающихся лиц (только что закончился завтрак), кто-то кивает нам, кто-то жмет руку, администраторша без проволочек выдает ключ от нашего неизменного — на шестом этаже — номера и заботливо советует заглянуть в столовую: "Что же, что опоздали, чем-нибудь да покормят..." Самый воздух здесь кажется особенным — столько в нем тепла, участия, доброты.

К тому же август нынче выдался редкостный для этих мест — почти без дождей. Стоит ясная, солнечная погода; утро так и сыплет искрами с хвойных иголок: море пустынно, светлая синева его затягивает, влечет куда-то в запредельность... И бесконечная полоса песчаного берега, по одну сторону — темная, сочная зелень ухоженных парков, по другую — лениво набегающие низкие волны, островки косматых, коричневых водорослей... И закаты, закаты... Комариные, коварные, с расчесами на зудящей коже... С недвижимым воздухом, прошитым пронзительным писком невидимых мучителей... И до самой полуночи — гигантские, в полнеба, полыхающие багряных золотом костры, от которых нет сил оторваться...

Перед поездкой я поклялся жене, что на сей раз не стану работать. А если и стану, то чуть-чуть... И вот — мы много гуляем, бродим по Старой Риге, любуемся словно помолодевшим, поюневшим Памятником Свободе, не избегаем ни встреч с давними друзьями, ни новых знакомств. Главное — успокоиться, расслабить нервы... С этой целью мы отправляемся на денек в Вильнюс, который оба любим. Пятнадцать лет назад я работал над романом "Ночь предопределений", его героем был Зигмунт Сераковский - один из предводителей восстания 1863 года, охватившего Польшу и Литву. Жизнь Сераковского была связана с Литвой, Петербургом — и Мангышлаком, где он, подобно Тарасу Шевченко, отбывал солдатчину, с лихвой заменявшую тюрьму или ссылку.

25

Вильнюс, куда поезд привез нас ранним утром, был так же прекрасен, как и в те времена, когда мы бродили по нему, хмельные от дыхания слегка припахивающей тлением старины, от блуждания по кривым, таинственно изогнутым улочкам, от

аромата лилий в соборе святой Анны, от вида несокрушимой, крутой, вросшей в землю башни Гедиминаса и вознесенного высоко над городом Замка, — но еще, и оттого, что ведь именно здесь, мимо этих соборов и башен ходил Сераковский, и так легко было представить его нашим спутником или, наоборот, сопровождать Зигмунта по забитым народом воскресным улицам до самого эшафота...

С нами была наша дочка, наша Мариша — четырнадцать лет, черные, с каштановым отливом, волосы, серые глаза, веселые ямочки, порхающие по яблочно-круглым щекам и нежному подбородку... После архива, где я просиживал дни, а мог бы — и ночи, мы ходили... Нет, не ходили — *путешествовали* по Вильнюсу, именно так — любая наша прогулка выглядела увлекательным *путешествием*— с неожиданными приключениями, открытиями, с непременными посещениями кафе, где вымуштрованные официанты, подавая какое-нибудь завораживающее взор пирожное, сгибались непринужденной профессиональной дугой и называли Маришу "пани", отчего детская шейка ее пунцовела и глаза растерянно перебегали — с пирожного на мать, с матери на меня... Потом, когда официант отходил, она сдержанно прыскала, а порой, не в силах сдержаться, закатывалась — и хохотала до неприличия громко, но те, кто вокруг, будь то несколько чопорные литовцы или люди случайные, вроде нас, все ей прощали — за щечки, за ямочки, за беспечно-счастливые, на все кафе звеневшие колокольчики ее смеха...

И вот — она в Америке, а мы бродим по *Вильнюсу — нашему* Вильнюсу, *тому самому* Вильнюсу... Мы отыскали даже столовую на углу, напротив Старого рынка, поблизости от гостиницы Тинтарис", где когда-то жили, — в этой столовой задешево можно было съесть щедрую порцию "цепелинов" — блюдо из мяса и картошки, запить чаем с булочкой... Правда, теперь "цепелинов" в меню не значилось, но столовая, маленькая, с нарочито грубо сколоченными столиками, за которыми едят стоя, кормила по-прежнему сытно, руки буфетчиц расторопно и щедро нагружали тарелки, в углу громоздились чисто вымытые, насухо протертые подносы...

Но Вильнюс, разумеется, был не тот. Соборы, башня Гедиминаса, уютные университетские дворики... Все это мы обошли, постояли в любимом нашем соборе святой Анны, где Христос (если окажитесь там — присмотритесь!) так и плывет, так и парит под куполом, невесомым, не плоть и не камень, а если такое чудо может случиться, может существовать на земле нашей, где столько страданий, горестей, кровавых слез, то -

значит, возможны и другие, самые невероятные чудеса, и среди них — надежда, ведь так?.. Она ведь — надежда — не плоть и не камень, и может плыть, парить в вышине, когда здесь, между нами, ей нет уже места..

На досчатых щитах, ограждающих реставрируемые здания, на заборах мы видели крупно, кистью выведенные суриком надписи: "Ред ами - гоу хоум!", "Рашен оккупанты - гоу хоум!". Однажды рядом с этими словами нам попались на глаза две молниеобразные стрелы (знак войск СС) и слово "юде": местные полиглоты почему-то предпочли тут немецкий. В Еврейском культурном центре, куда мы заехали познакомиться с Григорием Кановичем (он любезно откликнулся на нашу просьбу), в небольшом холле, среди различных объявлений, рекламных плакатов, извещений висело отпечатанное на машинке

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ГЕНОЦИДЕ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В ЛИТВЕ В ГОДЫ ГИТЛЕРОВСКОЙ ОККУПАЦИИ

Верховный Совет Литовской Республики от имени литовского народа заявляет, что он безоговорочно осуждает проводившийся в годы гитлеровской оккупации в Литве геноцид еврейского народа и с горечью отмечает, что среди палачей, служивших оккупантам, были и граждане Литвы. Нет и не может быть никакого оправдания преступлениям, совершенным против еврейского народа в Лчтве и за ее пределами, а также сроков давности для их уголовного преследования. Верховный Совет Литовской Республики предлагает всем органам государственной власти и управления, общественным организациям и гражданам создавать для евреев Литвы, как и для других национальных сообществ, самые благоприятные условия для восстановления и развития культуры, образования, науки и других институтов. Прави тельство Литвы позаботится об увековечении памяти жертв геноцида еврейского народа. Литовская республика будет проявлять нетерпимость к любым проявлениям антисемитизма.

Председатель Верховного Совета Литовской Республики — Ландсбергис 8 мая 1990 т.

Я переписал текст "Заявления" в блокнот. А в разговоре с Кановичем услышал:

— Причины еврейской эмиграции?.. Их много. В Литве и Верховный Совет, и правительство делают, что могут... Но сейчас в Вильнюсе девять тысяч евреев, из них три тысячи уедут в этом году.

Хмурое с утра небо то голубело, то затягивалось тучами, то брызгало дождем, то расцветало радугой. За те часы, которые оставались у нас до поезда на Ригу, мы увидели, прогуливаясь по

улицам, несколько памятников, обезображенных потеками краски (говорят, ее заливают в бутылки, как заливали когда-то противотанковую горючую смесь); и побывали на мессе в Кафедральном соборе; и даже подписали, поддавшись просьбам, какую-то экологическую петицию... По пути к вокзалу нам повстречалась небольшая демонстрация, главным образом из детей и женщин, с транспарантом: на красном поле — черные силуэты танков; близилась годовщина присоединения Прибалтики к СССР... И как нарочно (хотя вполне может быть, что и нарочно...) минут через пять за нашими спинами послышался гулкий, мечущийся между каменных стен грохот: по центральному проспекту Гедиминаса — еще недавно — Ленина — промчалось несколько танков, точнее — легких танкеток, но шума и громыхания от них было достаточно...

— Правильно! — произнес в пространстве стоящий рядом с нами толстый, неопрятного вида человек в расстегнутой до пупа рубашке. — А то делают, что хотят... Надо проучить! Надо!.. — Дышал он прерывисто, горячо, и от него так пахло пивом, что, казалось, пивом потело все его громоздкое тело.

...Последнее, что мне запомнилось в Вильнюсе, — это группы людей, собирающихся в предвечерних сумерках — у памятника Ленину — то ли дружинники, то ли милиция — на ночное дежурство. И в том же сквере, в каких-нибудь ста метрах от гранитного монумента — плита, положенная на месте, где казнили Зигмунта Сераковского.

...В утро казни торговая площадь от края до края была полна народа, который понятно же, безмолвствовал. Зато трещали барабаны, палач в последний раз подергал, проверил на крепость веревку... Лейб-гвардейцы, окружавшие эшафот, взяли на плечо. В десять минут все было кончено. Генерал Муравьев, кумир тогдашних патриотов, оберегая целостность Российской империи, обходился без танков.

26

И снова — Рига, Юрмала, певучие имена — Майори, Дзинтари, Булдури... Сосновым, пронизанным солнцем парком, кое-где поросшим кустами малины, мы бредем в сторону Булдури. Здесь почти безлюдно. И — поблизости от шоссе — полная иллюзия тишины и покоя. Маленькое кафе — "Кафейница" — притаилась в лесу, поджидая нас где-то на половине дороги. После высокого синего неба, после золотисторозовых стволов сосен, по которых словно пульсирует живая горячая кровь, после

колючих кустов малины, дразнящих укрытыми в зеленой листве пурпурными ягодками, отчего-то приятно окунуться в темное, пещерное чрево "кафейницы"... Впрочем, здесь не так уж темно, сквозь прозрачную дымку занавесок пробивается достаточно света, чтобы увидеть, как лоснится, отливает серебром черный лак, покрывающий массивную деревянную стойку и грубо сколоченные столики, окруженные взамен стульев и табуреток толстыми пнями, которые будто бы только что спилили и прикатили из лесу... Чашечка кофе (впрочем, оно теперь здесь бывает не всегда) с булочкой, источающей аромат ванили и корицы, разноцветные фонарики под черными балками потолка, — все это, как и парк, расположенный вокруг, создает иллюзию тишины, отрешенности, отсюда не хочется уходить...

Мы возвращаемся по берегу моря. На пляже нет обычной для юга толчеи, месива красных, обгоревших на солнце тел, из-за чего пляж походит на мангал шашлычника, где расположились шампуры с ломтиками фыркающей, стреляющей жиром баранины... Места хватает всем — и счастливым семействам с косолапо ступающими малышами (когда-то я думал, что Сашка потопчется босыми ножками по этому песочку), и королевам красоты, съехавшимся со всех концов Союза и простодушно уверенным, что чем меньше скрытых от глаз участков тела, тем больше соблазна; и любителям покидать мяч; и старичкам в белых панамах, — стоя, чтобы не застудить простату и не пробудить геморрой, часами смотрят они водянисто-голубыми глазами в молочно-голубое море, в пустынную, без единого корабля даль залива, смотрят — будто чего-то ждут...

Мы возвращаемся, порядком уставшие, умиротворенные. По крайней мере — внешне. Поскольку нет-нет да и явится, откуда не возьмись, посреди эдакого блаженства, мерцающих на солнце красок, тугих ударов мяча и беспечных голосов, — явится вдруг черный-пречерный ворон и выкаркнет на весь пляж свое "Невермор-р-р!.." Кто его видит, кто слышит, кроме нас с женой?.. Вот деревянная лесенка, ведущая наверх, к Дому творчества, — поблизости от нее, справа. Маринка, бывало, загорала на песке... Играла в камушки... Мы поднимаемся по низким ступенькам, оглядываемся еще раз на берег — и вспоминаем, что купаться Маринка любила здесь, напротив лесенки — тут глубже мелкое дно, ближе раздевалка...

"Невермор-р!.." — ворон щелкает металическим клювом. "Невермор-р!.."

...Между тем жизнь у ребят понемногу налаживается... Мише пришло приглашение из Остина, штат Техас: там университет на пятьдесят тысяч студентов и в нем — лаборатория, которой

руководит Вард, крупнейшая величина в науке, в области электрохимии... Сюда, в Дубулты, почта принесла письмо уже из Техаса. Нет, золотые яблоки в Америке не падают с неба, но Миша начал работать, уходит рано, возвращается в половине восьмого, все новое, непривычное — оборудование, взаимоотношения, люди, язык, но он доволен. И Марина чувствует себя вполне уверенно, И Сашка прислал письмо — просит книг "про пиратов и как построился мир..." Так откуда, с чего бы — ворон?.. Я объясняю жене, что все к лучшему, а как же? Сашеньке сделали операцию — разве это не главное? И вот — Миша начал работать... В Америке у него уже напечатано несколько специальных статей, ему предложена работа в престижной лаборатории, у него превосходная голова... И ему не придется постоянно иметь в виду свой "пятый пункт" и уступать дорогу тем, у кого этот "пункт" благонадежней, и зависеть от десятка других причин, каждая из которых перевесит любые знания, любой талант... И Мариша со временем сдаст свои медицинские экзамены, подтвердит врачебный диплом... Так или нет?.. Я очень, на удивление убедителен, хотя иногда, глядя на согласно кивающую жену, чувствую себя Панглосом; да, все к лучшему и только к лучшему в этом лучшем из миров...

В доме творчества много симпатичных нам, все с полуслова понимающих людей. Будь то известный поэт, чьи строки, натянутые, как тетива, звенят во мне, начиная с шестидесятых годов, или автор только что изданной книги о Михоэлсе, собиравший материалы для нее всю жизнь, или прежде знакомая нам только по статьям в "левой" периодике критик, неустрашимостью и какой-то внутренней озаренностью напоминающая Жанну д'Арк, но не французскую, а русскую, с отчаянными, дерзкими глазами и задорно вздернутым носом, — Жанну д'Арк времен перестройки... С нами за столом сидят молодые киевляне, к нам приезжают повидаться наши друзья из Йошкар-Олы, отдыхающие на взморье, мы встречаемся со знакомыми рижанами (среди них — мой товарищ по детским играм, ныне моряк, четверть века бороздящий моря и океаны на своем танкере-газовозе; и молодой ученый-биолог; и писательница, за принадлежность к коммунистической партии сидевшая при Ульманисе в тюрьме, потом всю войну оттрубившая в дивизионной газете, а недавно, после мучительных раздумий, подавшая заявление о выходе из *нынешней* компартии...). Вначале каждый говорит о своем, но спустя пять минут возникает и продолжается один и тот же бесконечный, будоражащий всех, перетекающий из компании в компанию, из газеты в газету, из журнала в журнал разговор — об Ираке и Кувейте, о пустых

магазинных полках, о свободном рынке, о Ельцине, и Горбачеве, о партократах и мафии, о суверенитете и Союзе, о надвигающемся хаосе, об альтернативе гражданской войне — "сильной руке"... Мы больше слушаем, чем говорим, нам хочется, после нашей провинции, нашего "прекрасного (?) далека" услышать что-нибудь обнадеживающее, мы все еще надеемся на некие мудрые прозрения, светлые горизонты... Единственный вопрос, который задаю я всем подряд: почему демократы там, в Москве, в Ленинграде, не объединяются для противостояния фашизму? Ведь основное сейчас именно это: фашизм или демократия? Но если фашисты выступают сплоченным блоком, то демократы погрязли в дискуссиях, в амбициях, в спорах между собой... Почему же?.. Но никто не отвечает на мой вопрос. И от каждой встречи, от каждого разговора становится мрачнее на душе. Единственная отрада — что ты не один, вся страна — рядом, ты слышишь ее дыхание - тяжелое, прерывистое, больное — как у Сашки... Да, да, мальчик наш — спасен, но только сколько их, таких малышей, нуждающихся в помощи? Сколько их — обреченных, полуобреченных?.. А вся страна, больная, изнемогающая — ее надо лечить, лечить... Вот эта общая, соединяющая всех боль — не в ней ли залог исцеления и — после долгой ночи — рассвета?..

27

И вдруг — в ежедневном, как завтрак, ворохе газет — снова:

"...Термин знаете — "расказачивание"?.. Директива исходила от Свердлова... Троцкий говорил, что казак — животное... Кубани больше всего досталось от Кагановича..."

Это писатель Гарий Немченко, только что избранный атаманом Московского казачьего землячества. Корреспондент, взявший у него интервью после завершения учредительного съезда Большого казачьего круга, рассказывает: "В ДК завода "Серп и молот" я пробирался бочком, а все ж и меня, и корреспондента "Родины" пару раз окликали бритоголовые мрачные люди: откуда, мол, братки? "Памятка русскому человеку"... Лобовая книжонка, для русского человека весьма оскорбительная — авторы его за кретина держат... Воинская атрибутика большинства участников. Боевые газыри, казачье форма, а главное — и наша, теперешняя. Преобладание военных. А рядом — продажа листка с цитатой из Военной энциклопедии 1912 года издания: статья "ЕВРЕИ". Суть в том, что евреи уклоняются от военной службы, сдаются в плен к неприятелю,

физически мало годны к защите Отечества... Не глядя на солидные цены, продукцию эту охотно покупали участники круга".

Это — "Собеседник", № 32, за август 1990 г.

Или:

"Многих интересует процентное соотношение лиц еврейской национальности в правительстве Советской России..." Автор "Молодой гвардии" приводит целую таблицу — кто, где, когда... Помимо того, что таблица от начала до конца лжива, она и взята прямиком из геббельсовского издания антисемитской книжки Генри Форда, от которой тот отрекся еще в 1927 году и тогда же запретил любые перепечатки..."

Об этом рассказано в "Известиях" за 11 августа 1990 г.

И еще:

"Телезритель задал Владимиру Александровичу Крючкову, председателю КГБ, вопрос об отношении возглавляемой им организации к деятельности общества "Память". И член Президентского совета объяснил, что, оказывается, "Память" бывает разная, в том числе и очень полезная, подлинно патриотическая, и вот ее-то деятельность он весьма приветствует... Так вот, мой вопрос будет очень простым. Нельзя ли наконец рассекретить это самое прогрессивное крыло общества "Память"? Кто эти замечательные люди? Где следы их патриотической деятельности, столь высоко оцененной председателем комитета?.."

Это — П. Гутионтов, "Известия" за 12 августа 1990 г.

А вот и "Литературка" — в одном из августовских же номеров "страничка из романа", публикуемого в журнале "Москва". Здесь рассказывается о встрече Сталина с Кагановичем — "человеком, поднявшемся с самых низов, из самой грязи жизни, умело и ловко направляющем действия и самого Сталина, избранного тайными мировыми силами для окончательного разрушения России и расчистки места под иное, всемирное и вечное строительство", и т.д. Газета печатает "страничку из романа" под иронической рубрикой "Добровольное признание", а самого автора мы видим по меньшей мере трижды в день, когда приходим в столовую...

28

И вдруг в голову мне приходит простая, до изумления простая и даже как бы сама собой разумеющаяся мысль:

А ну их всех к черту! Ко всем чертям!..

Что я — преступник, чтобы вся жизнь торчать на скамье

подсудимых и день за днем слушать обвинительное заключение? И ждать, что скажут по ходу процесса обвинители, адвокаты, свидетели, что решат граждане судьи? Допустим, к примеру, что Свердлов и Троцкий, именно и только они, замыслили уничтожить казачество, — а я тут причем, или моя дочь, мой внук, — мы почему должны играть роль подсудимых? Но я говорю — "допустим", а ведь тут вопросов куда больше, чем ответов. Конечно, нет и не может быть прощения тем, кто добивался, как часто пишут теперь, "поголовного истребления казачества"... Но разве гражданская война была войной народов, а не внутринациональной трагедией? А если так, то как объяснить, почему проблема "расказачивания" преподносится исключительно с национальных позиций? И если одна часть казачества приняла революцию (Первая конная Буденного, Вторая конная Городовикова), то разве другая часть не вступила с нею в ожесточенную борьбу? И не на Дон бежал генерал Краснов, не на Дону формировался Добровольческий корпус Деникина?.. И правильно ли, выдергивая цитаты из директивы и инструкций, игнорировать при этом сами события, живую действительность гражданской войны?.. И дальше: в самом ли деле речь шла о "поголовном истреблении"?.. Таковы ли были инструкции?.. И кто исполнял их на местах — все те же "национальные кадры"? Откуда их, этих "кадров" столько поднабралось и как могли они, "мало годные" и т.д., см. выше, сладить со славным донским казачьим воинством?.. Наконец, какова оценка тех давних событий нынешним партийным руководством, которое только и знает, что "наследовать" и "последовательно развивать" революционные традиции? Осуждает ли оно гражданскую войну, пролившую реки, моря крови, в результате чего, как ни крути, власть оказалась и пребывает по сию пору в его руках? Или считает жестокости гражданской войны (а мягких, милосердных войн не бывает) неизбежными — и потому оправдывает их, т.е. оправдывает и тех, кто стоял тогда во главе революции?..

Но кого интересуют эти вопросы? Кого?..

А заодно: откуда в ЧК могли взяться жидо-масоны?.. Или: как удалось им, жидо-масонам, споить Святую Русь, если еще на ее заре Владимир Красное-Солнышко возгласил: " На Руси веселие есть пити", — впрочем, уж не по наущению ли "тайных мировых сил"?..

И т.д., и т.п.

Но — хватит!

К чертям собачьим! Не хочу больше ни читать, ни слушать, ни вникать в этот бред, ни — тем более — оправдываться! Ни доказывать бандитам, что существует на свете такое понятие —

"презумпция невиновности"!..

На-до-е-ло!..

Вот почему ехали и едут — в Израиль, в Штаты, в ФРГ, в Австралию — по всему свету! Потому что — во-первых, во-вторых, в-десятых, в двадцать пятых — надоело!

"Еврей", "жид", "абрам" — ладно, с этим росли. "Пятый пункт" при поступлении в институт, на работу, при назначении на ответственную должность, при выдвижении в депутаты; запрет — на дипломатическую работу, на армейские звания, на включение в любую номенклатуру — научную, партийную, административную (и бог с ней!..) — к этому привыкли. Но затеи перестроечных лет — вколоченный посреди страны позорный столб и привязанное к нему еврейство с биркой на груди, на которой, под извлечениями из "Протоколов сионских мудрецов", стоят размашистые автографы виднейших наших черносотенных патриотов, и около — мечтательная фигура милиционера, поглощенного разглядыванием галочьих гнезд на растущем поблизости вязе... Это уж чересчур!...

Все уезжают — и тебе одна дорожка: уехать. Не потому, что *там* лучше, а потому, что здесь больше *нельзя*!

Здесь выбор один: или позорный столб или отъезд... Впрочем, *выбор* ли это?

29

Наступает семнадцатое августа... Но ни жена мне, ни я ей ничего не говорим в этот день... Молча мы его встречаем, молча провожаем — и говорим обо всем, только не о том, чем стал этот день в нашей жизни...

С моря задул сильный ветер. Шумят сосны. Кроны у них вровень с нашим шестым этажом. Густой, наплывающий волнами шум заполняет пространство, врывается в комнату, гудят барабанные перепонки, гудит, вибрирует все тело, и кажется — ты всего навсего малый сгусток несмолкающего, грозного шума, из которого состоит вселенная. И море из молочноголубого, сизо-свинцового сделалось черным, в белых, то вспыхивающих, то гаснущих гребешках пены... Оно бьет в берег — тяжело, методично, сверху, из-за деревьев, не видно ни берега, ни волн, а звуки такие, будто кто-то ударяет в землю, как в стену, тараном...

Прошел год. У нас утро, а там — вечер... Там полдень — у нас ночь... Прошел год. Прошла целая жизнь.

30

Потом наступил день. Сияющий. Ослепительный. После смятения, тоски, охвативших природу, море, поголубев, снова что-то лопочет, вылизывая изрядно потрепанный бурей берег множеством коротких, серебряных от солнца язычков, каждая травинка под ногой пружинит и распрямляется тебе вослед — зеленая, свежая, полная жизни... После завтрака в светлом, солнечном вестибюле собираются "демократы" и "патриоты", "радикалы" и "либералы", позабыв о зажатых в руках газетах, о яростной полемике и взаимных обличениях, и говорят — о погоде, о температуре воды в море, о своих детях, а больше — о внуках: у кого-то внук простудился — и вот находятся прихваченные на всякий случай в Москве горчичники, а у кого-то заболел у внучки животик — и совет сменяется советом: один рекомендует марганцовку, другие хвалят зверобой, третьи — самые решительные — уповают на антибиотики, и вдруг оказывается, что за исключением не столь уж многих, сторонящихся подобных компаний, все это — пожилые, страдающие разнообразными болезнями люди, соседи по дому, по квартирам, те — любители собак, эти — любители выпить, но почти все недовольные собственными детьми и почти все, недавно вернувшись из одной загранпоездки, по возвращении домой отправляются в следующую...

Все это и мило, и приятно, и свидетельствует о новом мышлении, общечеловеческих ценностях, которые сближают людей независимо от... и т.д. и т.п., но порою мне начинает казаться, что даль искажает, что два враждебных стана, две рати, за которыми мы следим из своих провинций, с трудом унимая стукотню сердец, на деле похожи на две футбольные команды: они выходят на поле для игры, они и кипят, и азартятся, и при случае ломают друг другу ноги, а то и головы, но на то игра, потому и приходят люди на стадионы, потому и платят за билеты в кассах и у перекупщиков... А игра кончается — и команды следуют в раздевалку, в душ, хлопают друг друга по плечу, одолжаются мочалкой или куском мыла, потом сидят за столиками в буфете, попивают пивцо... И все довольны: игроки, получившие свою долю со сборов, и фанаты, еще долго вспоминающие об игре...

Игра...

(В последний раз, когда мы разговаривали по телефону, я спросил у Сашки, водятся ли в Америке пираты...

— Полно-о! — радостно закричал Сашка.

Чего-чего, но этого я не ожидал:

— Неужели?..

— Да-а! — кричал Сашка. — Я сейчас читаю книжку про

пиратов, там их мно-о-го!..

Разговор был коротким, я не успел спросить, как ему нравится детский сад, новые товарищи, воспитательница-негритянка, на которую вначале Сашуля взирал с удивлением: в Алма-Ате среди его знакомых негров не было... Мариша сказала — можно прислать "Остров сокровищ", "Робинзона", Сашенька быстро взрослеет... Сашенька наш, наш малыш Сашуля — и Стивенсон, Дефо?.. Не верится...)

На прощанье, уезжая из Дубултов, я сказал своей новой московской знакомой, что многое, многое напоминает мне игру... Возможно, и на этот раз говорит моя иудейская нетерпимость, — полуизвиняясь, добавил я.

— Ну, тогда во мне говорит моя русская нетерпимость: я отношусь к этому точно так же!.. — Она задорно тряхнула головой. Мы рассмеялись — не очень чтобы весело... Но недаром же было в ней нечто от Жанны д'Арк! — "А я тут написала одну статью, — сказала она, снизив голос и озорно поглядывая то на меня, то на жену, — скоро прочитаете..."

На другой день ей тоже было уезжать, а еще через день — идти по судебной повестке на процесс Смирнова-Осташвили, где она выступала свидетелем...

31

...И я думал:

— Хорошо... Выправлены документы, сложены чемоданы, позади осталась таможня... Все о'кей. Что дальше? Дальше — язык. Вернее, отказ от языка. Что это значит?..

А это все равно, что отпилить себе ногу и заменить ее протезом. К тому же протезом, который при каждом шаге будет растирать культю... В моем возрасте можно выучить чужой язык в той мере, в какой он потребен для разговора в магазине или на улице — простите, как пройти к стоянке такси?... Но поскольку язык, и не какой-либо, а именно русский — мой инструмент, рабочий станок, средство существования — и в самом грубом, наиматериальнейшем смысле, то я должен сразу всего этого лишиться. Никакой другой язык, даже освоенный в качестве протеза, мне его не заменит. Ведь язык - не просто "средство общения", иначе довольно было бы и двух десятков слов, нужных для составления телеграмм или современных телефонных разговоров ("Как ты? — Ничего. А ты? — Тоже ничего"). Но для меня-то язык еще и нечто совсем другое. Когда-то моя мать в минуты, когда отступала болезнь, пела ясным, чистым, грудным

голосом: "Между небом *и* землей жаворонок вьется..." — и с тех пор в четырех этих словах — "небо", "земля", "жаворонок", "вьется" — соединилось: утро, бьющий из окна солнечный столб с золотыми искорками-пылинками, бледное мамино лицо — и радость при звуках ее голоса: выздоравливает! Может, еще и совсем выздоровеет?.. — детская надежда, которой не суждено было сбыться. Или — "Волга", "утес", "вершина" - другой голос, но тоже сильный, красивый, грудной — *и* тоже родной: моей бабушки, такой же певуньи, певшей, казалось, для меня одного... И разбойные, грязные, святые солдатские матерки, от которых легчало на марше. И опаскуженный, пахнущий кровью язык начала пятидесятых: "Бдительность, бдительность и еще раз бдительность!" И Наум Коржавин: "Очень люблю это слово — "печаль"... Самое любимое слово в русском языке". — Выговаривая его, он прячет глаза, насупливается, сопит, будто, превозмогая мальчишечью застенчивость, делает первое признание... "Печаль..." Слово, похожее на переливчатый звук свирели...

Все это - мой язык. Мое ни у кого не отнятое богатство. Моя жизнь. И этого лишиться, стать нищим, ковыляющим на протезе с протянутой рукой?.. Протез, протез... До магазина и обратно... Кому я нужен там со своим языком? Писать на нем — для кого? Беречь его, как вывезенный из России самовар, чтобы по праздникам потчевать страдающих ностальгией соотечественников?..

Да и — о чем писать? *Там*? Все, о чем писал я до сих пор, — это жизнь, которой мы все здесь жили. Худо ли, хорошо ли — но писал-то я об этом. Не очень хорошо, должно быть, поскольку громкого имени не добился и в свои наступающие шестьдесят уже не добьюсь, тут речь лишь о том, кто как распорядился талантом, отпущенным при рождении господом богом — вот и я: старался употребить его для разгибания согнутых спин, для распрямления смятых, скомканных душ, руководствуясь теми словами, которые вынес в заглавие своего первого романа: "Кто, если не ты, и когда, если не теперь?.." И этот роман, и второй - "Лабиринт" — о сталинщине, а точнее — о сопротивлении ей, а в ее лице — фашизму, а в его лице — смерти. О том же роман "Ночь предопределений": медленном, постепенном умерщвлении в отравленной атмосфере застоя... О тех, кто сдавался, чтобы выжить, и — умирал, и о тех, кто готов был умереть, чтобы не сдаться, и — выживал... По сути, о том же написана "Лгунья" — сатира на систему, воздвигнутую из такого жаростойкого, морозоустойчивого материала, каковым является ложь, и повесть "Приговор" — о том, как эта система взращивает фашизм, и книга "Раскрепощение": о славной нашей Перестройке, о воспаривших в

небеса надеждах, о людях, которые верили в нее, были ее вестниками — и не дожили до ее взлета и до — быть может — краха... Кому интересно это там? Ведь писал я для тех, с кем жил единой жизнью, писал как соучастник похода, в котором каждый понимает другого с полуслова... Он будет продолжаться дальше, без меня... И вряд ли закончится победой.

Мы привыкли к поражениям. Вся жизнь моего поколения — смесь нереальных надежд и реальных поражений. Победы разъединяют, поражения сплачивают. Я думаю не о великой стране... Ее можно восторженно любить и пламенно ненавидеть, ее можно жалеть и можно презирать — в равной мере и с равным правом. Но как бы к нам она не относилась, она не мачеха, с которой легко расстаться, она мать... Хотя нередко лишь стук земляных комьев о крышку гроба рождает боль утраты, понимания собственной вины... Но я о другом. Я не о стране, а о Володе Берденникове, с которым неразделимо связана уже тридцать лет моя жизнь. И о Руфи Тамариной, которая давно мне — как сестра, имя ее кажется мне флажком, плещущим на соленом ветру... И о Морисе Симашко — надписывая свои книги, он употребляет слово "братски...", верится мне, не из скудости своего словаря. И о Галине Васильевне Черноголовиной думал я — неправдоподобно прямой для сволочной нашей жизни, ни разу не изменившей себе... Все мы были рядом — и в давние годы, отстаивая наш "шуховский" журнал, и в сопротивлении "Тайному советнику" и крепнущей волне реставрации сталинизма, и в попытке создать клуб "Публицист"... А Леонид Вайсберг, святая душа, правовед и философ... С ним бок о бок пережито за четверть века столько рождений и смертей, взлетов и падений — будь то люди, нам близкие, или проекты, способные осчастливить человечество... Где, в каких землях я найду таких друзей?.. Александр Лазаревич Жовтис — профессор, эрудит, в старом, забытом смысле *общественный деятель,* — мы близки домами, семьями с шестидесятых годов, со времени нашего приезда в Алма-Ату... А Мухтар Магауин, которому я обязан и тем, что он *открыл* для меня Восток, и тем, что не раз выручал он меня в трудные времена? А Мурат Ауэзов?.. Нет, не случайно выступил он в истории с "Вольным проездом": против старых и новых *гонений* выступил он, против деления людей на *гонителей и гонимых,* точнее — против того, чтобы *одни* гнали *других*... А друзья моих школьных и студенческих лет, которые мне больше, чем братья?.. Астрахань, Вологда, Москва, Тольятти, Минск, Ленинград — туда я пишу, оттуда приходят мне письма: всех, с кем я связан, так же, как меня, пронизывает каждая судорога, сотрясающая тело страны... Разве того, кто совершил побег из

тюрьмы, не скребет железным коготком совесть: там, оттуда он ускользнул, остались те, кто ему дороги...

Ах, да, конечно, конечно... И все же — скребет, скребет железный коготок...

Не помню, где прочитал я когда-то, как семейство будущих декабристов, радуясь после долгой отлучки возвращению домой, готово было на границе расцеловать первого встреченного жандарма... Не знаю, как насчет поцелуев, но привычка — второе счастье: можно ли жить, не чувствуя где-то рядом пристального взора родного КГБ? Как разговаривать по телефону, не слыша порой чьего-то хотя и вежливого, но постороннего дыхания? Как получать письма, которые приходят, не запаздывая неделю-другую против положенного срока?.. Но ведь моя Родина, мое (да, черт побери, — *мое!)* Отечество — это не только КГБ и пестуемые им "патриоты", не только "Наш (*их/..*) современник", не только Владимир Успенский и его пророк Геннадий Иванович Толмачев (говорят, публикующий в своем толмачевском журнале третью часть эпопеи о "тайном советнике вождя"...). Нет, не только! Это еще и академик Сахаров, писавший: "Я считаю единственным благоприятным для любой страны демократический путь развития. Существующий в России веками рабский, холопский дух, сочетающийся с презрением к иноземцам, инородцам и иноверцам, я считаю величайшей бедой... Лишь в демократических условиях может выработаться народный характер, способный к разумному существованию во все усложняющемся мире". Демократа Сахарова в равной мере тревожила судьба русских и украинцев, литовцев и евреев, армян и курдов — иначе какой же был бы он демократ?.. Или генерал Григоренко: для него, стопроцентного славянина, важней важного была судьба крымских татар. Для еврея Копелева — судьба немцев... А Лихачев, академик Лихачев, коренной русский интеллигент — уж корен-нее, интеллигентнее не бывает... Для него Сахаров являлся "пророком в древнем, изначальном смысле этого слова: он был из тех пророков, которых побивают камнями и изгоняют из родного города"... Так сказал он на похоронах Сахарова — хотя, как известно, славные наши то ли "патриоты", то ли опекуны — не столь давно буквальным образом "сокрушали ребра" старому академику, поджигали его дом... И вот он с горькой, брезгливой, презрительной усмешкой говорит о нынешних фашистах, говорит бесстрашно, с телеэкрана, на всю страну... Я мог бы продолжать, вспоминая о сердечной дружбе двух великих трагических писателей XX-го века — Андрея Платонова и Василия Гроссмана, и об Анатолии Ананьеве, дважды напечатавшем Гроссмана у себя в "Октябре", о Наталии

Ивановой, с которой мы познакомились в Дубултах. О Владлене Берденникове, не в застольном трепе, а в своих книгах, в том числе и в недавно вышедшем романе, уделившем немало места национальным проблемам, в том числе и "еврейскому вопросу", о нашем алма-атинском театре, только что поставившем спектакль по "Тевье-молочнику" Шолом-Алейхема — "Поминальная молитва". Так совпало, что премьера спектакля была в конце сентября — в это самое время ровно сорок девять лет назад (в будущем году — страшный юбилей) шли расстрелы в Бабьем Яре... Возможно, об этом не думали в потрясенном, захлебнувшемся аплодисментами зале, возможно, не думали об этом и артисты... Я же, помимо того, думал еще и о том, что и главный режиссер театра — армянин, и артисть! — в большинстве русские люди — вопреки змеино-шуршащей, извивающейся, пропитанной ядом "агитации и пропаганде", вопреки "Русскому голосу", быть может, побывавшему в руках у кого-нибудь из них, отчего же — ведь продается в киосках!.. — что они сумели вжиться в чужой, незнакомый материал, каким-то сверхчутьем проникнуть в природу интонации, жестов, походки, в манеру смеяться, вздыхать, молиться, плакать, сумели ощутить за приниженностью — несокрушенное человеческое достоинство, за особостью судьбы — жажду спиться, встать вровень со всем миром... Я подумал, что они, артисты — мужественные, готовые к риску люди, и что, не будучи евреями, знают об еврействе и — да, да! — способны чувствовать себя евреями больше, чем иные из нас, благодарно аплодирующих им в этом зале...

Все это и есть моя страна... Могу ли я, вправе ли ее бросить?..

— А как же Сашенька?.. — говорит моя жена. Мы — здесь, а он — *там*...

Не знаю, не могу ей ответить. Что-то противоестественное ведь заключается в том, что нас и внука разделяет 20 000 километров. Что там, у *них* — полдень, когда у *нас* — ночь... Я не знаю, чем ответить жене...

Я знаю только, что "мир на земле" — эти еще не столь давно плакаты, фанерные слова, взиравшие на нас со щитов, установленных в парках, и с праздничных полотен — слова эти обрели для меня новый, живой смысл. Мир — это письма от Мариши, от Миши, от Сашеньки. Это — иногда — телефонные переговоры. Это — может быть — время от времени поездки к ним — и наоборот... Это — мир. И — не дай бог, чтоб ребята, играющие у нас под окнами, и Сашенька с его новыми друзьями нацеливали друг на друга ракеты... Будем верить, однако, что наши дети, наши внуки окажутся умнее нас. И — хотя бы ради этого великодушно простим им и "рок", и режущие ухо словечки,

и еще кое-что... В конце концов, все это мелочи.

Все это — мелочи, поскольку "мир на земле" не обеспечивает ни телевизионными мостами, фестивалями. Даже в страшном сне жителям "веймарской республики" не могли привидеться тридцать третий год и ефрейтор со свастикой на рукаве во главе государства! Кто мог подумать, что в стране Гете и Шиллера... В том-то и беда, что никто не мог подумать. А кто мог... Их не слушали. Потом их стали сажать в концлагеря и высылать из страны. Потом они начали уезжать из страны сами — Томас и Генрих Манны, Эрих-Мария Ремарк, Фридрих Вольф, Бертольд Брехт, Альберт Эйнштейн, Лион Фейхтвангер, Стефан Цвейг... И - кто бы мог подумать!.. — страна Гете и Шиллера и т. д. однажды очнулась и увидела себя облаченной в нечто коричневое, на площадях гремели военные марши, вчерашние обыватели, протестуя против паде ния курса марки, орали "Германия превыше всего!" и готовились к тому, чтобы доказать это делом...

Я вспоминаю о Германии, но передо мной другая страна — страна Пушкина и Толстого... Моя страна. Я не хочу, чтобы о ней сказали однажды: "Кто бы мог подумать!.." Фашизм, где бы он ни возникал и в какие бы слова ни обряжался, — угроза всему живому, где бы оно ни существовало, где бы ни дышало, ни смеялось, ни лепетало, ни пускало ртом пузыри...

Фашизм — это смерть.

Это понятно многим, но далеко не всем. И потому вместо того, чтобы паковать чемоданы, я написал эту книгу.

Что же дальше?..

Римляне говорили: "Пока дышу — надеюсь!"

А я: "Пока надеюсь — дышу..."

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 21, 71. Там, где у Марины Цветаевой речь идет о продразверстке, продотрядах, нужен был бы обстоятельный комментарий. В особенности, теперь, когда факты зачастую подменяются спекуляцией, а история — декламацией... К сожалению, в рамках этой книги придется лишь кратко объяснить существо дела.

В самом деле, отчего Марина Цветаева едет из Москвы в Тульскую губернию за продуктами? Оттого, что в Москве — голод, а в губернии, у крестьян — хлеб, сало, масло, мед. В условиях гражданской войны и блокады для защиты населения от непомерно взвинченных цен введена хлебная монополия, установлены твердые цены, принят декрет о продовольственной диктатуре. Крестьяне же требуют "свободной торговли", "вольных цен" — и отказываются поставлять хлеб и продовольствие... В итоге — голодные, обескровленные, выстывающие без подвоза топлива Москва, Петроград, рабочие районы Центра и Северо-Запада России, а значит — истощенные дети, опухшие от водянки старики, тифозные больные, беднота, которой не на что выменивать хлеб и крупу, которая никуда за ними не поедет...

Морально ли, нравственно ли, — как принято риторически вопрошать нынче, — *отбирать* у крестьян свое, кровное добытое трудом и потом?.. Нет, — и вряд ли кто-нибудь ответит на это иначе. Но — морально ли, нравственно ли — дать жителям городов погибнуть, сгинуть — если не от Корнилова и Деникина, не от Колчака и белочехов, так от тифозной горячки и голода?.. Тут-то и возникают продразверстка, продотряды.

Впрочем, возникают?.. Или то и другое уже существовало в какой-то мере еще до прихода к власти большевиков?

Вот что говорил А.Д.Протопопов, министр внутренних дел царского правительства, о положении в стране *накануне* Февральской революции: "Финансы расстроены, товарообмен нарушен, производительность труда пошла на громадную убыль... Пути сообщения в полном расстройстве... Наборы обезлюдили деревню, остановили землеобрабатывающую промышленность... Города голодали... Товара было мало, цены росли, таксы развивали продажу "из-под полы", получалось мародерство... Рабочих превратили в солдат, солдат — в рабочих. Армия устала, недостатки принижали ее дух. Упорядочить дело было некому. Верховная власть перестала быть источником жизни и света", А вот выдержка из обзора министерства продовольствия от 12 октября 1917 года — за две недели до революционного

переворота: "Голод при истощении запасов... Сокращение хлебных пайков... Обращение к суррогатам хлеба... Заболевания на почве недоедания. Продовольственные волнения... Заболевания цингой и голодным тифом".

Продразверстка была введена в России 29 ноября 1916 года. Реквизиции по твердым ценам "для нужд армии" введены еще 27 августа 1914 года. Временное правительство приняло 25 марта 1917 года закон "О передаче хлеба в распоряжение государства". В дополнение к хлебной разверстке вскоре ввели разверстку по губерниям на мясо, масло и др. Первые хлебные карточки появились в 1916 г. Для принудительного изъятия хлеба уже в августе 1917 г. из состава фронтовых частей и тыловых гарнизонов регулярной армии стали формироваться специальные воинские отряды для проведения реквизиций в деревне. Деревня встретила их враждебно. Тем не менее министерство продовольствия заявило, что "система принудительного отчуждения хлеба в порядке военного вмешательства остается самым действенным способом осуществления хлебной монополии". Министр продовольствия Прокопович заявил, что иными мерами "революцию не спасти" и что "если не получим необходимого количества хлеба, то мы будем вынуждены прибегнуть к воинской силе". Эсеровские "Известия Всероссийского совета крестьянских депутатов" поддержали этот шаг, мотивируя тем, что у правительства не остается другого выхода... (См. "Родина" N2 10, 1989 г., Г.Бордюгов, В.Козлов, В.Логинов. "Куда идет суд?!")

Возможно, знание подобных фактов, а также куда более понятный и близкий нам опыт Отечественной войны с применением чрезвычайных мер, диктуемых ситуацией, позволили бы читателю оценить содержание очерка Марины Цветаевой в более широкой исторической перспективе, исключающей соблазн увидеть в Октябрьской революции результат пресловутого жидо-масонского заговора, а в продотрядовцах — агентов злокозненных "сионских мудрецов", ведущих борьбу с русским народом...

К стр. 30, 49, 270. Пока дотошные историки с достойным уважения педантизмом исследуют прошлое масонского ордена и пытаются объяснить, что привлекало к нему в разное время столь разных людей, как Робеспьер и Наполеон, Гете и Пестель, Пушкин и Рылеев, просветитель Новиков и архитектор Баженов, Павел I и Фуше, пока они выясняют значение масонских символов и обрядов, шулера от истории ведут свою игру, не вступая в научные дискуссии. Ври — возможно громче, возможно наглее, ври, не заботясь о том, что тебя опровергнут, — и что-нибудь да

осядет в душах людей от этой лжи. Вот главный принцип сочинителей жидо-масонской легенды. Малограмотные экскурсы в эпохи Древнего Египта или царя Соломона — всего-навсего фиговый листок, неуклюже прикрывающий единственно важное для них: доказать, что все зло в мире — от евреев, что они — зачинщики войн и революций, что тайные жидо-масонские силы то ли уже овладели всем миром, то ли вот-вот установят над ним свою сатанинскую власть... Один из козырей в этой игре — Россия, революция, послереволюционная история — вплоть до наших дней. И если Бердяев в 1938 году брезгливо отмахнулся от ходкой среди российских черносотенцев и немецких фашистов фальшивки, то легенда от этого не перестала существовать. Напротив, она распустилась ядовитым цветком именно в последние годы, ее заботливо растят наши черносотенно-"патриотические" издания. Нет смысла полемизировать с ними, но и оставлять без ответа, не замечать, как плетется легенда, как преподносится миллионам и миллионам людей отрава, и возлагать при этом все надежды на здравый смысл и естественный иммунитет было бы ошибкой.

Итак, их козырь — Россия, где власть, государство — в руках евреев, жидо-масонов, сионистов... (Для наших национал-специалистов это одно и то же, им не до тонкостей... Ну да — бог им судья). Между тем в первом российском правительстве — Совнаркоме, образованном "на Втором Всероссийском съезде Советов 26 октября 1917 года, было 15 человек, из них 13 русских, 1 грузин и 1(один) еврей — Троцкий. В Совнаркоме 1920 года было опять-таки 15 человек, из них 1(один) еврей — тот же Троцкий.

Я не ставил себе целью специальное изучение этого вопроса, но вот попались цифры: в 1919 году среди делегатов VIII съезда РКП(б) — русских 190, евреев 49... Для сторонников национально-пропорционального (проще говоря — расистского) принципа — евреев многовато... Но, во-первых, по сравнению с русскими делегатами их всего лишь четвертая часть, а во-вторых, как быть, если евреев-делегатов выбирали в основном не-евреи (тогда национал-пропорциалисты еще не главенствовали в партии), и в-третьих, в том 1919 году в партию вступали еще не ради персональной машины и 4-го управления... Зато в дальнейшем, по мере увеличения количества персональных машин и расширения 4-го управления, дело стало поправляться. В 1989 году, скажем, среди членов КПСС русских насчитывалось 58,6%, евреев —1,1%. В 1990 году на 18 856 113 членов КПСС приходилось 11 183 749 русских и всего 204 767 евреев, т. е. примерно та же не угрожающая России пропорция. Если же иметь

в виду, что управленческий аппарат страны состоит из 18 миллионов человек, то, как остроумно заметил Вячеслав Карпов ("Октябрь" №3, 1990 год, "Старые догмы на новый лад"), войди в него все евреи Советского Союза от мало до велика, опять-таки никакого жидо-масонско-сионистского засилья не получится...

Если же, продолжает тот же публицист, исходить из того, что ЦК КПСС — вершина пирамиды власти как политической, так и административной, что в его составе — секретари ЦК союзных республик, секретари обкомов, горкомов, министры, их замы и т.д., то из 281 члена ЦК, избранного XXVII съездом в 1986 году, евреем был один человек — Александр Борисович Чаковский, главный редактор "Литературной газеты". "Итак, славянские народы, и прежде всего русский, — в катастрофическом положении", — пишет Вячеслав Карпов, судя по имени и фамилии — явный жидо-масон. — Между тем в высшем органе политической власти 92% их представителей. Уж не Александр ли Борисович козни строил против славянского большинства, а заодно против всего русского народа?.."

Так легенда от тайном всемирном заговоре, поначалу подобная величавой, уходящей корнями в седую древность саге, при ближайшем рассмотрении превращается в пошловатый фарс, главным героем которого является всего-навсего Александр Борисович Чаковский, хотя и еврей, но — "полезный", пригодившийся и Брежневу, и Андропову, и Черненко, и Горбачеву... Хорош заговорщик!

К стр. 87. Интересны в этом плане (да и не только в этом) воспоминания княжны Екатерины Александровны Мещерской, представительницы одного из древнейших княжеских родов:

"Хочу рассказать, как расценивала антисемитизм русская аристократия... Дело в том, что до своего тридцатилетнего возраста я об этом слове не имела понятия. Со времен царствования Петра Первого волны талантливых молодых иноземцев хлынули в Россию. Голландский еврей Шапиро стал лучшим Петру помощником в кораблестроении, и Петр дал ему титул барона Шафирова. В русской аристократии не было антисемитизма. Подобные высказывания вообще считались дурным тоном.

Чтобы иметь возможность торговать в огромной, обширной России, многие евреи были вынуждены креститься ради того, чтобы преодолеть "черту оседлости". Их "заморские товары" и красивые витрины магазинов приводили в ярость купцов и, не выдерживая конкуренции, те подкупали городовых, подстрекавших пьяную чернь на еврейские погромы. Вспомним лучший магазин старой Москвы — "Мюр и Мерелиз" (сейчас

ЦУМ). Вся улица Мясницкая (ныне Кирова) была полна техники. Здесь владельцами были братья Брабец, Сименс и Гальске, Роберт Кэнц, Жорж Борман и др., а владелец магазинов Михаил Васильевич Кишиневский украсил всю Москву своими огромными, круглыми электрическими светящимися часами.

...Я много раз сидела в тюрьме (главным образом за то, что не соглашалась быть агентом Лубянки). Сидела в одиночке, спать не давали, допрашивали по ночам перекрестным допросом. Уже после опубликования материалов о поимке Эйхмана (помещенных в моем переводе в журнале "Вопросы истории") я была однажды вызвана на Лубянку. Состоялся такой диалог.

Следователь. — Чего это ради Вы напечатали статью о том, как был пойман Эйхман?

Я: — По убеждениям я интернационалистка и антифашистка.

Следователь: — Стыдитесь! Русская княжна — и возвышаете евреев. Может быть, ваша мать согрешила с евреем?

Я: — Все возможно. Только сама женщина знает, от кого она носит под сердцем ребенка.

Следователь: — Вы мне не дурите, а говорите правду! За это вы любите евреев?

Я: — За то, что у меня с ним одна судьба, еврей не виноват, что родился от еврея, а я не виновата, что родилась от князя.

Тут следователь совершенно озверел и заорал на меня, стукнув кулаком по столу: "А для нас такие, как вы, хуже евреев! Мы таких зовем — жидовствующие!", и с этим выкриком он, нажав кнопку звонка, уже прошипел сквозь зубы, "Обратно... в одиночку".

Евреи многовековый народ. Они дали миру Библию, от которой пошли как культура, так и религия. И ясно, что ни один верующий человек не может быть антисемитом".

(" Советиш Геймланд", № 3, *1989 г.)*

К стр. 143. По поводу "еврейского экстремизма", ставшего у национал-патриотов притчей во языцех, не худо бы напомнить хотя бы некоторые параграфы "Катехизиса революционера", написанного Сергеем Нечаевым в конце 1860-х гг.

"1. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией...

2. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ее побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно

все, что мешает ему...

6. Суровый для себя, он должен быть суровым *и* для других. Все нежное, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единой холодной страстью революционного дела. Для него существует одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к это цели, он должен быть всегда готов и сам погибнуть, и погубить своими руками все, что мешает ее достижению.

"Катехизис революционера" был издан в числе прокламаций, авторами которых выступили Нечаев, Бакунин и Огарев. Издавались эти прокламации за счет Бахметьевского фонда — Герцен передал половину этого фонда Огареву на революционную пропаганду

Возможно, вскоре окажется, что Нечаев, а с ним и Бакунин, и Огарев были инородцами, жидо-масонами и т.д. Пока же отечественная наука такими сведениями не располагает.

Зато для национал-патриотических исследователей "еврейского экстремизма" должно быть любопытно следующее место из воспоминаний В.Д.Бонч-Бруевича о Ленине:[24]

"Родина", номер 2 за 1990 г.

"Совершенно забывают, — говорил Владимир Ильич, — что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением устанавливать особые навыки конспиративной работы, умел свои мысли облачить в такие потрясающие формулировки, которые оставались памятными на всю жизнь. Достаточно вспомнить его ответ в одной листовке, когда на вопрос — "Кого же надо уничтожить из царствующего дома?", Нечаев дает точный ответ: "Всю большую ектенью". Ведь это сформулировано так просто и ясно, что понятно для каждого человека, жившего в то время в России, когда православие господствовало... и все знали, что на великой, на большой ектений вспоминается весь царствующий дом, все члены дома Романовых. Кого же уничтожить из них? — спросит себя самый простой читатель. — Да весь дом Романовых, — должен был он дать себе ответ. Ведь это просто до гениальности!"

Кстати, "простая до гениальности" формула Нечаева возникла не на пустом месте. За сто лет до того был низложен, а спустя неделю убит русский император, однако жена его, участница заговора, заняв трон, получает впоследствии титул Великой. Сын, причастный к убийству отца, российского императора, занимает его трон и впоследствии именуется Благословенным.

Высокородные российские дворяне замышляют убийство императора и всей императорской фамилии, тем не менее никто не ставит под сомнением то, что это люди долга и чести. Цель оправдывает средства, интересы (благо) народа (государство) превыше всего... Таким ли уж феноменальным явлением в нашей истории были Нечаев и его прямые последователи?.. Но экстремистами, "орудиями сатаны" назовут не их...

К стр. 245. Для более обстоятельного знакомства с этим вопросом интересно заглянуть также в энциклопедию Брокгауза и Ефрона (статья "Питейная монополия"):

"Открытие питейных заведений частными лицами производится с разрешения управляющего акцизными сборами, по соглашению с губернатором. Патентный сбор взимается с заведений трактирного промысла, пивных лавок, погребов, оптовых складов пива, меда и русских виноградных вин и временных выставок... Введение питейной монополии лишило сельские общества значительных доходов, получавшихся за дозволение открывать питейные заведения на крестьянской земле..."

И далее:

"Питейные сборы в России".. Крепкие напитки с самого древнего времени составляли предмет обложения на Руси. При всеобщем распространении потребления меда в древней Руси, "медовая дань" была, вероятно, первой формой этого рода обложения. Сведения о ней встречаются уже в X в. Винокурение появилось в России, как и в Западной Европе, в XIV в. Сначала князья облагали данью места продажи (корчмы), потом стали заводить свои корчмы и преследовать вольные. При Иоанне III право выделки напитков было уже казенной монополией. При Иоанне IV ведено было повсюду прекращать частный питейный промысел и заводить "царевы кабаки". Кабаки часто отдавались на откуп. Были кабаки, принадлежавшие духовенству и боярам. Существовало и домашнее приготовление напитков, но крестьянам винокурение запрещалось. Частные лица платили за право выделки вина и прочих питей для своей надобности пошлину *явку*. Право сбора *явки* принадлежало монастырям в их владениях...

Право продажи вина составляло казенную регалию, существовавшую то в виде казенной монополии, то в виде откупной системы. Непременным правилом было собирать каждый год больше предыдущего, для чего целовальникам позволялось действовать "бесстрашно" и притом так, чтобы не отгонять "питухов". Недобор правился с голов (кабацкий голова заведовал питейным делом в уезде, собирал "явки" и т.д.) и

целовальников... За сбор с прибылью воеводы удостаивались похвалы, а головы — милостивого слова или царского подарка..."

Добавлю от себя, что государственная политика в области "пьяных денег" во все времена определялась принципом, блистательно сформулированным Петром I: "Смерд, коий водки не пьет, ничтожен, ибо державу в убыток вводит". Впрочем, Россия в этом смысле отнюдь не исключение из общего правила.

К стр. 269. В октябре 1990 года в "Известиях" появилось сообщение:

"Итак, процесс по делу К. Смирнова-Осташвили завершился. Последний день судебной тяжбы вылился в демонстрацию сплоченности и агрессивности сподвижников подсудимых. Милиция была не в состоянии совладать с национал-патриотами, расправившими в зале суда антисемитские лозунги, поднявшими над головами плакаты, оскорбляющие судей, председательствующий А.Муратов не обращал внимания на то, что К.Осташвили негодующе перекрикивал его, и каждая такая воинственная реплика встречалась аплодисментами, на скамью подсудимого летели цветы.

Судебная коллегия установила, что обвинения, предъявленные К.Осташвили, нашли объективное подтверждение в многочисленных доказательствах, рассмотренных в ходе судебного следствия. Вина подсудимого доказана. Признано, что деяния его квалифицированы статьей 74 частью 2-й УК РСФСР правильно: К.Осташвили совершил умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды.

Дальнейшие слова А.Муратова о праве обжаловать приговор были заглушены мощным звуковым давлением национал патриотов, выкриками "Позор слугам сионизма!"

Закончился процесс митингом сподвижников К.Осташвили у входа в здание Мосгорсуда, на котором было заявлено, что "эта расправа будет иметь итогом гражданскую войну".

Из речи общественного обвинителя народного депутата СССР Ю.Черниченко:

"Это процесс ляжет камнем в фундамент новых отношений обновляемой России и демократии Москвы. Каким окажется этот камень, надежным ли? Каким станет общество, каково будет в нем жить? Будет ли всюду озон свободы или в него протащат виноватые поклоны мракобесию, вновь захотят получить гибрид демократии и тоталитаризма?

Налицо страх и тревога... На парапете Воробьевых гор, как раз напротив лужниковской площади, хранящей слово Сахарова, уже написано "Hitler's boys" — "парни Гитлера". Многие мечтают, чтобы парней в черных рубахах звали их именем.

Объявить теорию и практику большевизма национальным делом еврейства, сионизма значит снова развести мосты, пресечь возвращение России в число правовых государств, цивилизованных обществ. Как ни ретушируй, как ни маскируй, а антисемитизм плодит сначала Мюнхен и теорию Розенберга, затем блицкриг и Дахау. Национализм есть чума с легко исчисляемым экономическим уроном. Эмиграция уже разорила СССР на десятки миллиардов, обогатив страны, давшие кров беглецам, на большую сумму. Подготовить ныне физика, музыканта или врача, который бы представлял подлинную, то есть общечеловеческую ценность, стоит громадных денег. "Утечка мозгов" есть обескровливание государства; вытеснение, высылка талантов - это способ кретинизации социума, насильственного вывода его из состояния в мировом сообществе. Гитлеровский "третий рейх" лишился своего бытия в мае 1945-го (за что отдал жизнь и мой отец), но будущее свое перечеркнул еще в 1933-м — изгнанием еврея Альберта Эйнштейна.

За спиной обвиняемого незримо предстают перед судом идеологи антисемитизма, те, чьи имена стотысячными тиражами воспроизводят списки редколлегий, кто возглавляет печатные издания, кто сидит на казенных местах в министерствах социалистического реализма. В традициях русской литературы — считать проектировщика преступления, идейного толкателя злодейства преступником не меньшим, но большим, чем прямой исполнитель. Обычно такой дирижер умнее и трусливее исполнителя — и его поимка с поличным редка. Но, слушая сегодня это незаурядное дело, они наверняка отметят про себя, что скамья на удивление просторна, и если в стране впрямь утвердятся нетелефонное право и внепартийный суд, их практика станет небезопасной.

Граждане судьи, Москва демократии и права просит вашей защиты. Столица свободного слова ждет помощи. Россия смотрит на вас — и пусть каждый исполнит свой долг".

ПРИЛОЖЕНИЕ

Анна Герт

БЕЗДОРОЖЬЕ

По поводу статьи академика Шафаревича "Две дороги к одному обрыву"

Выбор не только цели, но и средств ее достижения — проблема нравственная, не зря такое место занимает она в литературе, будь то творчество Шекспира, Достоевского или Платонова... Несомненный интерес в этом плане вызывает статья Игоря Шафаревича ("Новый мир" № 7, 1989 г.), а именно — тот метод ("средства"), который он применяет для доказательства главных ее положений ("цель").

Фундаментом статьи является парадоксальная мысль, в соответствии с которой авторитарная система, сложившаяся у нас в двадцатые годы, объявляется "техноцентрической" и по своей сути родственной системе общественных и экономических отношений, сложившихся в то время на Западе. Реальность этой концепции И. Шафаревич доказывает тем, что видные представители западной либеральной интеллигенции — Фейхтвангер, Мартин Андерсен Нексе, Генри Уоллес и другие — не только не возмущались, бывая в Советском Союзе, беззакониями сталинского режима, но порой выступали с двусмысленными заявлениями или даже выражали симпатии к бесчеловечной командной системе. Однако убедителен ли такой способ обоснования открывшейся автору истины?

В двадцатые-тридцатые годы, когда в нашу страну приезжали названные автором статьи общественные и литературные деятели, т.е. спустя 130 лет (говоря округленно) после буржуазной революции во Франции и 270 лет (опять же округленно) в Англии, внеэкономическое принуждение в Европе давно уступило место эксплуатации наемного труда, гигантски выросла его производительность, возникли новые структуры производства и распределения, это создавало гарантии свободы личности, закреплённые буржуазной конституцией. Хотя в те же годы внедрение более эффективной техники было причиной Целого ряда негативных явлений — таких, как рост безработицы, инфляции, социальной незащищенности — гарантии эти в основном оставались незыблемыми. Человек уже не чувствовал себя "винтиком", он мог свободно выражать свои мысли на митингах и собраниях, принимать участие в политических движениях, партиях, бастовать, активно влиять на итоги

парламентских и муниципальных выборов.

Что же до нашей страны, то "техноцентризмом" такого рода она в ту пору явно не грешила. Общеизвестно, что дореволюционная Россия не относилась к разряду высокоразвитых промышленных держав. Она была лишь "наиболее слабым звеном" в капиталистической системе. В 1920 году план ГОЭЛРО существовал только на бумаге, индустриализацию еще лишь предстояло осуществить. Слабость экономики обуславливала экстенсивные методы труда, которые требовали от людей колоссальных затрат физической энергии и ни с чем не сравнимой самоотверженности. Тяжелые социальные и экономические последствия мировой войны й революции, отсутствие взаимосвязи между затратами труда и реальной оплатой, полное отсутствие правовых гражданских гарантий — вот особенности сложившейся тогда ситуации. При нэпе несколько оживились исчезнувшие в результате революции буржуазные отношения, но "мудрая сталинская политика" очень скоро с помощью диктата власти и подчиненного ей репрессивного аппарата их полностью ликвидировала. Нельзя не согласиться с Игорем Шафаревичем в том, что "кульминацией командной системы явилась трагедия коллективизации — раскулачивания, обрушившегося на деревню в конце двадцатых — начале тридцатых годов". Однако Сталину при этом совсем не требовалось разрушать социальные и психологические устои, как считает Шафаревич. Крепостничество в России длилось более двухсот лет и наложило глубокий отпечаток на крестьянскую психологию. Неразвитость понятия самоценности человеческой личности, заботливо взращенная в народе вера в святость иерархиезированной государственной системы, т.е. все те же принципы "человека-винтика" в сочетании с энтузиазмом смирения, воспринимающего деспотизм и насилие как естественную форму существования, -все это уходит в самые корни той "космоцентричности", которая столь любезна сердцу Игоря Шафаревича. Вот на что прежде всего опирался "отец и учитель", когда укреплял свою единодержавную власть и затем проводил насильственную коллективизацию. Сталинская командная система, основанная на элементах феодально-крепостнической психологии, сохранившейся в сознании, сумела не только возродить методы внеэкономического принуждения, но и чудовищно расширить сферу их применения. Путем непомерной эксплуатации крестьянства, составлявшего в те годы 80% населения, а также репрессированных, численность которых уже в ту пору была немалой, на основе отторжения не только прибавочного, но и необходимого продукта создавалась большая

часть национального дохода, использовавшегося для индустриализации и содержания административно-репрессивного аппарата. Внедрение технического прогресса при наличии по сути дела крепостного крестьянства и лагерей с дешевой рабочей силой не диктовалось экономической необходимостью, и потому его развитие во многом носило однобокий характер. Все это свидетельствует отнюдь не просто о различной степени технической оснащенности у нас и на Западе в двадцатые-тридцатые годы, а скорее о качественно различных уровнях общественно-исторического развития. Тем не менее, вопреки объективным фактам, исходя из начертанной заранее схемы Игорь Шафаревич утверждает, что сталинская командная система и западная цивилизация — всего-навсего разновидности одной и той же "техноцентрической системы". И что оба этих исторических феномена в равной мере представляют "попытку реализации сциенистски-техницистской утопии. Точнее, это два варианта, два пути такой реализации". В конечном счете — "две дороги — к одному обрыву"...

Согласно словарю Ожегова, "утопия — несбыточность, неосуществимая мечта". Действительно, для тогдашней России то, что Шафаревич упорно называет "техноцентризмом", было лишь мечтой, нелегкий путь к ее реализации только начинался. История свидетельствует, что дороги, о которых идет речь, оказались неоднозначными. Встав на путь технического прогресса гораздо раньше, западные страны уверенно продвигаются вперед и в настоящее время вышли на качественно более высокий уровень жизни. Зато наша дорога как-то не радует ни прямизной, ни гладкостью — здесь рытвины, там ухабы. И хотя мы постоянно очень спешим, однако продвигаемся крайне медленно. Совсем не так, как хотелось бы нам и как мечтал Н.В.Гоголь, т.е. чтобы "ровнем-гладнем" и чтобы "спешили посторониваться и давать нам дорогу другие народы и государства". Пока что дорогу уступаем мы — по эффективности производства, темпам экономического роста, качеству продукции. Негативные результаты в экономике, возникшие вследствие недостаточного "техноцентризма", оказывают непосредственное воздействие на социальную сферу. Мы отстаем от стран, идущих другой дорогой, по уровню медицинского обслуживания, по средней продолжительности жизни, но при этом имеем более высокий уровень травматизма и детской смертности.

Из сказанного следует, что доказать реальность умозрительной схемы, квалифицирующей Россию двадцатых-тридцатых годов и страны Запады как два варианта одной и той же системы, обычными методами невозможно. Любой анализ

фактически существовавших тогда экономических и общественных отношений сразу же показал бы несостоятельность выдвинутой концепции. Поэтому в качестве доказательства И.Шафаревич использует не конкретные факты, а версию "загадочного" поведения "либералов", приехавших с Запада и положительно оценивающих все происходящее в России. При этом читателю объясняется, что причина такого рода "загадочности" может быть лишь одна — близость по духу и сути авторитарной сталинской системы и западных демократий. Однако в том, что иные писатели и общественные деятели Запада не выступали прямо против беззаконий сталинского режима, а в ряде случаев его и превозносили, нет ничего загадочного. Все они были свидетелями противоречий и пороков капитализма, которые в связи с начавшимся кризисом тридцатых годов носили острый характер и подчас казались непреодолимыми. На горизонте маячил зловещий силуэт германского фашизма. А они верили в человека, в его гуманные начала и надеялись, что возможен строй более справедливый, чем капитализм. Революция в России, полагали они, создала именно такой строй. Газеты, радио, произведения искусства — мощная машина сталинской пропаганды, успешно оболванивающая народ, — действовала и на них.

Загадка в другом. Как, по каким причинам ничего не видел и не слышал наш многострадальный народ, переживший и 1929, и 1937 годы, почему он безмолвствовал? И даже не безмолвствовал, а ликовал, приветствовал, скандировал лозунги, призывающие расправиться, уничтожить, покончить... Вот где самая трудная и пока еще не разгаданная загадка, мимо которой прошел Игорь Шафаревич, то ли не заметив ее, то ли не пожелав заметить. Однако "вопрос о том, хорош ли я, много важнее вопроса о том, хорош ли мой сосед, которого я имею склонность в чем-то обвинять", — пишет Н.Бердяев. Возможно, И.Шафаревич придерживается противоположного мнения. Но рассуждения о "либералах", заявившихся с Запада и не вознегодовавших, не пригвоздивших к позорному столбу и т.д., как бы снимают ответственность с могучих плеч народа, допустившего в собственной стране пытки, лагеря, массовые убийства, и перекладывают ее на хилые спины западных интеллигентов. Такой прием отчасти напоминает разговоры деятелей пресловутого общества "Память" о том, что кто-то спаивает русский народ, словно речь идет о малых детях, которым вливают в рот хмельное зелье. Кстати, того же происхождения идеи, винящие в коллективизации Свердлова, умершего за десять лет до оной, и Троцкого, в 1929 высланного за рубеж...

И все же — как это случилось? Как проглядели все мы, что не чья-то, а наша страна стала местом.

Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить.
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить...

Думается, еще задолго до двадцатых-тридцатых годов наш народ был приучен к тому, что жестокость, насилие — не исключение, а норма жизни. Конечно, куда спокойнее рассуждать, как это порой принято, о ладе и согласии, якобы царивших повсеместно в нашем отечестве до революции. Однако "...если мы только не перестанем закрывать глаза на прошедшее и говорить: зачем поминать старое, нам ясно станет, в чем наши точно такие же ужасы, только в новых формах" (Л.Толстой[1]).

[1]*Л.Толстой, "Не могу молчать". М., 1985 г., стр. 478.*

Ведь это не во время коллективизации, не где-то на Колыме, а в столице Российской империи Девятого января 1905 года было убито более тысячи человек! И все это были нереволюционеры, не заговорщики, а простые русские люди, свято верящие в Бога, царя и отечество. По закону о военно-полевых судах, принятому в августе 1906 года, за 8 месяцев его действия в России было казнено 1100 человек. "Никто столько не казнил, и самым безобразным образом, как он, Столыпин, никто так не произвольничал, как он... Столыпинский режим уничтожил смертную казнь и обратил этот вид наказания в простое убийство. Часто совсем бессмысленное, убийство по недоразумению... Начали казнить направо и налево, прямо по усмотрению администрации казнят через пять-шесть лет после совершения преступления, казнят и за политическое убийство, и за ограбление винной лавки на пять рублей, мужчин и женщин, взрослых и несовершеннолетних"... Так писал граф Витте[25].

[25]*С.Ю.Витте. "Воспоминания", изд. 1923 г., стр.293-294.*

Заметьте, это тогда, при Столыпине начали казнить "по усмотрению администрации", убийства были введены в ранг государственной политики и стали чем-то само собой разумеющимся, без чего нельзя обойтись. "Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме того прямого зла, которое они причиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют еще большее величайшее зло всему народу, разнося быстро распространяющееся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа", — писал Лев Толстой[26].

[26]*Там же, стр. 445.*

Война 1914 года вызвала еще большее ожесточение. "По

исчислению немцев, — писал В.Шульгин, — Россия на сегодняшний день потеряла 8 млн. убитыми, ранеными и пленными — этой ценой мы вывели из строя 4 млн. противника. Этот ужасный счет... показывает, как щедро расходуется русское пушечное мясо. Один этот счет — приговор правительству. Приговор в настоящем и прошлом. Приговор надо всеми..."[27]

[27]*В. В. Шульгин, "Дни. 1920", М., 1989, стр. 123.*

Общество мало сопротивлялось насилию и жестокости. Точнее, сопротивлялись только его лучшие представители. Что же до народной массы, то она уже готова была к восприятию "новой морали..." Та самая "космоцентрическая цивилизация", о которой пишет И.Шафаревич, воспитала человека-винтика, это согласно ее устоям "все честолюбие частных лиц ограничивалось стремлением: быть правильным выражением духа общества"[28].

[28]*И. К .Киреевский, "Критика и эстетика", М., 1979, стр. 285-286.*

А дух общества основывался на святыне самодержавной власти, на принципе: "Нет власти, аще от Бога".

Этот принцип остался незыблемым и после того, как императора сменил генсек. Дух общества не оставил места религии, на ее место пришла новая нравственность, оценивающая каждый человеческий поступок не с точки зрения его внутренней сущности и гуманистической морали, а только в плане его служения продиктованным извне политическим целям. Самую коллективизацию нельзя рассматривать как процесс, санкционированный только сверху — внутри деревни тоже происходила жестокая борьба, о которой писали М.Шолохов, Ф.Абрамов, Ф.Панферов, но о ней мы почему-то начисто забыли. Этой борьбой руководили не только Сталин и Эпштейн-Яковлев. Ею руководили зависть и ненависть к работящим, зажиточным мужикам, и они, к сожалению, так сильны, что и сейчас мешают развитию аренды. Вот что об этом пишет известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии, русский по происхождению, В.Леонтьев: "Некоторые крестьяне покидают свои колхозы в надежде добиться преуспевания, выращивая и продавая скудную сельскохозяйственную продукцию на свой страх и риск. Их успехи оживляют старую неприязнь и зависть к богатым независимым хозяйствам, которой воспользовался Сталин во время насильственной коллективизации 60 лет назад. Завистливые соседи сожгли немало преуспевающих индивидуальных ферм".

Евангельская заповедь "Возлюби ближнего своего, как самого себя" в новом обществе не могла иметь универсального смысла: одни "ближние" становились предметом зависти, другие

воспринимались как потенциальные враги. А "если враг не сдается, его уничтожают..." Милосердие отступало под натиском жестокости, заполнявшей человеческие души. Можно перечислять и другие причины, объясняя причины поведения народных масс в двадцатые-тридцатые, но представляется, что достаточно и этих.

Изложенный И. Шафаревичем взгляд на условия нынешнего существования общечеловеческой цивилизации не является чем-то принципиально новым. Почти два десятилетия назад американский математик профессор Медоуз представил "Римскому клубу" доклад "Пределы роста", в котором шла речь о необходимых пределах технического и экономического развития, о неизбежном сокращении уже в ближайшее время таких важнейших показателей, как объем промышленного производства, использование природных ресурсов, увеличение численности населения. Как известно, наиболее мрачные прогнозы Медоуза не оправдались — человечество сумело изыскать экономические и технические возможности для дальнейшего улучшения экологической и социальной ситуации. Конечно, многие современные проблемы носят глобальный характер и в значительной мере не потеряли остроты, однако мнение Игоря Шафаревича по данному вопросу, на первый взгляд не слишком отличающееся от пессимистических высказываний ряда ученых, смущает полным отрывом от реальности происходящих в мире событий и удивляет субъективностью их оценки. "Тот вариант развития, — пишет Шафаревич, — который все яснее проявляется в последние полтора-два века, явно носит болезненный характер. Несмотря на свои колоссальные достижения в некоторых конкретных областях (например, почти полное уничтожение детской смертности, увеличение продолжительности жизни), этот вариант в целом утопичен. Как и сталинская командная система, западная технологическая цивилизация избрала техноцентрическую идеологию в противоположность космоцентрической".

Но разве не ясно, что "конкретные области" — это синтетические показатели, вбирающие в себя разнообразные достижения в самых различных отраслях социальной жизни. Они характеризуют жизненный уровень народа в целом, поэтому, признав "колоссальные достижения" именно в данной "конкретной области", И.Шафаревич тем самым признает преимущество всей совокупности материальных условий "техноцентрической системы".

Впрочем, как раз материальные условия нашего автора не интересуют, как они не интересовали и не интересуют многих сторонников "космоцентризма" — и ныне здравствующих, и

живших задолго до нас. Но вот что писал в своих мемуарах, говоря о событиях первой мировой войны, В.Шульгин, по складу мышления, как представляется, весьма близкий Игорю Шафаревичу. В колоссальных потерях русской армии виноваты и "правящие и неправящие классы", и "вся интеллигенция, которая жила беспечно, не обращая внимания на то, как безна дежно, в смысле материальной культуры, Россия отстает от соседей... То, что мы умели только петь, танцевать писать стихи и бросать бомбы", теперь окупается миллионами русских жизней... Мы не хотели и не могли быть Эдисонами, мы презирали материальную культуру. Гораздо веселее было создавать "мировую литературу", трансцендентальный балет и анархические теории. Но зато теперь пришла расплата... И вот мы пляшем... "последнее танго" на гребне окопов, забитых трупами"[1].

[1] *В.В.Шульгин, там же, стр. 124.*

Здравый смысл, казалось бы, подсказывает: сейчас, когда, начиная с 1970 года, темпы роста валового национального продукта в нашей стране неуклонно снижаются, когда сокращается продуктивность большинства отраслей, что соответственно воздействует на жизненный уровень нашего народа, стала пора не превозносить "космоцентрическую цивилизаю", а спуститься с эфирных высот на многострадальную российскую землю и задаться, наконец, вопросами сугубо материальными. Такими, например, как проблема раскрестьяивания, которое, начавшись в конце двадцатых, увы, продолжается и по сей день. Или — нашей, от всей широты русской души, торговлей нефтью и газом, т.е. преступных разбазариванием национального богатства и без того обнищавшей страны. Тут-то и окажется, что одна из главных бед кроется в недостатке того самого "техноцентризма", на который сетует И.Шафаревич и без которого просто немыслимо накормить народ. А может все гораздо проще, и дело в традиционном консерватизме, который гордо именуется "космоцентризмом"?

Что же касается развития западных стран, то на пороге второго тысячелетия уже ясно, что дорога, по которой они идут, ведут не к пропасти, а к постиндустриальному обществу, способному решать не только социальные, но и экологические проблемы. Ныне промышленно развитые страны используют на поддержание чистоты экологической среды около пяти процентов совокупного общественного продукта.

Универсальность технического прогресса делает возможным его широкое использование в гуманных целях независимо от политических и национальных амбиций. Разве лекарства, изобретенные в Западной Европе, не спасли африканских детей

от тропической лихорадки, не способствовали увеличению продолжительности жизни у населения Латинской Америки? Думаю, что изобретение и применение новейших технических средств в Японии не лишает японцев их духовной культуры или особенностей национального характера. И все же главное, вероятно, не в национальных различиях, не в "корнях", а в общности задач, стоящих перед народами всей планеты. В манифесте Рассела-Эйнштейна еще на заре ядерной эры говорилось: "Перед нами лежит путь непрерывного прогресса, счастья, знания и мудрости. Изберем ли вместо этого смерть только потому, что не можем забыть наших ссор? Мы обращаемся как люди к людям: помните о том, что вы принадлежите к роду человеческому, и забудьте обо всем остальном. Если вы сможете сделать это, перед вами открыт путь в новый рай: если вы этого не сделаете, перед вами — опасность всеобщей гибели". Взаимозависимость процессов, развивающихся в различных регионах земного шара, обуславливает формирование системы единых интересов, единой гуманистической концепции жизни для народов земли. Спор о преимуществе "техноцентрической" или "космоцентрической" системы, который затеял Игорь Шафаревич, явно устарел: приоритет общечеловеческих ценностей уже стал важнейшим условием человеческого существования. Что до "пути", ступить на который с пылом ветхозаветного пророка зовет И.Шафаревича, то, исходя из многообразного опыта России, не вернее ли назвать его бездорожьем?..

Анна Герт

СКАЗКИ О ЖИДО-МАСОНАХ И ПРАВДА О "ЧЕРНОЙ СОТНЕ”

В последнее время появилось несколько интересных исследований о масонах — Н.Берберовой "Люди и ложи", А.Авреха "Масоны и революция", Л.Замойского "За фасадом масонского храма". Средства массовой информации, однако, не торопятся оповестить читателя о наличии литературы, наконец, раскрывающей тайны масонства, его организацию, деятельность и, как выясняется, полнейшую непричастность к русской революции. Читатель же у нас, как известно, человек занятой, а теперь у него хлопот сделалось еще больше. Вот и создается возможность для "Нашего современника" и "Молодой гвардии" год за годом морочить читателя, утверждая, что революцию в России делали не россияне, а некие инородцы-жидо-масоны - с них и спрос. Природные же русские люди к революциям не склонны и ни за что содеянное в своем любезном отечестве не отвечают. При этом как-то запамятовали сочинители подобных версий Разина и Пугачева, Бакунина и Нечаева, Чернышевского и Добролюбова, Желябова и Перовскую и многих-многих, коих трудновато причислить к масонам, а уж к жидо-масокам — тем паче.

Историческими документами сочинители устрашающей легенды о всемирном жидо-масонском заговоре не пользуются, опорой им служат фальшивки полицейского управления и та хорошо известная категория любителей ловить рыбку в мутной воде, которая, отбросив совесть и не боясь греха, сеет повсюду ложь, подозрительность, ненависть — точь-в-точь "бесы" Достоевского... К сожалению, нередко это им удается. "Нет ничего легче, — писал Н.Бердяев, — как убедить людей низкого уровня, что во всем виноваты евреи. Эмоциональная почва всегда готова для создания легенды о мировом еврейском заговоре, о тайных силах "жидо-масонства" и пр. Я считаю ниже своего достоинства опровергать "протоколы сионских мудрецов". Для всякого не потерявшего элементарного психологического чутья при чтении этого низкопробного документа ясно, что он представляет собой наглую фальсификацию ненавистников еврейства. К тому же можно считать доказанным, что документ этот сфабрикован в департаменте полиции. Он предназначен для уровня чайных "союза русского народа", этих отбросов русского народа".

Разумеется, в эпоху плюрализма не всякий согласится с Бердяевым. Поэтому справедливости ради, а также для того,

чтобы узнать доподлинные имена пресловутых жидо-масонов, я обратилась к труду известного деятеля "Союза русского народа" Шмакова "Международное тайное правительство". Фантазии Шмакову не занимать: в своем сочинении, например, он вполне уверенно утверждает, что "в преисподней насчитывается 6666 легионов, а в каждом из них — по 6666 демонов мужского к женского пола" и т.д.[1]

[1]*А.Шмаков "Международное тайное правительство". М., 1912 г., стр.206.*

После подобных сведений уже не слишком удивляет, что причиной любых мировых катаклизмов, будь то крушение Римской империи или Великая французская революция, автор считает евреев. Однако вот беда: ни одного жидо-масона, занятого подрывной деятельностью на территории Российской империи, он не называет. Между тем книга Шмакова вышла в 1912 году, когда уже стало достоянием истории убийство Александра II, уже был создан "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", имена народовольцев, эсеров и других революционеров были у всех на слуху, отгремела революция 1905 года... И все же среди многочисленных революционеров того бурного времени Шмаков не мог обнаружить ни единого, хотя бы самого завалящего, жидо-масона.

Нынешние сторонники идеи жидо-масонского заговора, не в пример Шмакову, в потусторонние сферы не вторгаются. Их задача - в нашем вполне реальном мире "сказку сделать былью" и внедрить ее в сознание несведущих людей. Так, в газете "Русский голос"[29] некто В.Дамарцев пишет, что "первая масонская ложа была организована у нас еще в 1773 году в городе Ревеле.

[29]*"Русский голос" за 31 мая 1990 г., Нью-Йорк.*

В 1817 году эта ложа насчитывала в своих рядах 85 "братьев", из коих 80 были евреями, русских не было ни одного". Хотя "Русский голос" издается в США, это не дает ему права перекраивать русскую историю по своему усмотрению.

Известно, что первая масонская ложа появилась в России в 30-х гг. XVIII в., т.е. на сорок лет раньше, чем утверждает Дамарцев, и не в Ревеле, а в Петербурге, и членами ее были отнюдь не евреи, а граф Воронцов, князья Апраксин, Трубецкой, Голицын, поэт Сумароков и другие представители великосветского общества. Особое развитие ложи получают в эпоху Екатерины II, императрица написала даже несколько остроумных комедий, предъявляя масонству обвинения в безбожии и вольтерьянстве, но по поводу его связей с мировым еврейством — ни слова... Наиболее видными деятелями масонства в России были просветитель Новиков, архитектор

Баженов, Пестель и другие декабристы, члены "Союза благоденствия". Известно, что в 1771 году граф Куракин был посвящен в масонский орден, с его помощью к масонству приобщился великий князь Павел Петрович, впоследствии ставший российским императором Павлом I. Те, у кого возникнут какие-либо сомнения по затронутому вопросу, могут обратиться к работе В. Ключевского "Воспоминания о Н.И.Новикове и его времени" или к "Хронологическому указателю русских масонских лож", который вышел в России в 1873 году: причастность еврейства к русскому масонству нигде не зафиксирована.

Как и В.Дамарцев, я считаю, что "истина не нуждается в многословии". Но хочу напомнить, что толстовский Пьер Безухое, которого, как ни крути, в принадлежности к иудейскому племени не заподозришь, в поисках нравственного идеала на время становится масоном... Видимо, современные разработчики жидо-масонской версии не могут простить Толстому столь предосудительного поступка его любимого героя: в нашумевшей картине "Тысячелетняя Россия" И. Глазунов наказал великого писателя земли русской, определив его самого в масоны, снабдив масонской атрибутикой (циркуль, мастерок, шестиконечная звезда).

У Пушкина оскорбленные соседи-помещики объясняют "странности" Онегина тем, что "он фармазон! Он пьет одно стаканом красное вино!..." Полуглухая графиня-бабушка в "Горе от ума", не в силах понять, что за кутерьма творится вокруг Чацкого, на всякий случай выдвигает собственную версию: "Что?.. К фармазонам в клоб?.. Пошел он в пусурманы?.." Фармазон — это трансформированное в русской речи "франкмасон", так что В.Дамарцев ошибся адресом, он не учел, что масоны оставили неизгладимый след и в русской истории, и в русской литературе. Это дает возможность легко найти их имена в высшем свете Москвы и Петербурга, не расходуя усилий на бесплодные поиски в еврейских местечках Черты оседлости.

Что же касается "жидо-масонов", то этот термин появился в начале XX века после образования "Союза русского народа", однако наиболее широкое распространение у нас в стране он получил в годы перестройки. Известные черносотенцы Шмаков, Дубровин, Пуришкевич употребляли его реже иных авторов "Нашего современника".

Дискуссия о влиянии масонства на политическую жизнь дореволюционной России началась в 1974 году после выхода в издательстве "Молодая гвардия" книги Н.Яковлева "1 августа 1914". Хотя уже тогда автор пришел к выводу, что масоны на разных уровнях "были последовательными противниками

большевиков" (см. указ. изд., стр. 230-231), легенда о жидомасонском заговоре продолжает распространяться. В традициях черносотенных фантасмагорий зачислять *в* масоны то Свердлова, то Троцкого, то Кагановича. Фактически же, как видно из недавно появившихся книг, упомянутых в самом начале этой статьи, среди большевиков масоном числился какое-то время один Скворцов-Степанов. А один, ясное дело, в поле не воин... Некоторые из реальных масонов в действительности занимали видное место в революции и в гражданской войне, но играли совсем не те роли, которые предусмотрены задуманной схемой. Среди них генерал Алексеев — главнокомандующий Добровольческой армией, Петлюра — личность, очевидно, в комментариях не нуждающаяся, Маргулиес глава контрреволюционного Северо-западного правительства[30].

[30]*А.Романенко, "О классовой сущности сионизма*".

Многие из масонов стали жертвами нового режима. Суть в том, что масоны не признавали классовой борьбы, поэтому, как пишет Н.Берберова, "бесплановое уничтожение заподозренных в масонстве людей во время гражданской войны и военного коммунизма очень скоро перешло в плановую их ликвидацию".

Кстати, именно Троцкий, которого так легко причисляют ныне к масонам, на IV конгрессе Коминтерна в 1922 г. потребовал железной метлой вымести масонов из России, а также из рабочего движения за рубежом. "Масонство, — говорил Троцкий, — орудие обхода революции, буржуазное орудие, усыпляющее сознание пролетариата, и рычаг буржуазного механизма".

Разговоры о жидо-масонском заговоре очень похожи на розыгрыш. Создается впечатление, что оппоненты, прекрасно понимая абсурдность своих доводов и нисколько не смущаясь этим, затыкают уши и, ни на что не обращая внимания, упрямо продолжают твердить явную ахинею. Действительно, всякому известно, что Октябрьская революция была совершена под руководством большевиков, и при этом ровным счетом ничего не меняет то, что в первом советском правительстве оказалась нарушена "процентная норма" — один из пятнадцати его членов (Троцкий) был еврей. Все знают, что в гражданскую воевали не с жидо-масонами. Как совсем недавно сказал В.Кондратьев, это была "братоубийственная война между православными". Однако реалии теоретиков жидо-масонского заговора не интересуют, они распространяют свои бредовые идеи без всякого согласия с истиной, наподобие соотечественника фашиста В.Якушева, утверждающего, что "у евреев генная структура построена иначе", что "среди сионистов сумасшедших в 6-8 раз больше, чем среди лиц нееврейской национальности", что иудаизм "предусматривает

человеческие жертвоприношения", что "масонство — сила действительно реальная, это целая стратегия, генеральная линия, деятельность", а масоны — это все те же евреи, толкающие человечество в пропасть"[31].

[31]*ВЕСК от 26 сентября 1990 г.*

Такого рода "доводы" не требуют ответа, здесь нужно другое — правовое государство, непримиримое к фашизму. Народ, однако, по привычке все еще живет в плену идеологических догм и фантасмагорий, воспринимая их как реалии. Много еще таких, что не хотят "поступиться принципами" сталинизма и руководствуются идеологией, которая в избытке поставляла "врагов народа", "кулаков", "вредителей", "космополитов". Легенда о жидо-масонском заговоре легко вплетается в эту длинную цепь. Подобные идеи, к сожалению, очень быстро овладевают массами, а потому их распространение представляет серьезную опасность.

Однако идея жидо-масонского заговора — лишь часть глобальной черносотенной идеи, которая, сделавшись в начале XX века составной частью государственной политики, в дальнейшем сыграла пагубную роль в истории России, а сейчас становито причиной кровавых межнациональных распрей и распада государства. Получившая распространение в свое время концепция превосходства "славянско-культурно-исторического типа" и необходимость превращения России в сверхдержаву привела к войне с Японией. Падение Порт-Артура вызвало повсеместный рост антивоенных и антиправительственных настроений, сопровождавшихся требованиями демократических свобод и крестьянскими волнениями. Результатом глубокого внутреннего кризиса явилась революция 1905 года.

Развитие националистических тенденций ознаменовалось фабрикацией так называемых "Протоколов сионских мудрецов" — известной фальшивки о еврейском заговоре, созданием "Союза русского народа" и еврейскими погромами. Но имперские настроения усиливали антидеспотические и антишовинистические тенденции внутри России и сопровождались мощным подъемом национал-освободительного движения на ее западных границах, результатом чего было получение Финляндией автономии.

Вера в мессианское предназначение России стать Третьим Римом побудило ее вступить в первую мировую войну, исходом которой стала революция. Таким образом именно великодержавная политика, ввергнувшая страну в войну, обострила до крайности жестокие противоречия, разрешение которых было возможно только революционным путем.

В послереволюционный период многие традиции

черносотенства воплотились в элементы официальной идеологии и в немалой степени способствовали упрочению тоталитарного режима. Сюда можно отнести, прежде всего, обожествление деспотической власти, подавление политических свобод, порабощение личности и превращение ее в "винтик" государственной машины. Некоторые положения черносотенной утопии, например - полная изоляция от "разлагающегося Запада", практически могли быть выполнимы только в условиях тоталитарного государства. Особенно четко эта тенденция проявилась в годы "борьбы с космополитизмом", когда подверглись шельмованию и гонениям видные представители научной и художественной интеллигенции. Главных пороком в тот период партийные идеологи провозгласили "преклонение перед иностранщиной" — в полном соответствии с идеями черносотенства. В результате громили генетиков, кибернетиков, "физиков-идеалистов, последователей Эйнштейна", а в это время на "гнилом Западе" происходили важнейшие научные открытия, создавались новые технологии, использовать которые в "стране победившего социализма" запрещалось. Научная и техническая изоляция предопределили многие нынешние проблемы, создали предпосылки для превращения России в слаборазвитую, по важнейшим показателям — второстепенную державу. Но, видимо, горьких уроков прошлого мало. В настоящее время теория об особом экономическом и политическом пути развития России, являющаяся разновидностью все той Же черносотенной идеи, грозит вновь обречь страну на отсталость, а народ — на привычное полунищенское существование.

Новый этап черносотенства, как известно, связан с началом перестройки. Разгул шовинистической пропаганды, создание черносотенных организаций наподобие "Памяти" вызвало соответствующую реакцию в союзных и автономных республиках. Семена национализма, прорастая, дают свои плоды: погромы, трагическую гибель людей, вереницы беженцев — армян, азербайджанцев, турок-месхетинцев, русских, евреев, немцев, узбеков, киргизов... Страна саморазрушается, черносотенцы же клянутся в любви к Отечеству и у всех на виду продолжают сеять ядовитые, набухающие кровью семена. Под громогласные разговоры о духовном возрождении происходит непоправимое, выспренные декламации не предохранят страну от раскола.

Нельзя тратить попусту время. Те, кому действительно дорога Россия, должны понять, что для ее спасения необходимы не разговоры о духовности, а — подлинно человеческая духовность, которая не приемлет расизма, идей национального превосходства, не приемлет злобы, ненависти к национальным

меньшинствам, всего того, чем наполнена идеология черносотенства.

notes

1

См. примечание в конце книги.

2

См. "Новый мир" № 3, 1989 г., Ирма Кудрова "Последние годы чужбины".

3

См. примечание в конце книги.

4

См. примечание в конце книги.

"Московские новости", 19 декабря 1989.

8

"Нюрнбергский процесс", том 4, стр. 675-676.

9

У Победоносцева имелись предшественники, столь же решительно подходившие к проблемам еврейской ассимиляции. Например, Иван Васильевич Грозный на вопрос о том, как поступить с евреями, взятыми в плен при завоевании Полоцка, ответил: "Согласных креститься — крестить! А несогласных утопить в реке Полоте". Впрочем, оба куда гуманней нынеш

10

"Вестник Европы" № 6, стр. 382-385, 1913 г.